

ШАНДОР ПЕТЕФИ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ШАНДОР ПЕТЁФИ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ШАНДОР ПЕТЁФИ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

B TPEX TOMAX

1 СТИХОТВОРЕНИЯ 1842—1847

ПЕРЕВОД С ВЕНГЕРСКОГО



СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Составление, редакция стихотворных переводов и перевод прозы

АГНЕССЫ КУН

Стихи в переводах:

М. ЗАМАХОВСКОЙ, В. ЗВЯГИНЦЕВОЙ, В. ИНБЕР, М. ИСАКОВСКОГО, В. ЛЕВИКА, Л. МАРТЫНОВА, С. МАРШАКА, И. МИРИМСКОГО, М. МИХАЙЛОВА, С. ОБРАДОВИЧА, Б. ПАСТЕРНАКА, А. РОММА, Н. ТИХОНОВА, Н. ЧУКОВСКОГО

Предисловие АНТАЛА ГИДАША

ШАНДОР ПЕТЁФИ

В ряду всемирно известных поэтов-революционных демократов, которых любит и чтит советский народ, стоит и гениальный венгерский поэт Шандор Петёфи.

Певец и солдат революции, Петёфи воплотил в своем творчестве передовые идеи своей революционной эпохи, — потому и не тускнеет его имя среди имен других великих поэтов мира.

Петёфи был поэтом такого масштаба, такой глубины чувств и мыслей, такой новаторской силы, что ему суждено было оказать огромное влияние на развитие венгерской поэзии. Вместе с тем слава его распространилась далеко за пределами его родины.

Известно восторженное отношение Генриха Гейне к Петёфи. В 1849 году Гейне писал: «Петёфи — поэт, с которым могут сравниться только Бёрнс и Беранже... такое поразительное здоровье и простота среди общества, полного болезненности и рефлексии, что в Германий я никого не могу поставить с ним рядом».

Мы знаем о преклонении, с каким относился к Петёфи великий чешский поэт-демократ Ян Неруда, создавший ряд великолепных переводов стихотворений Петёфи на чешский язык. «Я считаю необычайно важным событием, что Петёфи входит в нашу литературу, — писал Неруда. — Я не знаю во всей мировой литературе поэта, который был

бы мне милее Петёфи. Петёфи был не классиком, вовсе нет! Он был только Петёфи: самым пламенным певцом любви, патриотизма и свободы... Петёфи — это та алмазная застежка, которая скрепила венгерскую литературу с мировой литературой. У прекрасной, огневой венгерской нации нет более великого сына, чем он. И у ней не было более счастливого дня, чем день, когда родился Петёфи... Если боб этой нации мы не знали ничего и знали бы только стихи Петёфи, то этим самым мы нащупали бы ее тончайшие нервы... Как рекомендовать мне стихи Петёфи?... Пока я могу сказать только одно: если хочется прекрасных романсов — читай Петёфи; если хочется вдохновенных гимнов родине — читай Петёфи; если хочется веселых песен, любовных стихов — тоже читай Петёфи.»

Призывные, вольнолюбивые стихи Петёфи долетели и до Китая. Великий китайский писатель Лу Синь не только знал и любил Петёфи, но и перевел ряд его стихотворений. Лу Синь пишет о сборниках Петёфи: «Собственно говоря, это самые обычные книги — том прозы и том стихотворений. И только для меня они — сокровища. Я всегда носил их с собой...»

В России имя Петёфи известно давно: уже в 50-х годах прошлого столетия стали переводить его стихи; одним из первых его переводчиков был русский революционер-демократ, ближайший сотрудник некрасовского «Современника» Михаил Ларионович Михайлов. Но цензурные условия самодержавия помешали тому, чтобы поэзия Петёфи получила в России широкое распространение. Только после Великой Октябрьской социалистической революции стали появляться в Советском Союзе первые революционные стихи поэта. Вышедший в

1948 году сборник его избранных произведений, в работе над которым принял участие ряд виднейших советских поэтов, впервые раскрыл для советских читателей поэзию Петёфи в ее полноте и многообразии.

Но не только на русский язык переводились стихи Петёфи. Отдельным изданием вышли его произведения на украинском и грузинском языках, много стихов переведено на армянский, азербайджанский, латышский, якутский и другие языки народов СССР.

Петёфи стал дорог и близок советскому народу, который высоко ценит прогрессивную культуру других стран, он стал близок ему всем духом своего творчества. Петёфи пришел к людям Советской Страны, «как живой с живыми говоря», потому что столетие назад он был буревестником демократической революции, трибуном венгерской свободы. Это он сказал 14 марта 1848 года, в канун славных событий: «Что ж, ураган революции ревет у нас по соседству. А мы все еще колеблемся? Нет, мы должны действовать!» И это были не только слова. Петёфи руководил революцией и как поэт, и как вождь народа.

* * *

В канун нового 1823 года в захолустном степном городке Кишкёрёш, в семье небогатого мясника Петровича, родился мальчик, которого назвали Шандором. Мальчика рано отдали в школу, где он проявил блестящие способности. В 1838 году старик Петрович разорился, и мальчику трудно стало продол жатв учение при тех условиях, которые царили в школах феодальной Венгрии. Оставив школу, талантливый юноша, владевший к пятнадцати годам

пятью иностранными языками, познакомившийся к этому времени с лучшими произведениями отечественной и мировой литературы, сам писавший стихи, отправился в странствия по родной земле. Он шел пешком по грязным большакам и проселочным дорогам, мерз, голодал, находил себе приют в лачугах крепостных крестьян и на каждом шагу сталкивался с жестокой венгерской действительностью. С отчаянья он пошел в солдаты. Но страшная жизнь в австрийской солдатчине подкосила здоровье юноши, и ему пришлось уволиться из армии. Он снова попытался было поступить учиться, потом пошел в актеры, — но нигде не мог найти себе пристанища; он бродил из города в город, из деревни в деревню и везде видел одно и то же: его родной народ стонет, томится под двойным игом — венгерских феодалов и австрийского императора. Эти годы скитаний познакомили поэта с подлинной жизнью венгерского народа, плоть от плоти которого был и он сам

В 1842 году Петёфи удалось напечатать свои первые стихи. Они сразу привлекли к себе внимание крупнейшего поэта Венгрии Михая Вёрёшмарти. Но существование юноши от этого не изменилось, оно оставалось таким же жалким и голодным и в 1844 году, уже отчаявшись во всем, молодой Петрович, принявший к тому времени литературный псевдоним Петёфи (точный перевод фамилии Петрович на венгерский язык), решился на последнюю попытку — переписал свои стихи в тетрадку и отправился пешком в Пешт. «Я думал, — писал он позднее, — продам свои стихи — хорошо, а не продам — тоже хорошо, тогда или с голода помру, или замерзну. По крайней мере придет конец моим страданиям.» В Пеште, после долгих мытарств, книга была при-

нята к изданию, и вскоре Петёфи стал одним из самых прославленных поэтов Венгрии.

Через несколько недель после того как было решено издать сборник его стихов, Петёфи занял должность помощника редактора в одном пештском журнале. Условия работы в журнале оказались кабальными, но молодой поэт был счастлив, он считал, что достиг своей цели и теперь, наконец, сможет полностью отдаться литературе. Однако Петёфи все чаще стал печатать стихи, полные социального протеста, высмеивающие тупость, алчность и невежество дворян, и консервативная критика ополчилась против него. Не было таких клеветнических измышлений, к которым бы она не прибегала, стараясь очернить поэта. Петёфи, которому в это время шел только двадцать второй год, неистово отбивался от своих критиков, но, наконец, не выдержав яростной атаки, скрылся от преследователей в деревню к родителям. Пережив тяжелый душевный кризис, поэт еще больше укрепился в своих передовых социальных воззрениях, окончательно пришел к идее необходимости революционного свержения феодализма. В 1846 году Петёфи вернулся в Пешт и учредил «Товарищество десяти» — первую революционную организацию венгерских писателей. Но эта попытка окончилась неудачей. Петёфи снова уехал в провинцию. Осенью 1846 года он познакомился с Юлией Сендреи, дочерью управляющего граф ским имением, после долгих усилий добился согласия отца невесты и женился на ней.

Настал 1848 год. В Европе разгорался пожар народных восстаний, все предвещало наступление революции. Накалялась почва и в Венгрии.

«Пророческое вдохновение... дало мне возможность понять, что Европа с каждым днем прибли-

жается к прекрасному насильственному потрясению. Об этом я не раз писал, еще больше говорил...» — так описывал Петёфи свое состояние перед революцией, подготовке которой он содействовал всем своим творчеством. И не случайно поэтому, что певцом венгерской революции и вождем ее самого левого крыла стал именно поэт Петёфи. Он воодушевлял народ своей деятельностью в революционных клубах, выступлениями на митингах и собраниях, своими пламенными стихами и политическими статьями. В стихах и статьях Петёфи запечатлевал каждый знаменательный шаг революции, стихами и статьями боролся против ее внешних и внутренних и внутрених и внутренних и внутренних и внутренних и внутренних и внутрених и внутренних и внутренних и внутренних и внутренних и внутрених и внутренних и внутренних и внутренних и внутренних и внутрених и внутренних и внутренних и внутренних и внутренних и внутрених и внутренних и внутренних и внутренних и внутренних и внутрених и внутренних и внутренних и внутренних и внутренних и внутрених и внутренних и внутренних и внутренних и внутренних и внутрених и внутренних и внутренних и внутренних и внутренних и внутренн и статьями боролся против ее внешних и внутренних врагов, призывал народ сохранять неусыпную революционную бдительность.

революционную бдительность.

Во время революции гонения реакционеров против Петёфи усилились, так как поэт требовал установления республики и отделения от Австрии. Летом 1848 года Петёфи решил выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Национального собрания и баллотироваться на родине в Алфельде. Но этими выборами воспользовалась реакция. Она подняла против Петёфи богатых крестьян и горожан, и те хотели убить поэта. Его спасло только вмешательство бедной части населения округа. Осенью 1848 года Петёфи вступил в ряды венгерской революционной армии. В начале 1849 года он пошел в армию, сражавшуюся под командованием польского революционного генерала Бема. 31 июля 1849 года Петёфи погиб на поле боя; тело его так и не было найдено. Петёфи стал символом свободолюбивых устремле-

Петёфи стал символом свободолюбивых устремлений трудового народа Венгрии.

Венгерский народ не мог примириться с гибелью своего поэта. Людям всюду мерещился его образ, и легенды складывались за легендами. Кто-то рас-

сказывал, что Петёфи скрывался у него после Шегешварской битвы. Другой говорил, что через два года после рокового сражения он встретил Петёфи, переодетого в крестьянское платье. Третий утверждал, что Петёфи ночевал у него спустя три года после сражения. Четвертый заявлял, что он был вместе с Петёфи в австрийской тюрьме Куфштейн. Даже через тридцать лет после гибели поэта возникали слухи о том, что Петёфи жив, что он вернется в тот день, когда народ снова выступит в бой за утраченную вольность.

1

В 1514 году венгерские феодалы жестоко подавили движение крепостных, поднявшихся против все более возраставших тягот.

До этого события Венгрия целое столетие сопротивлялась турецким захватчикам, отважно отражала орды янычар, но теперь она в результате классовой борьбы и феодальных междуусобиц настолько ослабела, что в 1526 году рухнула под новым ударом турок.

Страна распалась на три части: на востоке образовалось шаткое Эрдейское княжество, в Средней Венгрии водворились турки, на западе Австрия захватила одну треть истекающей кровью Венгрии. Венгрия утратила свою независимость.

Турецкое владычество продолжалось сто пятьдесят лет. А когда турок изгнали, их сменили Габсбурги. Венгрия стала колонией Австрии.

В Венгрию был посажен наместник; австрийский император обычно даже не удостаивал своим посещением это «дикое» владенье. К императорскому

двору тесно примыкало самое реакционное крыло венгерской аристократии.

Крестьяне, страдавшие под тяжестью непомерных налогов, ждали только подходящего момента, чтобы общими усилиями изгнать как своих собственных господ, так и императорские войска.

Восстание, поднятое против немецких угнетателей в начале XVIII века Ференцем Ракоци II ¹, после нескольких лет героической борьбы было подавлено. Отличительная черта этого восстания заключалась в том, что в нем сплотились в общей борьбе за свободу венгерские, словацкие и украинские крепостные.

После поражения Ракоци венгерский крестьянин подвергся еще большему угнетению, а жадная длань Австрии еще тяжелее придавила Венгрию, еще усерднее стали вывозить хлеб и скот. Венгерское сырье обрабатывалось в Австрии, готовые же товары продавались втридорога нищему населению страны.

В дворянских усадьбах стояли скамьи для порки, на рыночных площадях деревень и городов вздымались виселицы.

Императрица Мария-Терезия и впоследствии ее сын Иосиф II пытались провести кое-какие крестьянские реформы. Эти реформы, впрочем, никогда до конца не осуществленные, были вынуждены, прежде всего, непрерывными войнами, которые вела Австрия.

Мария-Терезия положила начало организации единой централизованной австрийской абсолютистской державы. Ее сын, Иосиф II, продолжил начи-

¹ Ракоци Ференц II (1676—1735) — вождь венгерского восстания против Австрии (1703—1711). После поражения восстания эмигрировал из Венгрии и закончил жизнь изгнанником в Турции.

нания своей матери с удвоенной силой. Национальные противоречия в своей многонациональной державе Иосиф II пытался ликвидировать очень несложным путем; он стал вводить повсюду, в том числе и в Венгрии, обязательный немецкий язык и настойчиво проводить политику ассимиляции угнетенных наций.

Политика языковой ассимиляции не увенчалась успехом.

Образовался фронт национального сопротивления. В него вошли представители самых различных социальных прослоек, люди самых различных интересов. Все они объединились под флагом защиты родного языка.

Французская революция 1789 года «образумила» Иосифа II, тем более что сопротивление в Венгрии приняло угрожающие размеры. А преемники Иосифа II со страху выбросили на свалку и все «просветительские» планы и уже в 1795 году пустили в ход секиры палачей: в Буде отрубили голову Мартиновичу ¹, который ратовал за отмену крепостного права.

Но Мартинович и его товарищи сами не были связаны с народом. Они опирались только на узкую дворянскую прослойку, и их движение не перешло за рамки заговора. Товарищи Мартиновича были казнены вместе с ним. Только несколько человек спаслось от рук заплечных дел мастеров, это были писатели и поэты, — но и их заточили на долгие годы в тюрьму. Часть их, потерпев поражение в

¹ Мартинович Игнац (1755—1795) — священник, глава венгерского якобинского заговора. Мартинович основал два тайных общества: «Общество венгерских реформаторов» и «Общество свободы и равенства»; наиболее радикальные участники заговора требовали уничтожения крепостного права и провозглашения республики.

политической и экономической борьбе, отошла от главной цели и старалась пробудить национальное самосознание путем «обновления языка» и разработки основ венгерской речи, по их собственному выражению, «приспособленной к новым обстоятельствам».

И на самом деле прямая политическая борьба против феодальной Венгрии не совсем угасла, а приняла только формы литературной, идеологической борьбы. Этот «обходный путь», сползание с позиций политических действий на путь литературной борьбы, говорил о том, что революционные силы Венгрии еще очень слабы. С другой стороны, это свидетельствовало о том, что антифеодальные и антигабсбургские силы Венгрии были не столь уж ничтожны, чтобы позволить беспрепятственно задушить стремление к созданию национальной литературы, как одной из важнейших форм проявления общественной жизни в Венгрии начала XIX века.

И все-таки ко второму-третьему десятилетию XIX века оцепенение в стране стало проходить.

В жизни страны возникли новые экономические факторы и, как следствие их, новые идейные устремления. Даже в среде венгерских аристократов появились сторонники «реформ», такие, как видный политический деятель Иштван Сечени, желавшие произвести кое-какие преобразования, улучшить положение Венгрии посредством так называемых «умеренных методов».

Сторонниками умеренных реформ стала часть среднепоместных дворян, имения которых, в связи с понижением продуктивности крепостного труда, приносили все более скудные доходы. Они и составили основное ядро этого движения. Некоторые, подражая крупным магнатам, пытались занимать-

ся в своих имениях виноделием, заводили прядильно-ткацкие мастерские. Другие превращали землю в пастбища для овец.

«В Венгрии феодальные землевладельцы все больше и больше превращаются в оптовых торговцев зерном, шерстью и скотом...» ¹. — писал Энгельс. Эти дворяне охотно вложили бы долю своего состояния в промышленность и торговлю, но для такого рода действий нужны были хотя бы скромные политические реформы — некоторая государственная независимость Венгрии — и новые экономические условия: свободные рабочие руки, кредит, вольная продажа земель, охранительные пошлины, государственное строительство дорог, — словом, все то, о чем Австрия, державшая Венгрию на положении колонии, не хотела и слышать.

«Партия реформ» опиралась как раз на этот слой дворян, равно и на тех, которые уже утратили свои поместья. Из ста тридцати шести тысяч дворянских семейств разорившихся было больше ста тысяч, но эта обширная прослойка обедневшего дворянства обладала политическими правами, могла выбирать и быть избранной в сейм.

Противоречия между аристократией (партия консерваторов), приверженной австрийскому императорскому дому, и средним и мелким дворянством, требовавшим реформ, все обострялись. Все с большей активностью выступали на политической арене мелкопоместные дворяне во главе с их вождем Лайошем Кошутом. ²

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. V, стр. 247.
² Кошут Лайош (1802—1894) — вождь венгерской буржуазной революции, глава революционного правительства 1849 года. До конца своей жизни оставался в эмиграции, не желая примириться с Габсбургами и теми венгерцами, которые пошли на соглашение с Австрией.

В борьбе за свободу торговли среднепоместные дворяне осознают и то, что «без самостоятельной промышленности и внутреннего рынка, — как говорил Кошут, — сельское хозяйство тоже обречено на вечное рабство, без промышленности страна похожа на однорукого человека».

Кошут и его единомышленники в 1842—1844 годах, как раз в то время, когда Петёфи вступил в литературу, учреждают «Общество защиты венгерской промышленности», которое ставит своей целью развитие национальной промышленности путем бойкота австрийских товаров. Учреждается первый венгерский банк, первая компания Дунайского пароходства, строится первая железная дорога. Среди значительной части венгерского дворянства все более распространяются антиавстрийские настроения.

Но дворяне, выступавшие с требованием буржуазных реформ, не собирались, однако, отказаться от большинства своих феодальных привилегий. Все «сторонники реформ» готовы были идти на большие или меньшие уступки, но при этом сходились на одном (до середины 1848 года с ними был и Лайош Кошут), что не следует порывать отношений с Австрией и нужно двигаться вперед медленно, осторожно, не допуская того, чтобы власть выпала из рук дворянства, в противном случае крепостное крестьянство и безземельное батрачество может перейти к захвату земли, к революции.

Ради сохранения сословных привилегий венгерское дворянство оставалось верным императору, отказываясь от борьбы за независимость своей родины.

К «сторонникам реформ» примкнули адвокаты, врачи, литераторы — тоже большей частью дворяне по происхождению. Они хотя и желали реформ

только «сверху», однако ждали их с большим нетерпением, потому что их будущность могла быть обеспечена только в относительно независимой от Австрии буржуазной Венгрии.

Торговцы пшеницей, скотом и сельскохозяйственным сырьем, не участвовавшие в венгерском сейме (туда могли быть избраны только дворяне), экономически были непосредственно связаны с помещиками и тоже оказывали некоторое влияние на ход событий в Венгрии. Купцы в большинстве своем были немцы, но так как они жили и торговали в Венгрии, то австрийская таможенная политика шла в разрез с их интересами.

Некоторую силу в борьбе с феодальными порядками представляли ремесленники и владельцы мелких фабрик.

Пролетариат Венгрии, вследствие отсталости промышленности, составлял в те годы не более полутора процентов населения (сто — сто двадцать тысяч человек). Цеховые же подмастерья, составлявшие большинство работающих по найму в городах, не шли дальше требований уничтожения цеховых привилегий и права на получение звания мастера.

В Венгерском сословном собрании в течение двадцати лет произносились речи о необходимости реформ. Если некоторые сторонники преобразований начинали горячиться, то более осторожные собратья одергивали их: дескать, берегитесь, толчок может быть дан «снизу», и более сильный, чем этого хотелось бы дворянству.

Кто же был «внизу»? И кого так боялись?

В Венгрии в 1847 году из сорока четырех миллионов хольдов 1 плодородной земли лишь тринадцать

¹ Хольд — венгерская мера площади, равная 0,56 гектара.

миллионов были в руках крепостных крестьян. Они обрабатывали эту землю, неся на себе все тяготы крепостного права.

Кроме того, в Венгрии существовало девятьсот десять тысяч батрацких семей, лишенных всякой земли и работавших в крупных поместьях от семидесяти до ста дней в году. В остальное время они голодали. Часть их в поисках работы уходила в город. Но и там батраки не могли найти себе работы, так как промышленность была слабо развита, и в городе эти люди составляли толпу «бродяг», как их именовали в то время газеты.

Масса крестьян в шесть-семь миллионов человек, представляла шестьдесят-семьдесят процентов населения Венгрии того времени.

Этой «тлеющей лавы» и боялись венгерские сторонники реформ (не говоря уже об австрийском императоре и союзной с ним реакционной венгерской аристократии); из-за страха перед этой «тлеющей лавой» и были они так осторожны в своих требованиях.

И вместе с тем для всех, даже самых умеренных, становилось ясным, что крепостная система хозяйства не оправдывает себя, что настаивать на сохранении ее — бессмысленно. Громадные земельные пространства Венгрии оставались необработанными, все большее количество рабочих рук оказывалось неиспользованным. В стране складывалось положение, при котором помещики уже «больше не могли», а крестьяне «не хотели» жить по-старому. Крепостной труд стал окончательно невыгодным.

Среди батрачества назревало революционное возмущение, назревало оно и среди крепостных крестьян, имеющих наделы.

Трудящиеся в стране голодали. В 1816—1817 годах только в пяти комитатах (Венгрия состояла из 63 комитатов) умерло с голоду сорок четыре тысячи крестьян.

«Внизу» были эти миллионы крепостных и батраков, не хотевших жить по-старому, и страх перед ними толкал венгерских политиков «эпохи реформ» на соглашение с австрийским императорским домом, с австрийскими промышленниками.

Кроме них, «внизу» были и те, которых венгерские историки либо «забывали», либо не признавали их значения в венгерской революции 1848 года. Ясность в этот вопрос внес Бела Кун в своем превосходном труде о Петёфи, опубликованном в 1937 году. Бела Кун писал:

«В больших и малых городах скапливались мелкие ремесленники и торговцы, которых не принимали в цехи, на которых не распространялись цеховые привилегии. Эти бедные, бесправные, отринутые ремесленники, работавшие большей частью без подмастерьев, торговцы, странствующие кустари и коробейники были вместе с тем выброшены И за борт феодального сословного общества. Число таких людей, оказавшихся вне сословного строя, росло не только за счет крепостных крестьян, бежавших в город от помещичьей зависимости, но и за счет деклассированных мелкопоместных дворян. В одном ряду с ними стояли и мастеровые, занятые кус тарным промыслом, а также люди, выполнявшие различные службы при барских домах, но не принадлежавшие к барской челяди. Жизненные превратности заставили прибиться к ним и представителей самых низших слоев интеллигенции, людей свободных профессий, вышедших из крестьян, и часть бедного студенчества.

До образования пролетариата из этих прослоек и составлялись «низы общества».

Всю эту часть общества и называл Энгельс «Vorproletariat», буквально предпролетариатом, предшественником пролетариата. Историки никогда не обращали внимания на эту прослойку. А по мнению Энгельса, до образования пролетариата эти массы людей играли зачастую весьма значительную роль в общественной борьбе... Энгельс четко отделил эту прослойку, стоявшую вне рамок феодализма, от мелкой буржуазии, так же, как и Ленин отделял от мелкой буржуазии «городской плебс». В борьбе, предшествовавшей революции 1848 года, а также и в самой революции мы обязаны отдать должное предпролетариату. Это тем более важно, что в Венгрии той поры, ввиду неразвитости промышленного капитала, буржуазия, цеховые подмастерья и особенно пролетариат, занятый в крупной промышленности, были весьма малочисленны и вряд ли, даже собравшись вместе, могли составить ту массу, которая поддерживала Петёфи и его единомышленников и совершила революцию.

И по происхождению и по жизненной судьбе Шандор Петёфи был представителем предпролетариата».

Таким образом становится совершенно ясно, что Шандор Петёфи именно как представитель предпролетариата стал выразителем чаяний всех низов венгерского общества и самым последовательным руководителем венгерской революции 1848 года.

2

6 января 1848 года произошло восстание в Мессине, 12-го — в Палермо. 27 января людская лава

разлилась по улицам Неаполя. В феврале поднялся Париж — рабочие вышли на баррикады. Восстания вспыхивают в Испании, Португалии. 8 марта в столице Чехии были уже расклеены листовки с революционными призывами (за неделю до пештского и за пять дней до венского восстаний), и 11 марта на народном собрании был создан политический орган — Святовацлавский комитет. Феодальный сухостой, годный уже только разве на то, чтобы построить из него виселицы, был всюду подожжен. «Революция 1848 г. заставила все европейские народы высказаться за или против нее. В течение одного месяца все народы, созревшие для революции, устроили революцию...»

«14 марта «Оппозиционный круг» (клуб сторонников либеральных реформ. — А. Г.) созвал собрание в Пеште, которое, как это всегда бывало, ни к чему не привело, — писал Петёфи в «Страницах из дневника». — На этом собрании было предложено обратиться к королю с петицией, содержащей 12 пунктов... Так что дело завершилось бы, может быть, когда-нибудь в XX веке... Какое убожество просить, когда знамение времени — требовать. Пора подходить к трону не с бумагой, а с саблей в руке.»

* * *

15-е марта. «Рано утром... по пути встретил Пала Вашвари, сказал ему, чтобы он шел к Йокаи, пусть они вместе дожидаются меня, — писал Петёфи в своих «Страницах из дневника». — ... Придя домой, я рассказал о своих намерениях немедленно освободить печать. Товарищи согласились... начали составлять воззвание...

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. VII, стр. 215.

...Полные восторга и веры в судьбу, пошли мы снова в кофейню, где уже было полно молодежи. Йокаи прочел воззвание, я прочел «Национальную песню». И то и другое было встречено гулом одобрения».

По дороге группа молодежи, предводительствуемая Петёфи, все разрасталась. Она шла по улице с криками: «Да здравствует свобода!»

- «— А теперь идем к цензору, заставим его подписать воззвание и «Национальную песню»! крикнул кто-то.
- К цензору не пойдем! отвечал я. Никаких цензоров мы больше не хотим! Идем прямо в типографию!»

Дождь лил ливмя. Он разогнал большую пештскую ярмарку. Тысячи мастеровых, крестьян проникли в центр города, где, по слухам, «творились большие дела», где шествовала молодежь во главе с Петёфи. К типографии подошла громадная толпа народа. Петёфи и его товарищи вошли в печатню уже как представители народа. Хозяин печатни Ландерер преградил им путь.

- Я протестую! заявил он.
- Именем народа! объявил Петёфи. Мы занимаем типографию.

Ландерер выглянул за дверь: улица чернела от тысячных толп. Он пожал плечами и отошел в сторону.

- Отвечать будете вы!
- Мы будем отвечать! подхватил Петёфи его слова.

Наборщики приветствовали поэта громкими криками.

Петёфи передал им воззвание и «Национальную песню».

Покуда их набирали, Йокаи вышел на балкон дома и сказал:

— В типографии набирают сейчас первое произведение венгерской свободной печати.

Возле Йокаи на балконе стоял друг Петёфи Пал Вашвари.

Этот двадцатидвухлетний юноша, прославившийся своими познаниями в исторической науке, за последние дни стал любимым оратором пештских масс. Ночью Вашвари вместе с Петёфи составлял «12 пунктов», в которых требовали равенства, свободы печати, уничтожения крепостного права, учреждения ответственного венгерского министерства. Сейчас, когда Вашвари приблизился к перилам балкона, народ встретил его бурными приветствиями. Вашвари подождал, пока стихнут рукоплескания и крики, и заговорил:

«...Между нами и печатью больше нет иезуита! Там, в типографии, сейчас впервые работают свободно, и через минуту покажется на свет первенец свободной печати».

На улице шел сильный дождь. Вашвари продолжал говорить:

«Мы окрестим новорожденного святой водой природы... Политическим лозунгом Австрии было с самого начала divide et vince (разделяй и властвуй). Только этой черной тайной и можно объяснить, почему с такой заботливостью лелеет она вражду между народами. Австрия пробудила к жизни национальную ненависть, она использовала одни народы для убийства других...

...Мы все братские национальности. Поодиночке мы слабы, но, объединившись, станем сильными, могучими, несокрушимыми! Если мадьярский, итальянский, чешский, польский и австрийский народы объединятся, то хотел бы я знать, кого это пошлет против них Меттерних? Если народы обнимут друг друга, как братья, то хотел бы я посмотреть на ту власть, которая сможет их сломить, унизить!

...Да здравствует братство между народами! Протянем же искренне руку нашим соседним народам, чтобы мы могли вместе с нами устремиться к единой цели; цель нашей борьбы одна, и враг, против которого мы должны бороться, тоже общий!»

К полудню воззвание и песня были отпечатаны. Для первого экземпляра Петёфи сам положил бумагу в станок.

- Пусть я буду ответственным за нынешний день,
 сказал он печатнику.
- «...Листовки стали тысячами распространяться среди народа, вспоминал Петёфи. Мы объявили, что на Музейной площади в три часа пополудни будет собрание». ¹

* * *

Задолго до назначенного времени тысячи погонщиков скота, пастухов, подпасков, сапожников, портных, слесарей, горшечников заполнили Музейную площадь и ожидали начала собрания. По булыжникам мостовой стучали палки.

- Свободу объявят! Крестьян на волю отпустят! Не будет больше дворянства! гудели голоса крестьян.
- Конец цехам! Конец цеховым грамотам! слышались голоса мастеровых.

¹ Петёфи. Страницы из дневника, 17 марта 1848 года.

В людях, собравшихся здесь со всех концов страны, за несколько часов поднялась вся затаенная вековая горечь. Повсюду раздавались крики. Слышались требования раздела земли.

«...Десять тысяч человек собралось около музея; оттуда, по общему решению, направились к городской ратуше... Зал заседания открылся и впервые наполнился народом. После короткого совещания бургомистр от имени граждан подписал«12 пунктов». Он показал их толпе, ожидавшей внизу под окнами... Вдруг разнесся слух: «Идут войска!» Я оглянулся вокруг, чтобы проверить людей, но не увидел ни одного испуганного лица. Из всех уст вырвался крик: «Оружия!..»

«На Буду, на Буду... К Наместническому совету! Откроем двери тюрьмы, освободим Танчича!» В Буде, в темном каземате, томился вождь вен-

герских бедняков Михай Танчич.

. Была избрана депутация.

«...Депутация, сопровождаемая по меньшей мере двадцатью тысячами человек, поднялась в Буду к Наместническому совету.

Члены всемилостивейшего Наместнического совета соизволили побледнеть и задрожать. После пятиминутного совещания совет согласился на все... Двери тюрьмы, где был заключен Танчич, отворились, неисчислимая толпа подхватила писателя-узника и, торжествуя, понесла его в Пешт.» ²

В городе до поздней ночи происходили манифестации. Улицы были иллюминированы. Повсюду

 $^{^{1}}_{2}$ *Петёфи.* Страницы из дневника, 17 марта 1848 года. *Там же*.

красовались освещенные портреты Петёфи и над ними слова: «Свобода! Равенство! Братство!»

«Это было 15 марта. Как начало — оно было прекрасно, доблестно. Ребенку труднее сделать первые шаги, чем взрослому человеку пройти долгие мили», — такими словами заканчивается в дневнике Петёфи запись об этом знаменательном дне.

* * *

Весной 1848 года новое «независимое» венгерское правительство подавило крестьянские бунты с помощью австрийских императорских войск. В мае венгерское правительство пригласило изгнанного из Вены императора Фердинанда в Пешт, пообещав, что там «он будет в безопасности среди преданных ему венгерцев». Но Петёфи произнес грозные слова предупреждения:

«Мы стоим могучей революцией.»

И в самом деле, народ Венгрии спутал все расчеты торгующихся политиков.

«В первый день революции, — писал Вашвари, — один отважный патриот заявил от имени множества рабочих, что он создаст из них особый отряд, который за три дня научится обращаться с оружием, и, если это потребуется, они захватят здания для революции...»

В организации «Мартовской молодежи» явственно обозначились два крыла. Одна группа, во главе с Петёфи — Вашвари, выдвигала все более последовательно демократические требования, вплоть до вооружения народа. А другая группа, которую возглавляли романист Мор Йокаи и будущий фабрикант Янош Видач, боялась решительных действий: «Народ должен великодушно презирать орудия

тирании, — ораторствовали соглашатели. — Мы собираемся не под знаменем мести.»

Это им в ответ написал Петёфи:

Бог у нас теперь один — свобода! Иноверцам умереть придется!

Петёфи и его сторонники были выразителями нарастающего народного движения, они вносили в него сознательное начало.

* * *

В апреле 1848 года в Пеште начались забастовки во многих отраслях промышленности. В столице Венгрии это было первое стачечное движение.

На улицах появились листовки рабочих: «Хлеб народу!» К революционным выступлениям рабочих враждебно относилось не только «независимое» правительство, но и большинство общественных организаций. Рабочих ораторов пештская полиция арестовывала, и одна только газета Михая Танчича вступилась за них: «Парламент... не представляет всю нацию... могущественные богачи жиреют на крови бедняков...»

Петёфи уже задолго до этого заявил на одном многолюдном народном собрании в Пеште: «Я не доверил бы этому министерству не то что родину, а даже пса своего».

Атмосфера в стране все более накалялась. Крестьянство все энергичнее выступало против правительства, которое только тем и занималось, что внутри и вне страны шло на всевозможные слелки. Правительство дворян, дрожавших в первую очередь за свои поместья, решило применить самые жестокие меры против восставших крестьян и батраков — оно объявило в стране чрезвычайное положение.

Не только в венгерском комитате Баране и в селе Орошхазе вешали крестьян, но и в сербском Надьбечкереке и в комитатах, населенных румынами. Правительство никак не хотело понять того, что даже для завоевания национальной независимости необходимо разрешить крестьянский вопрос.

В Воеводине и Банате венгерские помещики «усмиряли взбунтовавшихся» сербских крестьян с помощью регулярных войск. Реакционные круги во главе с венской правительственной камарильей очень быстро поняли, какую выгоду смогут они извлечь из распри между сербскими, хорватскими крестьянами и венгерскими помещиками, если им удастся перевести борьбу из социального русла в русло национальной вражды.

Крестьянство многонациональной Венгрии обернулось против революции именно из-за того, что она не решила земельный вопрос.

Петёфи ясно видел, что творилось кругом. Поэтому он и писал в прокламации «Общества равенства»: «...Мы объединились для того, чтобы штурмовать и низвергнуть предрассудки, поддерживающие классовые разграничения между человеком и человеком, гражданином и гражданином. Мы объединились для того, чтобы уничтожить между людьми отчуждение, основанное на различии языков...

...Отзвучали великие слова, провозглашенные 15 марта. Идеи свободы, равенства и братства не

осуществились... Классовое господство существует по нынешний день, народ по-прежнему прозябает в положении политических пролетариев...

Мы освободились из-под власти Меттерниха и его клики и получили взамен министерство Батяни. Поистине можно сказать: «На собаке шерсть сменилась.»

* * *

Венгерское правительство, созданное мартовской революцией, оказалось особенно уязвимым в двух вопросах: в крестьянском вопросе и в вопросе о национальностях, проживающих на территории Венгрии. В крестьянском вопросе оно пришло к половинчатому решению. Крепостные крестьяне получили землю с выкупом, а массы батраков, работавших в латифундиях, стали «свободными», но земли не получили. В национальном же вопросе правительство не пожелало удовлетворить даже самого элементарного требования — равноправия языков.

10 августа Петёфи поместил статью в газете «Марциуш тизенетедике» («Пятнадцатое марта»), в которой писал: «Никогда не был я полон более величественных надежд, и никогда не приходилось мне разочаровываться столь жестоко, как я был разочарован Национальным собранием... если нация не поднимется как можно скорей и не выхватит из рук депутатов и правительства ту власть, которую так доверчиво отдала им и которой они не умеют пользоваться, а если и пользуются, то только для того, чтобы творить произвол, — мы погибнем.»

Венская камарилья, нащупав эти слабые места в политике венгерского правительства и пользуясь враждой крестьян национальных меньшинств, составлявших половину населения страны, к венгер-

ским помещикам, с марта 1848 года занимается тем, что разжигает вражду к венгерцам вообще.

Так как прежними методами угнетения ей не удавалось уже обеспечить себе самодержавную власть, она перешла к натравливанию национальных меньшинств друг на друга и обратилась к столь известным в истории гнуснейшим средствам — к резне и погромам. Таким образом пыталась она затемнить сознание национальных меньшинств, которые стремились освободиться от ужасов феодализма, отвести на ложный путь их ненависть против угнетателей, разбить единство народов.

Не впервые ради укрепления своей власти прибегали Габсбурги к таким методам. Совершенно естественно, что словаки, сербы, хорваты и румыны, которые вступили на путь освободительной борьбы еще до 1848 года, сейчас ожидали от правительства революционной Венгрии, тоже вступившей на путь борьбы за национальную независимость, понимания и сочувствия их стремлениям. Вместо этого они натолкнулись на самое решительное сопротивление.

Венгерский правящий класс, придя к власти, решил продолжить угнетение пробудившихся к сознанию национальных меньшинств под лозунгом превосходства венгерской нации. «Венгерская нация — ведущая нация», — провозглашал он. Истинный смысл этих лозунгов был в том, что наряду с угнетением национальных меньшинств, проживавших на территории Венгрии, и дальше будут угнетать и эксплуатировать венгерские трудящиеся массы. Естественно, что венгерский трудовой народ не имел никакого отношения к этим лозунгам.

В статье «Пражское восстание» Маркс и Энгельс писали о революционной Германии, что она «...должна, была, особенно в отношении соседних

народов, отречься от всего своего прошлого. Вместе со своей собственной свободой она должна была про¬возгласить свободу тех народов, которые доселе ею угнетались». 1

Венгерское правительство, вместо того, чтобы включить путем широких демократических мероприятий национальные движения в революцию, превратить их в один из ее главных двигателей, по своей дворянской ограниченности оттолкнуло их, и они стали реакционными, контрреволюционными. Прижатая к стенке австрийская камарилья, в том числе австрийский генерал, хорватский бан Елашич, не скупилась и на заманчивые обещания социального порядка. Эти обещания, конечно, никогда не были выполнены и давались только с целью задушить венгерскую революцию руками обманутых национальных меньшинств.

В том, что эти лживые обещания влияли и на настроения венгерского крестьянства, немало было повинно венгерское «независимое» правительство, которое вешало вождей крестьян, требовавших земли.

Большая часть венгерского крестьянства не хотела идти на войну. Это нежелание особенно проявлялось в тех местностях, где венгерское правительство отвечало на захват земель тюрьмами и казнями.

Демагогия австрийцев не была для Петёфи тайной. В прокламации «Общества равенства» он писал: «...Елашич и его сообщники заявляют, что они не враги народа, а напротив — его друзья... Если хотите снова гнуться в три погибели, платить оброки и превратиться в подъяремную скотину, — радушно принимайте Елашича и его дружины, но если вы поклялись... никогда больше не взвали-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс Соч., т. VI, стр. 185.

вать себе на плечи тяжелое и постыдное бремя, тогда вперед, граждане. И пусть эта борьба будет не на жизнь, а на смерть!»

* * *

11 сентября 1848 года армия Елашича по приказу императора выступила против Венгрии и ее национального правительства. В конце сентября в Пешт прибыл австрийский генерал граф Ламберг; он привез с собой указ императора о роспуске Национального собрания и второй указ, гласивший, что генерал Ламберг назначается полноправным наместником Венгрии и главнокомандующим ее армий. Этим декретом император одним «мановением руки» пытался уничтожить все завоевания 15 марта.

Пештский народ поднялся, в том числе и рабочие, которых до сих пор не принимали в Национальную гвардию из-за «неблагонадежности».

Прибывшего из Вены генерала Ламберга 28 сентября на набережной Дуная встретила огромная толпа и показала трусливым дворянам, как должно действовать мужественным патриотам. Уже через несколько мгновений после прибытия граф Ламберг мертвый лежал на судовом мосту, а возмущенный народ, вытащив из его сумки королевские указы, кричал, размахивая ими: «Да здравствует республика!»

После сентябрьского восстания народных масс Пешта австрийскому правительству уже не под силу было справиться с восставшими венграми. В Вене народ тоже поднялся и овладел своей столицей. 6 октября он вздернул на фонарь австрийского военного министра Латура и с оружием в руках воспрепятствовал императорским войскам идти на подавление венгерской революции. Трудящиеся Вены действовали под лозунгом: «Свобода неделима».

После того как маршал Австрии Виндишгрец подавил пражское восстание, он пошел на Вену во главе шестидесятитысячной армии. Венгерское Национальное собрание, которое вследствие гнусного избирательного закона и на этот раз состояло только из одних дворян, продолжало колебаться. Оно все еще уповало на соглашение с императорским домом и во-время не приказало своим войскам, стоявшим на австрийской границе, идти на соединение с народом, восставшим в Вене. Виндишгрец подавил венское восстание, целью которого было и оказание помощи венграм.

Среднепоместное дворянство, составлявшее большинство венгерского правительства и Национального собрания, не могло пойти дальше интересов своего класса. У него хватило отваги объявить войну за независимость Венгрии, и вместе с тем недоставало ни самоотверженности, ни патриотизма для того, чтобы во внутренней политике пойти дальше узко классовых интересов, привлечь на сторону революции миллионы крестьян, которые, получив землю, встали бы на защиту революции и разбили бы внешнего и внутреннего врага. Всеобщее налогообложение, введенное Национальным собранием, не касалось помещиков, они не платили налогов даже во время революционной войны.

Силы контрреволюции вскоре вышли из состояния растерянности, порожденной ужасом перед революцией, и постепенно стали организовываться. Аристократия и высшее католическое духовенство, ведшие переговоры с австрийским домом, занялись сплочением контрреволюционной части среднепоместного дворянства. Многие нити заговоров против «антихриста Кошута» тянулись к замку кардинала Эстергомского. На высшее духовенство, на поме-

щиков, заключивших союз с аристократией, и на реакционных офицеров армии опиралась «Партия мира», разлагавшая революцию изнутри.

Старая феодальная бюрократия также основательно давала знать о себе. Административные власти комитатов саботировали правительственные мероприятия, руководители отдельных комитатов препятствовали организации освободительной армии.

Буржуазия немецкого происхождения тоже, в свою очередь, не бездействовала. Она вывозила из Венгрии свои капиталы. Наряду с нею усердствовали в этом венгерские помещики и богатые крестьяне прятавшие деньги.

Что же касается предательства некоторой части офицеров, то очень характерно в этом отношении свидетельство военного министра Месароша. После поражения под Кашшей Месарош писал: «Добрую половину офицеров следовало бы расстрелять, потому что они повинны в позорном поражении».

Это им бросил Петёфи слова, полные презрения и гнева:

Брат, спокойно предающий брата, — Вот она, гнуснейшая порода! Сто других один такой испортит, Словно капля дегтя — бочку меда!

Внешний враг не так уж нам опасен, Коль внутри покончим с подлой тварью. Лира, прочь! Взбегу на колокольню И в набатный колокол ударю.

* * *

Как раз в эти месяцы и вырастает значение Лайоша Кошута не только для Венгрии, но и для всей Центральной Европы. Кошут осознает, что независимость Венгрии можно спасти только путем беспощадной войны против Австрии. «Время пощады прошло, изменник отечества понесет кару», — заявляет он во всеуслышание. Кошут проводит в жизнь те антиавстрийские мероприятия, которых Петёфи требовал еще в марте.

Треоовал еще в марте.
Покуда глава венгерского правительства Батяни тщетно хлопотал в Вене о том, чтобы разрешили выпустить венгерские деньги, министр финансов Кошут, не дожидаясь разрешения Австрии, отпечатал венгерские банкноты. Так же провел он в Национальном собрании и указ о создании двухсоттысячной венгерской армии.

Кошут и левое крыло Национального собрания переходят к решительным действиям. Они создают Комитет защиты отечества, явившийся главным органом революции в стране. Став его председателем, Кошут тут же прекращает всякие переговоры с австрийцами, и война против иноземных захватчиков превращается в революционную войну.

Своими воззваниями и речами Кошут воодушевляет венгерский народ. Он приступает к организации вооруженных сил революции, пускает в ход государственные оружейные заводы и в течение нескольких месяцев создает венгерскую народную армию. Теперь и крестьяне, опасаясь восстановления крепостного права, пошли вместе с городскими бедняками добровольцами в венгерскую армию. Венгерский народ надеялся, что революционная война изменит его жизнь. Солдаты-венгры, несшие воинскую службу на австрийской территории, тысячами возвращались домой, чтобы встать на защиту независимой Венгрии.

«Энтузиазм мадьяр к свободе, еще более стимулируемый национальной гордостью, рос с каждым днем, предоставляя в распоряжение Кошута неслыханное для такого маленького народа в 5 миллионов человек количество добровольцев.»

Петёфи писал в это время:

Довольно! Из послушных кукол Преобразимся мы в солдат! Довольно тешили нас флейты, Пусть ныне трубы зазвучат!

Поражения, которые терпит венгерская армия в эту пору, не приводят Кошута в отчаяние. «Если мы не разобьем императорские войска на Лейте, — говорит Кошут, — то разобьем их на Рабнице; если не на Рабнице, то разобьем их у Пешта; если не у Пешта, то на Тисе, но, во всяком случае, мы их разобьем.»

* * *

И все-таки венгерская революция потерпела поражение. Главная причина поражения революции заключалась в первую очередь в том, что Национальное собрание по своей дворянской ограниченности не пошло на широкие социальные преобразования, а правительство либеральничало с силами реакции внутри страны, ради мнимого «единства» шло на всяческие компромиссы и уступки реакционным элементам, вместо того чтобы решительно расправляться с ними.

В апреле 1849 года дебреценское Национальное собрание лишило австрийского императора венгер-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. VII, стр. 287—288.

ского престола, и правителем страны был назначен Кошут. Но одновременно с этим было отстранено и левое крыло собрания, пришедшее к власти после сентябрьских событий, и власть взяла в руки так называемая Партия мира.

В мае 1849 года венгерские революционные войска вновь овладели Будой. Но эта победа уже не могла изменить положения. Плебейское крыло венгерской революции, возглавляемое Петёфи, видело ясно, что командующий армией Гёргей и большая часть парламента предали революцию, начав тайные переговоры с Австрией. Паскевич со своим войском находился на пути в Венгрию. Австрийский император «коленопреклоненно» молил Николая I навести порядок в его владениях, тем более что «Венгрия может послужить дурным примером для окружающих государств».

Велико было возмущение представителей передовых кругов России против действий Николая I! Ведь кроме самодержавно-дворянской России, существовала и Россия революционно-демократическая.

Герцен с сочувствием приводил слова Кошута о вооруженной помощи Николая I Австрии: «Какая узкая и *противославянская* политика — поддерживать Австрию». ¹

Когда Чернышевский узнал о капитуляции Гёргея под Вилагошем, он отметил в своем дневнике: «Победа над венграми прискорбна. Сначала поверил, после несколько не поверил, после снова поверил, теперь более верю, чем нет, что Гёргей в самом деле сложил оружие».

 $^{^{1}}$ А. И. Гериен. Полн. собр. соч. и писем, под ред. М. К. Лемке, II. 1920, т. XIV, стр. 182. Н. Г. Чернышевский. Полн. собр. соч., М., 1939, т. I, стр. 307.

«И когда Венгрия восстала, — писал Герцен позднее в «Колоколе», — Австрия дышала на ладан и совсем перестала бы дышать, если бы не *преступная* рука Николая, Николай, помогая Австрии, изменил столько же России, сколько Гёргей, помогая ему, изменял Венгрии». ³

Не только великие представители русской демократической мысли боролись против реакционной международной политики русского самодержавия, разоблачали контрреволюционную сущность военной помощи Николая I, оказываемой Австрии и ее интервенции против революционной Венгрии. Общеизвестно также, что некоторые подразделения царской армии отказались воевать против революционной Венгрии, а иные подразделения даже присоединились к венгерской революционной армии, чтобы бороться против деспотизма Николая I.

«Мы пришли помогать австрийцам, — писал русский офицер Лихутин, — и помогали им, и вдруг наши симпатии оказались на стороне тех, во вред которым мы действовали...»

Офицер Н. Богдановский рассказывал: «Во время венгерской кампании между нами и неприятелями нашими проглядывали дружественные отношения».

Чрезвычайно интересны воспоминания офицера русской армии Фатеева, принимавшего участие в сражении под городом Дебреценом. Фатеев пишет о своих переживаниях перед сражением: «О чем я думал в эту минуту... Во-первых, моему национальному самолюбию льстило и втайне радовало меня, что эта кровопролитная и ненужная война скоро окончится. Но преобладающим чувством в душе

 $^{^{-1}}$ *А. И. Герцен.* Полн. собр. соч. и писем, под. ред. М. К. Лемке, II. 1919, т. X, стр. 6.

моей было сожаление об уничтожении неприятеля. Я не только не чувствовал к нему никакой ненависти, напротив, я ощущал к нему уважение и искреннюю симпатию, а к австрийцам равное этому отвращение».

Например, рядовой Абеамиков перебежал к «венгерским бунтовщикам» с оружием в руках. Его обнаружили там и приговорили за это к смерти. 1

Таких случаев было немало.

Демократическое общественное мнение угнетенного народа Польши было также на стороне революционной Венгрии. Более того, в Польше нашлось даже множество сторонников совместного польско-венгерского выступления. Уже в декабре 1848 года первые польские отряды, возглавляемые генералом Бемом и Дембинским, пошли воевать за венгерскую свободу. Генерал Бем, с именем которого связаны знаменитые сражения и целый ряд блестящих побед, стал одним из лучших полководцев венгерской армии. У него и служил Петёфи, которого горячо полюбил старый революционный генерал. Генерал Бем писал: «Поляки должны в борьбе против Австрии примирить славян и венгров». После выпуска венгерской «Декларации независимости» главнокомандующим армии Верхней Венгрии стал поляк Дембинский.

В июле 1849 года в польской газете «Demokrata polska» Станислав Ворцел напечатал серию статей под заглавием «Венгрия и Польша», в которых призывал поляков и венгров вместе бороться за свободу. Обратился с приветственным воззванием к венграм и великий польский поэт Адам Мицкевич.

В 1849 году, когда венгерская революция потер-

 $^{^{-1}}$ Ленинградский Центральный Исторический архив «Дела военного трибунала».

пела поражение, польские легионы, покидая страну, обратились к венгерскому народу с прощальным воззванием: «Мы воевали вместе с вами и хотели, чтобы борьба за ваше освобождение и наше участие в ней заложили основу дальнейшей освободительной борьбы...»

Чешские революционные демократы также сочувственно следили за венгерской революционной войной. Они приветствовали друг друга словами: «Да здравствует Кошут I» Пражские революционеры в мае 1849 года требовали прежде всего действий, согласных с действиями венгерской и немецкой революции.

Петёфи и его друзья (левое крыло общества «Мартовской молодежи») уже 31 марта 1848 года, то есть через две недели после начала революции, обратились с воззванием к хорватам:

«Любимые наши братья, хорваты!

После трехсот лет угнетения мы вступили, наконец, на порог независимости и свободы. То, что мы завоевали, завоевано в равной мере и для нашей и для вашей пользы. Мы боролись, а если понадобится, будем еще бороться во имя священного девиза свободы и независимости, который объединяет все интересы, и не одной только нации, а всех наций. Дело у нас общее. Враг один: деспотическая бюрократия Австрии. Против нее должны объединиться все народы, населяющие нашу родину: венгры, хорваты, сербы, немцы, румыны. Только таким образом сохраним мы, только таким образом сможем мы завоевать свободу и независимость родины.

Друзья! Милые братья, я обращаюсь к вам во имя священной дружбы, которая верно охраняет нас в счастье и в несчастье на протяжении восьми

веков. Брат поймет искренние слова брата. Хорваты! Мы просим вас, во имя всего, что свято для вас: не будем ссориться меж собой! Забудем о различии в языке, ведь мы едины в борьбе за всеобщую свободу. Не будем слушать тех, кто натравливает нас друг против друга, — они хотят использовать усобицу между нами, чтобы ослабить наши общие силы. Братья! Объединимся!

* * *

Почти сто лет подряд замалчивали венгерские буржуазные историки сочувственное отношение передовых славянских кругов к венгерской революции 1848 года. Вину за подавление революции они целиком переносили с Австрии и ее «доброго, коленопреклоненного» императора Франца-Иосифа на Россию. Эти историки сознательно обходили молчанием столкновения русских прогрессивных кругов с Николаем I, столкновения, которые не раз заканчивались для «крамольников» тюрьмой или виселицей. Венгерские буржуазные историки не вспоминали и о постыдной роли западных стран в удушении венгерской революции 1848 года.

В 1849 году венгерский посол во Франции Пульски заявил, что «французская республика — это настоящая монархия. Во внешней политике она консервативнее, чем была при Луи-Филиппе, и является неистовым врагом всяческих республиканских движений».

Буржуазные историки Венгрии тщательно скрывали и воззвание, с которым Кошут обратился в 1849 году ко всем народам мира: «Французская республика, ты забыла о тех принципах, которые ты провозгласила при своем рождении. Ты, гордая

Англия... ты не только не защищаешь дело свободы и человечности, но сама содействуещь рабству...»

Английское правительство, как прежде, так и потом, интересовалось только «европейским равновесием», то есть своим преимущественным положением в Европе. Ему выгоднее было поддерживать австрийскую монархию, а поэтому, прикрывая свои интересы либеральными разглагольствованиями, оно согласилось на интервенцию Николая I.

«...Англия кажется скалою, о которую разбиваются революционные волны, которая хочет уморить голодом повое общество еще в чреве матери, ¹» — писали тогда Маркс и Энгельс о капиталистической Англии как об оплоте контрреволюции в 1849 году.

Когда поверенный Кошута явился к Пальмерстону, министру внутренних дел Англии, с просьбою принять его, Пальмерстон отказал ему в этом и направил к австрийскому посланнику, заявив, что британское правительство знает Венгрию только как составную часть Австрийской империи.

В июне 1848 года Пальмерстон заявил в парламенте Англии: «...Независимость Венгрии была бы всеобщим несчастием». И, когда началась интервенция, он приказал: «Кончайте с Венгрией как можно скорее!»

После сдачи оружия у Вилагоша Пальмерстон поспешил от имени «прогрессивного», «либерального» английского правительства послать приветствие правительству Австрии, которое в это время тысячами казнило участников освободительной борьбы.

Рассказывая о душевном состоянии Кошута после нескольких лет пребывания в эмиграции, Герцен очень точно охарактеризовал позицию Англии:

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. VII, стр. 103.

«Кошут понял, что... Англия плохая союзница революции».

* * *

Стотысячное войско Паскевича и двухсоттысячная австрийская армия повели концентрированное наступление против истощенной венгерской армии. Австрийская ставка, как это было установлено позднее, получила точнейшие сведения относительно сил и расположения венгерских войск. Эти сведения исходили либо из военного министерства Венгрии, либо из созданного Гёргеем Центрального военного бюро главнокомандующего.

Вследствие саботажа «Партии мира» у венгерских солдат не было ни снаряжения, ни обмундирования, — они шли ободранные, босые, ели сырую кукурузу, которую ломали тут же на полях.

11 августа 1849 года Кошут вынужден был передать всю власть в руки Гёргея, а тот через два дня после назначения сложил оружие под Вилагошем.

Начались расстрелы и казни. Гёргей получил помилование, — вероятно, приняли во внимание его «заслуги».

«Гёргей не посмел бы пойти на предательство, если бы он не чувствовал поддержки какой-нибудь из партий Национального собрания», — писал Кошут в одной из своих более поздних статей, и свое высказывание заключил следующими словами: «Я умел защищать страну от внешнего врага, но от внутреннего предательства не умел».

Народ проклял своих предателей. Скорбно звучала его песня после того, как венгерская свобода была повержена внутренними и внешними врагами:

Эй, товарищ мой печальный, друг, откуда ты сейчас? Почему струятся слезы из твоих обоих глаз? Почему такой печали на лице твоем печать, Будто дней тебе веселых не видать и не встречать? Будет он наказан небом, Артур Гёргей...

3

Первым сознательным глашатаем идей просветительства в Венгрии был поэт, драматург и автор философских сочинений Дёрдь Бешенеи (1741—1811), дворянин, состоявший в молодости в лейбгвардии императора. Он поставил вопрос о необходимости развития национального языка и этим проложил дорогу для новой венгерской литературы. «Ключ нации — язык, причем родной язык каждой страны», — писал Бешенеи.

С возмущением высказывался он о царившем пренебрежении к родному языку: «Я удивляюсь нашей нации, что она с таким равнодушием взирает на то, как забывают ее родной язык... Все нации познали науки на своем, а вовсе не на чужом языке...»

Бешенеи ратовал за создание свободной просвещенной Венгрии:

«Любой гражданин вправе увидеть недостатки старого законодательства своей нации», — писал он в 1780 году. «Безнравственный барин, знаешь ли ты, что этот бедняк, который несет на себе все тяготы, служа королю, родине, работая на помещика, судью, священника... насколько он больше тебя стоит? Ему бы носить лавровый венок, а ты даже мякины недостоин.»

К концу своей жизни Бешенеи был отдан под политический надзор и в 1811 году, перед смертью,

высказал только одно желание, чтобы его похоронила без священника.

Несмотря на свои прогрессивные взгляды, Бешенеи в силу своей сословной ограниченности считал еще естественными дворянские привилегии. Он протестовал только против дворянского произвола и требовал улучшения условий жизни крепостного крестьянства.

Вследствие заговора Мартиновича пострадало пять венгерских поэтов. Четверо из них были присуждены к казни (Лацкович, Сентьови, Казинци и Вершеги), а один — к тюремному заключению. Лацковича казнили, Сентьови, Казинци и Вершеги помиловали. Сентьови умер в остроге, Вершеги просидел в нем около девяти, Казинци — около семи лет. А Бачани после освобождения из австрийского острога никогда больше не мог вернуться в Венгрию, хотя прожил еще пятьдесят лет.

Янош Бачани (1763—1845) — венгерский поэт и революционный просветитель — был недаром совсем изгнан из венгерского общества господствующими классами Венгрии.

Поэтическое творчество Бачани сложилось под влиянием идей французской революции XVIII века. Он первый в Венгрии в 1789 году грозно заговорил с аристократами в своем знаменитом стихотворении «На перемены во Франции»:

Вы, божьей милостью мучители народа, Чтоб знать судьбу свою, осмыслить суть событий, Вы зоркие глаза к Парижу обратите.

В другом стихотворении он возглашал:

Пусть и для нашего объявятся народа Честь, Разум, Равенство, Достоинство, Свобода. Свобода! Этот клич весь шар земной потряс, Он близок, он грядет, давно желанный час. И троны из костей, скрепленных кровью наций, Везде уже дрожат, готовы зашататься. Глядят, куда бежать, коль скоро рухнет трон, Убийцы жадные, носители корон.

Господствующие классы венгерского общества не могли простить Бачани его призывных революционных стихотворений. Даже через сорок с лишним лет крупнейшего венгерского фольклориста Яноша Эрдеи только за посещение Бачани в Линце, месте его ссылки, по возвращении на родину поставили иод полицейский надзор.

Властители Венгрии хорошо разбирались в том, кто истинный, непримиримый политический враг.

Второй поэт-просветитель Михай Фазекаш (1766—1828) был борцом за создание национальной венгерской культуры. Всем своим творчеством он доказал глубочайшую любовь к венгерскому народу, к венгерской поэзии. В одном из стихотворений он с презрением плебея высказался о тех венгерских писателях, которые, стремясь создать национальную культуру Венгрии, искали для этого искусственные, далекие от народа пути, прибегали к заимствованиям из иностранных культур и даже к эстетским выдумкам.

Когда помазанных орава Порой на Геликон плелась И там за струны лир бралась Петь языку родному славу, — Я на простой своей дуде В полях хвалил его везде!

И за этими высказываниями скрывалась вовсе не приверженность к традиционности и патриархальности. В этом высказывании выразилась вся антидворянская демократическая направленность Фазекаша, ярче всего проявившаяся в его знаменитой поэме «Мати Лудаш».

В сатирической поэме «Мати Лудаш» Михай Фазекаш первым из венгерских писателей поставил вопрос об освобождении крепостных. В его поэме крепостной мальчик, защищая справедливость, трижды избивает до полусмерти своего деспотического барина. Правда, автор отодвинул время действия в эпоху крестовых походов и вскользь заметил, что теперь уже нет таких помещиков, однако для читателя было совершенно ясно, что он сделал это из цензурных соображений. Хотя Фазекаш обрисовал в своей поэме единичный случай расправы крепостного с помещиком, значение «Мати Лудаша» в истории венгерской литературы и демократической мысли очень велико.

Чем, как не грозным предупреждением венгерских крепостных, пусть даже запрятанным в оболочку венгерской народной сказки, можно считать ставшие крылатыми строчки из «Мати Лудаша»:

Запишите на воротах, чтоб случайно не забылось: «Трижды вас побьет за это беспощадно Мати Лудаш»

Друг Михая Фазекаша, замечательный венгерский поэт-просветитель Михай Витез Чоконаи, также живший до эпохи реформ, ставил в своем творчестве социальные вопросы с большой остротой:

Род человеческий, безумный, бестолковый, Зачем ты сам себе, скажи, надел оковы?

Земля-кормилица, она была твоею, А ныне лишь скупец, гордец владеет ею. Зачем, разгородив простор полей межами, Посеял ты раздор-разлад меж сыновьями? Везде «твое», «мое». Настолько было краше, Когда про все кругом могли сказать мы: «наше». Был век, когда земля для всех плодоносила, Принадлежала всем и щедро всех кормила.

Законом бедняки тогда не презирались, Все были равными и в равенстве рождались.

И баре чванные, украсив дом гербами, Не правили еще безгласными рабами И не лишали их последней корки малой, Чтобы паштетами наестся до отвала.

Писатели и поэты, непосредственные предшественники Петёфи, пришедшие в литературу после Фазекаша, Чоконаи и Бачани, в постановке социальных вопросов отошли назад сравнительно с этими поэтами-просветителями.

Руководителем венгерской литературной жизни начала XIX века стал спасшийся от рук палача Ференц Казинци. Сойдя с главной дороги политических действий, Казинци отошел постепенно и от своих радикальных взглядов и лишил возглавленное им литературное движение демократических начал. Он повернулся и против складывавшегося демократического направления в литературе.

Казинци и его приверженцы стремились обновить венгерский язык, так как считали его «недостаточно гибким и богатым для выражения новых идей времени». В этом была прогрессивность дви-

жения, возглавляемого Казинци. Но отход от основной линии политической борьбы, аристократизм, эстетство помешали самому Казинци найти верный путь в литературе. Он оторвался от народных традиций отечественной литературы, и как замечательно сказал поэт Эндре Ади, «отбросил прекрасный язык в ту самую пору, когда стремился улучшить е г о . . . Это было время, когда с запада внезапно пришли новые понятия, а те люди в Венгрии, которые могли считаться интеллигентами, в большинстве своем плохо знали родной я з ы к . . . Так следовало бы демократическими государственными реформами поднять наверх, ввести в форум превосходно изъяснявшегося на родном языке венгерского крестьянина!», то есть следовало бы продолжать борьбу за освобождение венгерского крестьянства, как это делали пионеры буржуазного прогресса Мартинович и его товарищи.

Говоря об этой кризисной эпохе в становлении венгерского литературного языка, Ади совершенно справедливо замечает: «...они жили слишком далеко от людей, разговаривавших на подлинно венгерском языке».

Казинци был первым критиком и первым организатором литературной жизни Венгрии, сыгравшим значительную роль в развитии отечественной литературы. Однако в своей критической деятельности он тоже допускал ряд ошибок. Отрицая значение народного творчества, Казинци выступил с жестокой критикой так называемой дебреценской школы Чоконаи и Фазекаша, которые стремились к слиянию с народной поэзией. В своем воинствующем эстетстве Казинци дошел до того, что поставил вне литературы глубоко национальную поэму Фазекаша «Мати Лудаш». Казинци не понял боль-

шого социального значения этой поэмы, не увидел в ней литературного отражения тех антикрепостнических взглядов, которые выдвигались в свое время Мартиновичем и его товарищами.

свое время Мартиновичем и его товарищами. К движению обновителей языка присоединился также молодой поэт и критик Ференц Кёльчеи, который в своей творческой практике во многом следовал литературным образцам. Однако, Кёльчеи шел более верным путем, чем Казинци. Он выступал борцом за национальное освобождение Венгрии, за освобождение крестьянства и считал борьбу за венгерский язык исходной точкой борьбы против феодализма, исходным пунктом борьбы за единство нации. Кёльчеи заявил: «Они (аристократы. — А. Г.) не хотят ничего иного, как превратить латынь в такой священный язык, который обособлял бы их от масс. А может быть они боятся принять родной язык, потому что боятся демократии?»

родной язык, потому что боятся демократии?» Кёльчеи уже в 1826 году в своем труде «Национальные традиции» указывал на огромное значение народных песен, сказок и сказаний для развития литературы.

В своем творчестве, обращенном во многом к славному прошлому венгерской нации, Кёльчеи выдвигает подлинных национальных героев, как, например, Миклоша Зрини, Ференца Ракоци. Некоторые произведения Кёльчеи представляют собой образцы истинно политической лирики. Поэтическое творчество Кёльчеи было тесно связано с его позицией общественного деятеля, верного идеям просвещения, ратовавшего за свободу своей нации, за свержение феодального строя.

Национальное пробуждение Венгрии XIX века нашло первых литературных выразителей в лице писателей, объединившихся в 1822 году вокруг журнала «Аврора».

В 1817 году началось в Венгрии собирание фольклора. Поэты круга «Аврора» стали писать стихи в духе народных песен.

Эти поэты, выступившие непосредственно перед Петёфи, выражали в литературе стремление к созданию венгерского национального государства, как единственного выхода из кризиса, охватившего страну, зависимое положение которой мешало буржуазному развитию ее хозяйства. И это общее стремление положило начало новому литературному движению в Венгрии, участники которого стали впоследствии активными деятелями так называемой эпохи реформ.

Начались лихорадочные поиски национальных традиций. Рождались поэмы, баллады, драмы, посвященные героическому прошлому Венгрии.

посвященные героическому прошлому Венгрии. Воспевание прошлого ничего не изменило в судьбе страны. Ни кто иной как Сечени разъяснил в своей книге «Кредит» поэтам эпохи реформ, что причина всех бед таится в отсталом экономическом устройстве Венгрии. Он разъяснил, что эта отсталость стоит преградой на жизненном пути даже самых привилегированных сословий, и что наибольшим препятствием к устранению бед является горький плач над безвозвратным прошлым, беспомощность в настоящем и безнадежность относительно будущего.

В конце тридцатых годов атмосфера в Венгрии становится все более и более накаленной. Габсбурги решили ввести в подвластной им стране еще более жестокий режим. В ход опять пошли репрессии и тюрьмы. В это время и был посажен в острог Лайош Кошут. Все ожесточенней становилась борьба между среднепоместным дворянством и аристократией, которая во всех вопросах придерживалась ан-

тинациональной точки зрения и стояла на стороне Габсбургов. Столкновение с придворной аристократией и магнатами заставило идеологов среднепоместного дворянства прийти к несколько более демократическому образу мышления. В литературе торжественная патетичность и изысканно-салонный стиль становились постепенно достоянием прошлого. Оторванный от действительности романтизм также перестал удовлетворять как самих писателей, так и читателей; литература стала на путь приближения к реализму и народности. Вместе с тем передовые писатели Венгрии отказывались от традиций немецкой культуры и обращались к культуре революционной Франции, даже в какой-то мере к идеям утопического социализма.

ям утопического социализма.

Это течение в литературе развивалось одновременно с деятельностью Кошута, направленной к обуржуазиванию Венгрии. К борьбе Кошута присоединилсь и молодые писатели, присоединился и Михай Вёрёшмарти. Он стал бичевать в своих произведениях дворянскую лень, преклонение перед всем иностранным, политику безмерного угнетения крестьянства и призывать к развитию национальной промышленности. И чем ближе подходил Вёрёшмарти в своем творчестве к насущным задачам современной Венгрии, чем яснее понимал он, что национальное освобождение нельзя провести мирным путем, тем больше его поэзия проникалась элементами народности. Вёрёшмарти был по-настоящему большим поэтом, он сумел совершить огромный путь от напыщенных гекзаметров «Бегства Залана» и других поэм до простых, ясных и устремленных в будущее строк «Фотской песни»:

Пьет мадьяр, веселым взором Вдаль глядит, Ибо выпитое с толком Не вредит. Пьет за родину, и сразу — Ясен путь! Только лучше б совершил он Что-нибудь...

Этими и подобными стихами проложил Вёрёшмарти дорогу для великого Петёфи, который первый придал истинно революционный смысл народности и патриотизму в литературе.

Петёфи взял факел поэзии из рук Вёрёшмарти, зажег его огнем политической борьбы, высоко поднял над головой и понес вперед.

«Слова — солдаты», «герои в дерюгах» прокладывали ему путь к вершинам венгерской поэзии.

* * *

Петёфи пошел всего двадцать второй год, когда он стремительно ворвался в венгерскую литературную и политическую жизнь. Впервые в Венгрии поэт заговорил с народом не свысока, а как представитель самого народа. Мысли и чувства, обуревавшие его, он стал высказывать живым языком народных масс.

Критики той эпохи сперва замечали только одно: появился очень талантливый поэт, который может помочь им в создании новой венгерской литературы с той идейной направленностью, какая устраивала этих «трезвых» деятелей. Первые произведения Петёфи венгерское общество, особенно круги прогрессивной молодежи, встретило восторженно. Покоряла свежесть, непосредственность, проникно-

венная искренность стихов Петёфи, лукавая прелесть его песен, новизна и своеобразие жанровых картинок, истинно народное песенное начало его творчества. Национальное своеобразие его поэзии, полная независимость поэта от всякого рода чужеземных влияний, пустивших такие глубокие корни в венгерской поэзии, еще больше содействовали популярности Петёфи, и он сразу стал знаменем тех, кто ратовал за национальную независимость Венгрии.

Первые полгода деятельности Петёфи в литературе — с весны до осени 1844 года — проходят почти спокойно. Разве только иногда раздаются упреки отдельных литературных ретроградов, которые никак не могут примириться с демократической основой, или, как они ее пренебрежительно называли, «низменностью» его стихов, с той ломкой традиционных форм, которую произвел Петёфи, с неожиданными, новыми образами, сравнениями, метафорами, с неподдельной, естественной народностью его поэзии. Но вот еще до сборника стихов, намеченного к изданию «Национальным кругом», выходит ирочко-комическая поэма Петёфи «Сельский молот». Она заставляет насторожиться многих. Поэт заговорил таким голосом, который ошеломил не только ревнителей традиции — тупоголовых реакционеров, но и сторонников «реформ».

В «Сельском молоте» Петёфи задорно и весело разделывается с героическими эпопеями предшествующих поэтов и современников, с той напыщенной дворянской поэзией, которая искала свои темы не в жизни народа, а воспевала без разбора подвиги своих предков дворян.

Петёфи изображает в этой поэме комические перипетии любовной истории, в которой участвуют сель-

ский кузнец, шинкарка и певчий, причем рассказывает о похождениях своих героев простым народным языком, нарочно изукрасив его в наиболее неподходящих для этого случаях «высокими» словами. О самых простых людях и повседневных событиях их жизни Петёфи повествует «высоким стилем» эпоса. Весело высмеивая всю торжественную статичность стиля ложно-классического эпоса, он старательно подбирает устоявшиеся, омертвевшие и уныло-медлительно разворачивающиеся метафоры. В отдельные эпизоды, например, в описание того, как кузнец спускается по веревке с колокольни или как закатывается солнце, вложена такая торжественная эпичность, что за каждой строчкой мы видим хохочущего поэта, который, как бы играя, воздвигает причудливую постройку из народной речи, языка ложно-классических поэм и собственной затейливой поэтической фантазии. Вот так от одного мановения его руки становятся смешными бесплодные грезы дворянских поэтов о прошлом, все ложно приподнятое поведение героев и королей, весь этот «высокий штиль» дворянской поэзии.

В «Сельском молоте» Петёфи достигает особого комизма тем, что самые «низменные» события украшает пышными узорами, самые грубые домотканые холсты шьет модным покроем изысканнейших портных. При изображении простых людей, загоревших от работы на солнце, при описании самых будничных положений Петёфи прибегал к таким высокопарным, чуждым народу словам и оборотам речи, заимствованным из дворянской поэзии, что его единомышленники помирали со смеху, а враги задыхались от злости.

Не случайно, что именно «Сельский молот» вызвал первые нападки на Петёфи.

«Этот талантливый народный поэт идет по ложному пути...» — скорбит один из его «доброжелателей». «Пусть господин Петёфи научится отличать «народное» от «вульгарного». Его вкус должен облагородиться.»

Наконец выходит первый сборник стихов Петёфи. Неожиданной свежестью пахнуло в литературной жизни Венгрии. Теперь уже не отдельные его стихи просачивались в литературу, а разлилась полноводная река; она сразу же пробила себе русло и широко, вольно потекла, смывая на своем пути все роко, вольно потекла, смывая на своем пути все случайное, непрочное, косное, освежая кругом весь воздух, принося с собой в поэзию простоту и легкость. Пришел поэт Петёфи и лирично, непринужденно стал рассказывать о своих мыслях, чувствах, о событиях своей жизни, о том, как он выступал впервые на сцене, о том, как радостно было ему приезжать к матери, как тяжело было с ней расставаться, о том, как друг ему изменил, какой лукавой и неверной оказалась девушка, о том, как он ждет весну, потому что тогда не придется дрожать от стужи в легонькой одежде. В его стихах полно и многообразно выступала венгерская природа в ее зимнем, летнем и весеннем обличии. Лачуги, стонущие на ветру, весенние травы, зеленя, и деревенские домики, прижавшиеся к земле в страхе перед бураном, и вереницы аистов, летящих на юг, и пасущиеся стада, и беснующиеся табуны — все это жило полной жизнью в его стихах. Все, что он видел, чувствовал, у него немедленно воплощалось в стихи. И в какие стихи! В них не было ни словесных украшений, ни стили: В них не облю ни словесных украшении, ни поэтической выспренности, без которых в то время не могли представить себе поэзию. Такой искренний поэтический голос зазвучал в венгерской литературе впервые. Лирическая непосредственность тогда была еще внове, и, конечно, многим она показалась «неприличной», почти кощунственной. Необычны, новы были и темы поэтических произведений Петёфи. До него дворянская поэзия преимущественно воспевала лишь внешнюю, показную сторону дворянской жизни, на все остальное был наложен строгий запрет, как на «низменное» и «недостойное» поэзии. И вдруг этот новоявленный поэт, нарушив все каноны поэзии, заговорил не только о самом себе — бродячем актере, рядовом солдате (можно себе представить, как чужд был реакционерам от литературы такой лирический герой после традиционных жеманных и сентиментальных персонажей дворянской литературы!), но показал читателям картины жизни венгерского народа и той Венгрии, которая до этого не допускалась в пределы поэзии. Песни — веселые, смешные, грустные — полонили душу читателей, перед их глазами вставали картины народной жизни, вошел в поэзию бетяр — герой пушты, деревенский парнишка, «залетевший» на кухню прикурить трубку. В стихах Петёфи шумел, плясал, шутил, страдал и гневался народ, выразителем чаяний которого и был поэт.

Поэтому-то его поэзия и вошла так сразу и так прочно не только в литературу, но и в сознание самого широкого читателя, что никаким истошным визгом реакционных критиков изгнать ее оттуда было уже невозможно. Стихи Петёфи стали вершиной венгерской поэзии и, что не менее важно, завершили процесс создания нового венгерского литературного языка. Сразу выяснилось, что все усилия «обновителей языка и литературы» и все потуги приверженцев традиционности нужны были лишь для того, чтобы явился из Алфельда этот молодой человек, Шандор Петёфи, и, отобрав все лучшее из

того, что было добыто его предшественниками и что было найдено им в живой народной речи, создал новый венгерский литературный язык. Языкотворчество Петёфи пришло как нечто само собой разумеющееся, — сам поэт ни слова не говорил об этом, не писал трактатов, — он властно внес в поэзию язык венгерского народа, обогащенный наиболее ценным из того, что создала венгерская литература, он взял эстафету из рук Михая Вёрёшмарти, который до появления Петёфи сделал самый большой вклад в венгерский литературный язык.

* * *

1844 год оказался для Петёфи не только счастливым благодаря тому, что ему удалось выпустить две свои первые книги, но и очень плодотворным: Петёфи создал свое превосходнейшее эпическое творение — повесть в стихах «Витязь Янош».

Мотивы подлинной народной жизни в «Витязе Яноше» тесно переплелись с элементами народной сказки. Чудесный фольклор венгерского народа — сказки, баллады, песни — не только обогатил язык повести, но и вошел в структуру образов, пронизав их насквозь. Сам Янчи Кукуруза выступает как сказочный силач. В своих странствованиях он встречает великанов, грифов и драконов. Следуя фантастике народных сказок, Петёфи смещает все географические понятия; в Италии у него царит вечный холод, Франция расположилась рядом с Индией. И за всей этой чудесной, вовсе не орнаментальной, а органически связанной с тканью поэмы фантастикой читатель ни на мгновение не перестает ощущать образ подлинного крестьянского героя, который может достигнуть счастья на земле,

только преодолев фантастические трудности. Пользуясь приемами народного сказа, поэт создал своего рода одиссею крестьянского парня — пастуха, которого судьба подвергает различным испытаниям, а он все-таки торжествует над всеми превратностями жизни и остается верен своей любви. Правда, торжествует он только в сказочном мире фей, но уже и этим Петёфи хотел дать символ будущего: великая, бессмертная сила народная отстоит свою правду, свое право на жизнь. В «Витязе Яноше» поэт воплотил неиссякаемую мощь народа.

Эта сказочная повесть в стихах народна не только потому, что поэт сохранил в ней все формальные особенности венгерской народной поэзии, не только потому, что героем в ней избран пастух-подкидыш, но главным образом потому, что весь образ мышления и строй чувств в ней таков, как у людей из народа.

«Витязь Янош» явился вершиной венгерской народной поэзии. Это чудесное завершение пути народной сказки и одно из первых эпических произведений венгерской литературы, проникнутых подлинным демократизмом. Слава поэта благодаря этому произведению еще больше возросла, но даже она не могла заглушить голоса злобствующих критиков. Петёфи по-прежнему обвиняли в грубости, непоэтичности. И удивительного в этом тоже мало. «Витязь Янош» открывал новую эру в венгерской эпической поэзии и тем самым разрушал каноны ложно-классического эпоса, отстоять которые всячески пытались критики-ретрограды.

Надо заметить, что Петёфи, о «необразованности» и «стихийности творчества» которого столько толковали в современных ему литературных журналах, творил глубоко сознательно, причем твердые эстети-

ческие принципы он выдвигал не только для самого себя, но с самого начала искал себе единомышленников и союзников.

Верным сподвижником Петёфи в борьбе за создание народной литературы был венгерский поэт, Янош Арань. ¹

В письме к Араню от 23 февраля 1847 года Петёфи ясно и четко определяет свои взгляды на создание новой эпической поэзии: «Ты спрашиваешь меня: не химера ли создание серьезного эпоса, написанного в народном духе и на языке народа? Я думаю, что нет, и ты хорошо сделаешь, если как можно скорее возьмешься за него. Только короля не выбирай героем, даже Матяша не надо. Он тоже был королем, а знаешь, черная собака, белая собака, а все один пес. Коли уж ты не волен прививать народу идеи свободы, так по крайней мере не держи перед его глазами картины рабства, да к тому же картины, расписанные приятными, заманчивыми красками».

В 1847 году, в пору своего поэтического расцвета, Петёфи как раз больше всего размышлял о вопросах создания новой эстетики, о принципах новой венгерской поэзии. В письме к Яношу Араню он коротко формулирует свое знаменитое эстетическое кредо: «Что правдиво, то естественно, что естественно, то и хорошо, а, следовательно, и красиво: вот моя эстетика».

«Что бы там ни говорили, — продолжает Петё фи, — а истинная поэзия — поэзия народная. Согласимся на том, что ее надо сделать господствующей.»

¹ Арань Янош (1817—1882) — выдающийся венгерский поэт, автор значительных эпических произведений. В 1847 году вышла первая часть его поэмы «Толди». Петёфи принял поэму очень горячо, откликнулся на нес стихотворением. С этого и началась дружба двух великих поэтов, и продолжалась она, ничем не омраченная, до самой гибели Петёфи.

Совершенно ясно, что для Петёфи превращение народной поэзии в господствующую было прежде всего политической программой. Но, однако, эстетической стороной вопроса он тоже не пренебрегал, и не только в практике своего творчества. Петёфи первый сознательно поставил и разрешил в своем творчестве самые животрепещущие вопросы венгерской поэзии и тем вернул ей национальную самобытность, освободил от чужеземных влияний.

Какие же проблемы стояли перед Петёфи в области стихосложения? Исконно венгерские стихи, народная песня по своей природе силлабичны. Налиродная песня по своеи природе силлаоичны. Наличие долгих и кратких слогов в венгерском языке, правда, делает возможным введение метра, но при этом метрическое ударение часто не совпадает с естественными ударениями в венгерских словах. Что касается рифмы, то крупнейший знаток венгерского стихосложения Янош Арань писал: «Наш язык сравнительно с остальными европейскими языками очень беден рифмами. Причина этого, мне кажется, таится в том, что в других европейских языках слова при синтаксических изменениях сохраняют свою основную форму, в то время как в венгерском языке они неизбежно обрастают флексиями. А ведь повтор флексий хорошей рифмы создать не может». Предшественники Петёфи писали главным образом метрические стихи и пользовались «чистыми рифмами». А Петёфи, познав из народной поэзии истинный характер ритма и рифмы венгерского стиха, смело вводил в свою поэзию силлабизм и ассонансы. И вводил сознательно, о чем свидетельствуют его знаменательные слова из «Предисловия к полному собранию сочинений». Возражая критикам, бранившим рифмы и размеры его стихов, Петёфи писал: «Эти господа не имеют никакого представления о характере венгерской рифмы и размеров. Они ищут в венгерских стихотворениях латинскую метрику и немецкие каденции, а в моих стихах этого нет! Это верно! Я и не хотел, чтобы они были... И как раз в тех местах, относительно которых меня обвиняют в величайшем пренебрежении к рифмам и размерам, может быть, именно в них и приближаюсь я к совершенству и подлинно венгерской стихотворной форме».

В этих строках Петёфи содержится достойный ответ не только современным ему реакционерам, но и изощренным эстетам и реакционерам более позднего времени.

Как уже отмечалось, первые полгода пребывания Петёфи в литературе были почти безоблачны, — отдельные голоса хулы тонули в хоре восторженных похвал.

За эти полгода Петёфи достиг такой известности в самых широких кругах читателей, какой не достигал ни один венгерский поэт. Но вот голоса злопыхателей стали раздаваться все громче и настойчивее, — реакционеры поняли, с кем имеют дело, и устремились в атаку.

В своей юной восторженности Петёфи сперва не мог даже уяснить себе сути и значения происходящего. Он предполагал, что поэзия его звучит для всей Венгрии, что все его уважают и любят. И только теперь поэт ясно ощутил, что существуют две Венгрии: одна — это большинство, венгерский народ, другая — Венгрия аристократов и богачей, которые выступают против всего, что угрожает их привилегиям, их власти. И венгерские реакционные круги, учуяв в Петёфи своего врага и увидев стоящий за ним народ, повели против него беспощадную борьбу.

Неистовый вой реакционеров заглушил на время голоса тех немногочисленных критиков, которые

голоса тех немногочисленных критиков, которые также распознали сущность этой разразившейся «литературной» бури и были на стороне Петёфи. «Разве не виноват Петёфи в том, — пишет иронически в 1845 году один из его приверженцев, — что он посмел заговорить на языке народа? Удивляюсь, как это его еще не привлекли за такое демократическое преступление к суду по обвинению в «измене родине».

Однако расслышать эти одинокие голоса Петёфи не мог — так громки были вопли хулителей. Двадцатидвухлетний поэт поначалу было принял бой, но вскоре, не выдержав гонений, скрылся из Пешта. Он уехал в деревню Салксентмартон, чтобы обдумать все происшедшее.

И тут, как говорят, «пришла беда отворяй ворота».

рота».

Удары судьбы посыпались на него один за другим. Родители разорились вконец — хоть по миру иди; некоторые бывшие друзья поэта оказались в числе гонителей его поэзии, а для Петёфи, который ставил дружбу превыше всего, это было серьезным ударом. Любимая девушка, которой он посвятил чудесный цикл стихов «Жемчужины любви», отказалась выйти за него замуж. Вместе с тем и хозяин журнала, «добрый» работодатель Имре Вахот поставил его в такие кабальные условия, что поэт едва мог существовать. Поэтому не удивительно, что в душе Петёфи отчаяние сменялось гневом, а гнев — отчаянием и презрением к тому миру, который окружал его. «Минутами мой горизонт заволакивался», — писал он в 1845 году в стихотворении, посвященном Мору Йокаи. Теперь Петёфи иногда казалось, что над ним заволоклось все небо. что над ним заволоклось все небо.

Неуемный в любви и ненависти, прямой и ясный в своем отношении к миру, поэт на некоторое время утратил перспективу в жизни. Его активная, волевая натура, требовавшая борьбы, разрешения мучивших его вопросов, не находила себе выхода в окружающей действительности. В это время Петёфи еще не пришел к ясному пониманию того, что социальная борьба — единственный путь к разрешению царившей несправедливости. Гнев, отчаяние, презрение, ненависть воплотились у него в ряде произведений, которыми он как бы наносил пощечину современному ему обществу, мстил ему.

За недолгий период творчества, который начался в конце 1845 и закончился к середине 1846 года, Петёфи создал ряд стихотворений и поэм. К этому времени относится цикл «Тучи» — цепь

К этому времени относится цикл «Тучи» — цепь мрачных маленьких афористических стихов, «Зимняя ночь» и гениальный лирический монолог «Сумасшедший», явившийся воплощением того гнетущего настроения, которым проникнуты стихи цикла «Тучи». Стихотворение «Сумасшедший» — это как бы воплощение отчаяния и ненависти к тому миру, где царит зло, где мудрецы, погибающие с голоду, считаются безумцами, потому что они не хотят убивать и грабить, где старым солдатам в награду за их преданность дают «медаль за службу и увечье», предоставляя жить милостыней, где и «любви малейшая росинка убийственнее океана, который превратился в яд». И остается одно только: свить «бич пылающий из солнечных лучей» и бичевать им вселенную, где все плохо, где и слава — это только «луч, преломившийся в слезах», и кругом целые моря печали. А сама земля?

Что ела ты, земля? Ответь на мой вопрос. Что столько крови пьешь и столько пьешь ты слез? —

спрашивает поэт, с ужасом оглядываясь кругом. Только иногда врывается луч света в омраченную душу Петёфи, и этот луч света — упованье на то, что настанет славный час борьбы за свободу.

И вырежу я сердце потому, Что лишь мученьями обязан я ему. И в землю посажу, чтоб вырос лавр. Он тем достанется, кто храбр! Пусть увенчается им тот, Кто за свободу в бой пойдет!

В этом стихотворении уже чувствуется та самоотверженность, полное отсутствие индивидуализма, постоянное ощущение себя органической частью своего народа, которые были больше всего присущи Петёфи. И как ни старались тучи заслонить от него солнце, он даже в эти тяжелые месяцы временами поднимался над ними и впитывал в себя живительные лучи света.

В эту пору написана и чудесная лирическая поэма «Волшебный сон», в которой поэт находит разрешение трагических страстей в светлых воспоминаниях о первой любви, о дружбе юношеских лет, в грустном и трезвом ощущении того, что смерть ничего не разрешает, что счастье возможно только на земле и все романтические мечты о небе бесплолны.

Но прозрачная грусть и трезвость «Волшебного сна» не остудили жара в душе поэта. Все вновь и вновь подымаются языки багрового пламени, и он пишет поэмы, в которых чувство мести опять запол-

няет все. Ведь не так просто забыть, что любовь осталась неразделенной, потому что в этом злом мире ценится не чувство, а деньги и положение. И вот рождается поэма «Пишта Силай» о бедном паромщике, возлюбленную которого соблазняет богатый хлыщ. Пишта Силай убивает свою любимую, ее соблазнителя и себя. Все трое находят себе последнее пристанище в водах Дуная. Действие в поэме происходит на островке Дуная, прелестные картины природы сменяют одна другую, и идилличность их только усугубляет тяжесть душевных переживаний героя поэмы, который не мог восстановить справедливость и не нашел для себя другого выхода, кроме смерти.

Времена мрачного средневековья раскрываются в суровых ямбах поэмы «Шалго». Замок Шалго — рыцарский замок, обращенный в разбойничье гнездо:

Где пировали, как бы потешаясь Над стонами несчастных деревень, Испуганно ютившихся в долинах...

...Замок Шалго высился зубцами И дерзкою рукой, как великан, Тянулся к небу, похищая звезды. Но, небо подпирая головой, Внутри таил он тартар — ад кромешный.

И жители этого кромешного ада, владельцы замка Петер Комполти с сыновьями, разбойничали, грабили, убивали мужей, и похищали их жен, — все это продолжалось до тех пор, пока любовь к похищенной красавице не заставила одного из братьев раскаяться в совершенных злодеяниях и во имя этой любви он не решился на то, чтобы покарать злодеев, которые были его отцом и братом. Совершив свою кару, он, лишившись рассудка, бросился со стен замка вместе с любимой женщиной.

...Род их вымер. Дворовые при дележе богатств Друг друга изрубили так, что мало Кто уцелел. Над трупами весь год Кружились вороны. И замок Шалго Ветшал, ветшал. И жители внизу Шарахались, когда дул ветер сверху.

Эти стихи и поэмы, как и все, что писал Петёфи, сразу же нашли себе живой отклик в венгерских литературных кругах, но большая часть литераторов не поняла истинного смысла стихов, не расслышала их мятежного звучанья, и отряд «рифмующей саранчи», «хитрых обезьян», бесчисленное множество бездарных подражателей бросились строчить пессимистические вирши.

В ответ на этот поток карикатурной «мизантропии» Петёфи, будто увидевший себя в кривом зеркале, выбросил, как белый флаг примирения с жизнью, «которая все же хороша», программное стихотворение «Мироненавистничество»:

> ...Я тоже ненавидел. Повод был... Но, подлецы, когда я встретил вас, От ваших байронических гримас Вся ненависть моя оборвалась!

И чем настойчивей хотите вы Жизнь охулить, на ней поставить крест, Тем более мне нравится она, Я вижу в ней все больше светлых мест. Ведь в самом деле этот мир красив: И каждый год весна красна для всех, И есть красавицы в любом селе, И рядом с горем вечно льется смех.

Петёфи хотел уничтожить этих «обезьян», корчащих «байронические гримасы», не только потому, что ему была противна стая бездарных виршеплетов, подбиравшая крохи с его стола и с визгом и с тявканьем мчавшаяся по его следам. Петёфи написал это стихотворение тогда, когда он уже понял, что на мир надо не гневаться, а его следует преобразовать. И не случайно, что после этого создал он тоже программное, уже прямо революционное стихотворение «Мои песни».

Название «Тучи», которым Петёфи озаглавил цикл своих стихов, глубоко верно и оправдано для всего этого периода его творчества. Это были, казалось, те тучи, что заволокли на время ясный, сияющий облик поэта. Как только Петёфи нашел истинный путь, путь борьбы, как только он понял, с кем надо бороться, настроение, проявившееся в этих стихах, окончательно исчезло. А так как Петёфи был воплощением душевного здоровья и оптимизма, то эта мрачность, пессимизм ушли, не оставив даже малейшей трещины в его душе. Могучая река его творчества устремилась дальше, теперь уже сокрушая все, что преграждало ей путь. Петёфи осознал. что бессильный гнев ни к чему доброму привести не может, он понял, что поэзия его может пробить себе путь только в беспощадной борьбе.

* * *

Как поэту Петёфи свойственны необычайная многосторонность в восприятии мира, горячая от-

зывчивость на каждое движение жизни, безудержный полет фантазии, стремление каждое значительное явление человеческой жизни или природы исчерпать до дна, раскрыть в массе поэтических определений, обрисовать всеми красками, имеющимися у художника на палитре.

Одной из отличительных черт поэзии Петёфи

Одной из отличительных черт поэзии Петёфи является многообразие настроений, богатство фантазии и полнота чувств. Поэт способен в одном лирическом стихотворении провести читателя через целую гамму ощущений и ассоциаций, подчас самых противоположных. Эти мгновенные перемены и переходы всего роднее ему в природе, на них он откликается горячей всего.

Касаясь характера фантазии и поэтического воображения Петёфи, нельзя не вспомнить великолепных слов Горького в статье «О том, как я учился писать». Горький писал о своем отношении к художественному раскрытию природы: «...познание — есть мышление. Воображение тоже, в сущности своей, мышление о мире, но мышление по преимуществу образами, «художественное»; можно сказать, что воображение — это способность придавать стихийным явлениям природы и вещам человеческие качества, чувствования, даже намерения».

У других великих художников мы можем найти немало тонких суждений о том, что такое поэтическое воображение, но формула Горького нам ближе всего потому, что в ней выражено активное, творчески-созидательное отношение художника к жизни, природе. Горький говорил: «Человек придает всему, что видит, свои человеческие качества, воображая, вносит их всюду, во все явления природы». Такое же «очеловечивание» природы свойственно и художнику-демократу Петёфи. Его поэзия

проникнута стремлением активно вмешиваться во все происходящее вокруг и удивительной динамичностью в изображении жизни человека и природы.

Ах, был бы я птицей летучей, Я в тучах бы вечно летал, А был бы художником — тучи, Одни только тучи писал, —

так начинает он свое стихотворение «Тучи» и, как зачарованный, рассказывает о переменах в их об¬лике:

Нередко я видел когда-то, Как плыли они на закат И спали в объятьях заката, Как дети невинные спят.

Затем поэт видел их в гневе, когда могучие,

Нависнув стеной грозовой, Как дерзкие воины, тучи Ветра вызывали на бой.

И память призывает на помощь воображение поэта:

Я видел: забрызганный кровью, Спал месяц, как мальчик больной, И тучи сошлись к изголовью — Сестер перепуганных рой.

Раскрывая загадку своего влечения, поэт, наконец, признается:

За что ж я поток их суровый Принять в свою душу готов?

За то, что всегда они новы И стары во веки веков.

За то, что на странниц летучих Похожи порою глаза: В глазах у меня, как и в тучах, И молния есть и слеза.

Петёфи стремится раскрыть жизнь в ее полноте и многообразии. Любовь для него — и «слез водоворот», и «темный лес», и «страшная чаща»; в «сто образов» поэт облекает и любимую, и самого себя, бесконечно влюбленного.

Вот этот размах фантазии, эта нетерпеливость, стремительность, не знающая удержу, и характерны для Петёфи.

Его воображение рисует одну за другой картины, проникнутые самыми различными настроениями, но с каждой картиной у читателя крепнет ощущение, что поэт остается неизменно верен одному, все углубляющемуся чувству.

Такой полет поэтической фантазии мы можем встретить только у великих поэтов. Причем прелесть стихов Петёфи именно в том, что здесь не пустая игра образами, что все они основаны на глубоком чувстве. Об этой главной черте своей души и дарования лучше всего говорит сам Петёфи в знаменитом стихотворении «Мои песни»:

Часто я, задумавшись, мечтаю, А о чем, пожалуй, сам не знаю, И витаю над родной страною, И над всей поверхностью земною, — И такая песня вдруг родится — Лунный луч как будто серебрится.

Рождаются у него и песни «беззаботные, как птицы», и «песня-радуга», но одна мысль о том, что родина в цепях, — и поэт слагает уже иные песни:

Песня-туча в этот миг родится, Черная, в душе моей гнездится.

* * *

С течением времени Петёфи все глубже проникает в суть социально-политической борьбы своей эпохи. Настольными его книгами становятся труды по истории революций. Еще в 1844 году поэт пишет свое первое непосредственно революционное стихотворение «Против королей»:

Так будет! Меч, что с плеч Луи Капета Снес голову на рынке средь Парижа, — Не первая ли молния грядущих Великих гроз, которые я вижу Над каждой кровлей царственного дома? Не первый грохот этого я грома!

.

Земля сплошною сделается чащей, Все короли в зверьков там превратятся, И будем мы в свирепом наслажденье, Садя в них пули, как за дичью, гнаться И кровью их писать в небесной сини: «Мир — не дитя! Он зрелый муж отныне!».

Стихотворение это не могло тогда появиться в печати, но революционное настроение, которым оно проникнуто, сказалось во всех последующих произведениях поэта. Критика настороженно следила за переменами в творчестве Петёфи. Теперь он изоб-

ражает в своих стихах не только венгерский пейзаж, но обрисовывает и социальный облик тогдашней Венгрии.

Он описывает «хозяев» Венгрии, тупоголовых помещиков, ленивых, чванных, невежественных. Он с сарказмом рисует и тех, кто продает себя «за согретый угол» да за объедки с барского стола и готов в восторге лизать сапоги господ. Этим лизоблюдам, жалким собачьим душонкам, поэт посвящает «Песню собак». В «Песне волков» он противопоставляет им отважных храбрецов, людей, готовых идти на любые жертвы ради того, чтобы быть свободными.

Теперь все окружающее в жизни, даже явления природы, вызывают у Петёфи революционные ассоциации. Заходящее солнце, которое представлялось ему прежде «поблекнувшей розой», опускающей свой «померкший взгляд», поэт описывает теперь в своем превосходном, полном реалистических деталей стихотворении «Степь зимой» совсем иначе:

Как изгнанный король страницы смотрит вспять На родину пред тем, как на чужбину стать, Так солнца диск, садясь, Глядит в последний раз На землю, и пока насмотрится беглец, С главы его кровавой катится венец.

Весну поэт просит придти только затем, чтобы она осыпала цветами могилу «сынов вольности». Волны моря представляются ему «народов пучиной», которая восстала:

Землю и небо страша, Берег валами круша Рукой исполина. Первая железная дорога, проложенная в Венгрии, кажется ему «артерией земли»:

Высоко их назначенье! Соки жизни, просвещенье Через них и потекли.

Критика, напуганная смелым голосом Петёфи, его обращением к широким народным массам, вначале еще пытается «образумить», «укротить» поэта: «...В нем таятся неисчерпаемые сокровища поэзии, но он часто тратит их необдуманно и расточительно... Ежели он еще сможет войти в соответствующее русло, его чело увенчают неувядаемые лавры...»

А поэзия Петёфи ничего общего не имела с «соответствующим руслом», и откровенно реакционная критика хорошо понимала это: «Для дам не годятся такие песни с деревенских посиделок... А ведь мы творим главным образом для дам... Кто же из поэтов писал так до него?»

Либеральные критики действовали более хитро, принимая личину «доброжелателей» поэта: «Петёфи пишет для крестьян, то есть для самого грубого слоя общества, а вовсе не для народа; он забыл, что народ и чернь людская — это вовсе не одно и то же».

Под словом «народ» эти «наставники» Петёфи, конечно, подразумевали самих себя, «образованное общество» Венгрии, а под «людской чернью» — миллионы трудящихся венгров.

«Если бы этот высокоталантливый поэт не поддавался таким пагубным увлечениям, а воспевал бы события, достойные его таланта...» — лицемерно сокрушался либеральный критик.

Итак, Петёфи предлагали встать на путь дворянской поэзии, присоединиться к «либеральным сторонникам реформ». Но он в темной комнатушке читал все эти поучения и страстно восклицал: «Нет, вам меня не купить!» Когда же увещания сменились оскорблениями, он ответил «весьма непочтительно»:

Что вы лаетесь, собаки? Не боюсь, умерьте злость. В глотку вам, чтоб подавились, Суну крепкую я кость!

Это стихотворение было первым непосредственным ответом критикам. И вслед за ним хлынул новый поток тех обличительных стихов, которые господствующий класс Венгрии никогда не мог простить Петёфи.

А в нем все сильнее клокотал гнев. Шел еще только 1845 год, и Европа в лапах реакции внешне была тиха. К тем немногим, кто предчувствовали и предвещали грядущую революцию, относился и Петёфи.

Но почему же всех мерзавцев Не можем мы предать петле? Быть может, потому лишь только, Что не найдется сучьев столько Для виселиц на всей земле!

Венгерские реакционные круги со страхом и скрежетом зубовным наблюдают за «боевым строем» его стихотворных строк, с ужасом прислушиваются к гулу, нарастающему в рядах этих мятежников:

Что ж вы рабство терпите такое? Цепи сбрось, народ, своей рукою!

Не спадут они по божьей воле! Ржа сгрызет их — это ждете, что ли? Песнь моя, что в этот миг родится, В молнию готова превратиться!

Эти молнии вспыхивают в душе Петёфи, слитой с венгерским народом; они озаряют своим светом угрюмые хижины бедноты, вызывают в сердцах угнетенных чаяния и грозные мечты, пока только мечты:

Мечтаю о кровавых днях, Они разрушат все на свете, Они на старого руинах Мир сотворят, что нов и светел.

И венгерским критикам теперь уже стало совсем ясно, кто вошел в венгерскую литературу. «Поучения», «уговоры» сменяются злобной руганью. Нападкам подвергается теперь и язык его поэзии, и содержание стихов, и его личная жизнь. Такой организованной безудержной травли великого поэта еще не знала венгерская литература, да и впоследствии не видела ничего похожего. Петёфи стойко выдерживал все гонения, потому что народ, к которому он принадлежал, удесятерял его силу, вдохновение и боевой дух.

Этой схваткой завершается второй этап его творчества. Торжествующим гимном звучат слова, которые он произнес как законный представитель венгерского народа:

Когда невольники-народы Терпеть не пожелают боле Постыдного ярма неволи И выступят на поле брани

Под красным знаменем восстанья, И гневом воспылают лица, И на знаменах загорится Святой девиз: «Свобода мировая!..»

31 декабря, накануне нового 1847 года, Петёфи мысленно оглядывается назад, чтобы установить, сколько сделано за прошедший год, что выполнено из намеченных планов, каковы его планы на будущее. И желания его души вылились в двух словах: «Мировая свобода».

* * *

Осенью 1848 года под влиянием событий, связанных с неудавшимися выборами в Национальное собрание, Петёфи с лихорадочной быстротой написал поэму «Апостол».

«На днях я закончил длинную поэму (3400 строк), названье ее «Апостол», — этими краткими словами оповестил Петёфи своего друга Яноша Араня о рождении новой поэмы, с социальной точки зрения наиболее значительной из всех его эпических произведений. По милости издателей «Апостол» при жизни Петёфи не увидел света, а впоследствии, когда был напечатан, реакционеры и эстеты разных толков всячески пытались умалить его значение. Какие только грехи не приписывались этой поэме: и дурная композиция, и низменность языка, и нечеткость стиха, и недопустимость смешения романтики с реализмом, и пр., и пр. Но все эти «высоко эстетические мудрствования» и рассуждения нужны были только для того, чтобы как-нибудь опорочить поэму, в которой изображалась беспросветная нужда городских низов, разоблачалось феодальное венгерское общество, его господствующие классы, сры-

вались маски с помещиков и попов и общественная несправедливость выступала во всей ее омерзительной наготе.

Поэма «Апостол» является обобщением всего творчества Петёфи, она возвышается в венгерской литературе как величественный памятник гуманизма, памятник борьбы венгерского народа за свое освобождение. В ней, несмотря на некоторую условную романтичность в изображении героев, с подлинным лиризмом воплотились те идеи и чувства, которые выразил Петёфи в ряде своих революционных стихотворений, в дневниках и политических статьях. В этой поэме воплотилась вся ненависть Петёфи к королям, его страстная приверженность к республике, любовь к человечеству, глубочайшая вера в народ и прогресс.

Герой поэмы, подкидыш Сильвестр, испытав все мытарства и превратности, на которые был обречен плебей в феодальном обществе, приходит к осознанию того, что он должен посвятить свою жизнь просвещению народа, борьбе за его освобождение. Он голодает, почти гибнет от нужды, но пишет книгу, «лучше которой не написал и Руссо». И за эту книгу, в которой он заклеймил общественное неравенство, тиранов и королей, его сажают в тюрьму. Десять мучительных лет проводит этот народный «апостол» в темнице. За это время семья его погибает. Выйдя из тюрьмы и узнав, что «нация еще не свободна», а народ еще больше угнетен, согбенный седой старик Сильвестр решается на убийство короля. Покушение не удается. Палачи хватают его и казнят. Идеалист и бунтарь-одиночка, Сильвестр кончает жизнь на виселице.

Несмотря на все тяжелые переживания Петёфи в пору создания этого произведения, революционный

оптимизм поэта остался непоколебимым. Герой поэмы терпит поражение, но его идеи и идеи других борцов за свободу продолжают жить в народе. Проходят годы и народ все-таки побеждает тиранию, с благодарностью вспоминая о тех людях, которые пали в борьбе за свободу.

Сильвестр принадлежал к тем людям, которые, по словам Герцена, вышли «сознательно на явную гибель, чтобы разбудить к новой жизни молодое поколение и очистить детей, рожденных в среде палачества и раболепия» ¹.

И хотя Сильвестр изображен идеалистом, революционером-одиночкой, однако он вырастает в символ свободолюбивых устремлений венгерского народа и тех людей, которые начертали на своем стяге: «Святой девиз — Свобода мировая».

В этот же период Петёфи создал целый ряд стихотворений и баллад, направленных против австрийского императора и королевской власти вообще. Он искал сюжеты из венгерской истории, изобличающие того или иного короля в вероломстве, бесчеловечности, жестокости. Так родились его баллады «Бан Банк», «Летопись Ласло Куна», «Король и палач» и другие. К этому же времени относится и страстный монолог в стихах «Австрия».

Грозным проклятием королям завершается это могучее стихотворение:

И будете вы нищенствовать, как из-за вас мы нищенствовали,

И только подаяния ни крошки не получите От тех, кого вы грабили, от тех, кого вы мучили, Все, все от вас отплюнутся

¹ А. И. Герцен. Собр. соч., т. X, Женева, 1879, стр. 244.

И будут с отвращением глядеть в другую сторону. И если вам назначено вот так погибнуть с голоду, Никто не похоронит вас — не пожелает пачкаться. На кучу вашей падали Лишь вороны накинутся, И станут вам могилою утробы этих воронов, И будет вашим саваном проклятие народное.

Проклиная короля, Петёфи проклинал и всю феодальную верхушку общества, всю аристократию, угнетавшую народ. «Республиканец и по исповеданию», как писал о себе Петёфи, призывая к свержению короля, он призывал к сокрушению феодального строя, к установлению республики.

Но при этом Петёфи до конца жизни разделял утопические воззрения революционных просветителей прошлого, их мечты о некой идеальной республике, основанной на принципах всеобщего равенства и свободы, как конечной цели народного восстания.

«Влияние идей домарксовских утопистов и социалистов-демократов, — писал Бела Кун в своем известном труде о Петёфи, — выражалось в поэзии Шандора Петёфи прежде всего в том, что он выступал не только против феодального угнетения. Петёфи ненавидел всякого рода угнетение, хотя в исторических законах смен форм угнетения он не умелеще так отчетливо разбираться, как его молодой современник кельнский редактор Маркс, с которым вместе, как «опаснейший бунтовщик» упоминается Петёфи в тайном донесении венской полиции.

Петёфи восставал не только против угнетения венгерского народа. И не только борьба за свободу Венгрии воодушевляла его, не только за нее он бился. Петёфи восставал не только против того угнетения, которое видел непосредственно перед

своими глазами, как это свойственно стихийным революционерам. Восставая против всякого рода угнетения, он готов был ринуться против него в бой, где бы оно не господствовало в мире.

Шандор Петёфи, который выражал в своей поэзии чаяния венгерского предпролетариата, стоявшего за гранью сословного общества, выражал его бунтарство и стихийную ненависть к угнетению, стал сознательным революционером-якобинцем. Его коснулся и тот ветер домарксовского утопического и демократического социализма, который дул уже против капитализма».

Это придавало необычайную широту и силу его призывам и делало его одним из крайних представителей венгерской революционной демократии его времени.

* * *

Все то, что Петёфи ставили в вину реакционеры — его современники и позднейшие литературные критики, в действительности было его достоинством. Петёфи мечтал объединить представителей народной поэзии, как писал он своему другу Яношу Араню в 1847 году, — «тех, кто не знает малодушия, кто отважно стремится к созданию молодой Венгрии, тех, кто уже не желает вечно латать сношенные лапти родины, а хочет с ног до головы нарядить ее в новую одежду».

Реакционеры постоянно упрекали Петёфи за «грубость» его поэзии, за отсутствие в ней «высокого парения».

Петёфи сознательно отказался от этого «парения», порвал с «высоким штилем» дворянского витийства и, опираясь на лучшие традиции венгерской литературы, создал реалистическую народную поэзию.

Петёфи открыл для венгерской поэзии совершенно новый мир. Он показал, что патриотизм — это не высокопарное шовинистическое воспевание героических подвигов дворянских предков, не надгроб ный плач над безвозвратным прошлым, которому приписывалось все прекрасное и величественное. Петёфи показал, что патриотизм — это прежде всего любовь к своему народу, истинному творцу жизни родины. Он показал, что родина — это не жизни родины. Он показал, что родина — это не беседки, ручейки и фонтаны в барских усадьбах, а необъятные просторы полей, на которых гнут спины миллионы крестьян. Он показал, что истинными героями Венгрии были не короли, не венгерские дворянчики, которые устраивали смехотворные рыцарские турниры; народные герои — это Дёрдь Дожа, вождь крестьянского восстания 1514 года, это Ференц Ракоци II, вождь национально-освободительной борьбы начала XVIII века, это вождь реголюционного заговора Игнан Мартиновии казареволюционного заговора Игнац Мартинович, казненный за свои республиканские идеи в 1795 году. Петёфи показал, что подлинным героем венгерской истории был народ.

Петёфи был подлинным национальным венгерским поэтом. Именно поэтому он первый внес в венгерскую поэзию тревогу за судьбу родного народа и братскую любовь к человеку труда, под каким бы небом он ни родился. Как истинный поэт народа, он не мог не знать, что судьба венгерских трудящихся тесно связана с судьбой всего трудового человечества и что только в общей борьбе народов Венгрия может отстоять свою национальную свободу. Но Петёфи знал и то, что ему, венгерскому поэту, надо прежде всего бороться за свободу и преобразование своей родины, что только таким путем может он принять участие в освободительной борьбе всех народов.

Петёфи отбросил застывшие и чуждые народу каноны дворянской литературы, ввел в поэзию жизнь венгерских трудящихся, пронизал изображение этой жизни политической страстью, активным отношением к миру. Для него жизнь и поэзия были нераздельны. Для него не существовало отдельно «публицистических» и отдельно «лирических» стихов. Все более или менее значительные события жизни Петёфи воплощал в стихах: в каждой строчке своих политических стихов он раскрывается во всей полноте своего существа, в лирических стихах всегда отчетливо звучат его политические, революционные убеждения. Его жизнь вернее всего познается по его стихам.

«Каждое его слово, все события его личной жизни были поэзией, — писал о нем его современник поэт Янош Вайда ¹. — Он как будто не создавал, а просто рассыпал стихи, и после того как он их рассыплет, совсем не казался усталым, а напротив, видно было, что он чувствует какое-то облегчение.»

И это понятно, потому что Петёфи, который никогда не принимал никаких поз, а просто и искренне рассказывал о своих чувствах и мыслях, не мог не ощущать облегчения, когда он делился ими с людьми.

Петёфи ратовал за искренность и ненавидел лицемерие. В своих «Путевых письмах» он писал: «При моем рождении судьба постлала мне искренность простынкой в колыбель, и я унесу ее саваном с собой в могилу. Лицемерие — нетрудное ремесло,

¹ Вайда Янош (1827—1897) — выдающийся венгерский поэтреспубликанец, активный участник революции 1848 года, автор пламенных революционных стихов. Он был одним из тех венгерских поэтов, которые не примирились с реакцией и после соглашения Венгрии с Австрией в 1867 году, когда в венгерской литературе воцарились успокоенность и удовлетворенность создавшимся положением.

всякий негодяй горазд в нем; но говорить откровенно, искренне, от всей души могут и смеют только благородные сердца. Может быть, мое суждение о себе неверно, тогда смейтесь надо мной, но я всетаки заслуживаю уважения, потому что вольно и неприкрыто высказывал то, что чувствовал».

Об искренности Петёфи хорошо сказал венгерский поэт Ади: «Он обращался со своими чувствами и мыслями, как с живой существующей реальностью, и если советовал повесить королей, то совершенно ясно, что он сам дернул бы ту веревку, на которой был бы повешен король».

Вот за это отсутствие грани между чувствами и стремлением немедленно воплотить их в действие больше всего ненавидела Петёфи вся реакционная критика, очень скоро осознавшая, что она имеет дело не только со стихотворцем, но и с борцом и революционером.

В ответ на все обвинения реакционной критики Петёфи гордо отвечал: «Я смело заявляю перед лицом своей совести, что не знаю ни одного человека, который бы чувствовал и мыслил честнее меня. Я всегда писал и пишу так, как чувствовал и думал. Если я в некоторых случаях и по некоторым поводам выражаюсь свободнее других, то делаю это потому, что считаю поэзию не аристократическим салоном, куда являются только напомаженными и в блестящих сапогах, а считаю, что поэзия — храм, в который можно войти в лаптях и даже босиком.

Наконец о том, что я неуравновешен. Это, к сожалению, правда, но это и не удивительно. Моя жизнь

¹ Петёфи намекает здесь на высказывание реакционного журнала «Хондерю», который намеревался «распространять литературу среди аристократов, в салонах, застланных коврами».

протекла на поле битвы, на поле боя страданий и страстей... Со времени средневековья человечество очень выросло, и все-таки до сих пор носит средневековые одежды, правда, кое-где залатанные и перелицованные, но оно все-таки желает переменить одежду: старая одежда, даже расставленная, ему узка, теснит человечеству грудь, и оно едва может дышать, а потому стыдно человечеству, что, будучи уже юношей, оно ходит в детском платье. Так прозябает человечество... Внешне оно спокойно, только бледней обычного, но тем больше волнуется внутри, как вулкан, близкий к извержению. Таков наш век. Могу ли я быть иным? Я — верный сын своего века?»

Петёфи ненавидел все, что тормозило прогресс, — следовательно, он ненавидел аристократов и немецких поработителей, которые обратили Венгрию в свою колонию.

«Если бы Петёфи не погиб в 1849 году, — писал о нем спустя полстолетия поэт Эндре Ади, — он наверняка бы попал в Париж, участвовал бы в заговоре против Наполеона III, написал бы много чудесных вещей, и пал бы, вероятно, во время Парижской Коммуны... Мы верим и провозглашаем, что Петёфи принадлежит нам, всем тем, кто в Венгрии жаждет перемен, обновления, революции и борется за них.»

Кто мог бы лучше воздать славу Шандору Петёфи!

4

Борьба реакционеров против Петёфи началась сразу же после выхода первой его книги стихов в; 1844 году и не прекращалась целое столетие.

«Глупость...тупость... издевательство над венгерским языком... кощунство...» — таковы самые мягкие выражения, которыми честили Петёфи его враги. Они сразу почуяли опасность его стихов и поняли в них то, что он точно сформулировал в одном своем письме: «Если народ будет господствовать в поэзии, он приблизиться и к господству в политике».

Реакция злобно пыталась поучать Петёфи и его приверженцев. «Именно партийность мешает поэту воплощать свои чувства в прекрасной гармонии. Партийность ослепляет, делает человека пристрастным, односторонним. Литература, зараженная духом партийности, не способна развиваться», — писал о Петёфи один из его врагов, как выяснилось впоследствии, агент императорской камарильи. Этот прохвост умалчивал, конечно, о том, что он вовсе не возражает против дворянской «партийности», что поэзия Петёфи неприемлема для господствующих классов именно благодаря ее революционно-демократическому духу.

Враги его революционной поэзии выбросили и другой, небезызвестный в истории литературы лозунг: «Петёфи плохой поэт», и те, кому это было на руку, с радостью приняли эти лживые мерзопакостные слова, обсасывали их и распространяли по свету. Но, к счастью, поэзия не является достоянием не-

Но, к счастью, поэзия не является достоянием нескольких десятков людей, и поэтому поэзия Петёфи прошла «через хребты веков, чрез головы поэтов и правительств».

* * *

После поражения венгерской революции 1848 года реакция старалась виселицами и расстрелами вернуть Венгрию в ее прежнее состояние. Вен-

герская аристократия открыто предала венгерский народ. Остальные прослойки господствующих классов, поломавшись немного, также пошли на соглашение с Австрией. Они удовлетворились брошенной им костью, а народ пусть живет, как знает. Венгрия стала полуколонией Австрии.

В то время как из лагеря палачей венгерского народа и соглашателей раздавалась брань по адресу Петёфи, народ Венгрии относился к нему с таким восторгом и преклонением, какого до него не знал ни один венгерский поэт.

Популярность Петёфи была столь велика, что после его гибели не считаться с его поэзией было

Популярность Петёфи была столь велика, что после его гибели не считаться с его поэзией было просто невозможно. И господа, предавшие венгерскую революцию и проводившие пресловутое «соглашение» с австрийским императором, поставили себе целью фальсифицировать его творчество.

«Угнетающие классы при жизни великих революционеров платили им постоянными преследованиями, встречали их учение самой дикой злобой, самой бешеной ненавистью, самым бесшабашным походом лжи и клеветы, — писал Владимир Ильич Ленин. — После их смерти делаются попытки превратить их в безвредные иконы, так сказать, канонизировать их, предоставить известную славу их имени для «утешения» угнетенных классов и для одурачения их, выхолащивая содержание революционного учения, притупляя его революционное острие, опошляя его 1.»

Чтобы «согласовать» творчество Петёфи с интересами господствующих классов, первым выступил в 60-х годах известный критик эпохи соглашения Пал Дюлаи. Он приступил к делу просто: разделил творчество поэта на две части. Одну принял, другую

¹ В. И. Ленин. Соч., изд. 4, т. 25, стр. 357.

попытался опорочить. «Его несправедливые, пристрастные, гневные стихи не стоят почти ничего», — провозгласил Дюлаи о революционных стихах Петёфи и пренебрежительно добавил: «Тщеславие его было безмерно». Этими словами решил он объяснить истинную причину, породившую революционные стихи Петёфи. О борьбе Петёфи и его товарищей за народную литературу он отозвался не менее презрительно: «Ценность этих споров с эстетической (курсив мой. — A. Γ .) точки зрения невелика».

И, наконец, Дюлаи выписал рецепт, по которому следует пользоваться поэзией Петёфи; его песни, жанровые стихи, любовные стихотворения прекрасны, но все остальное, — словом, те произведения, в которых проявились освободительные стремления венгерского народа, — «туманно и наивно». «Его душа была подвержена капризам, увлечениям, и в этом, а вовсе не в постоянстве его убеждений, следует искать причины его пламенного гнева», — приходит Дюлаи к своему «глубокому, психологическому» выводу. И надменно добавляет: «Пренебрегая его политическими стихами, я хочу говорить только о его лирических произведениях, которые составили главную силу его поэзии». Увы, Дюлаи, так много сделавший для развития национальной литературы, дал вместе с тем и рецепт, как извращать облик поэта-революционера.

Известный венгерский романист, Мор Йокаи, с которым Петёфи порвал отношения еще летом 1848 года, так как считал его предателем «Мартовской молодежи», зашел еще дальше Пала Дюлаи. Для фальсификации творчества Петёфи и оправдания своего недостойного поведения в эпоху Франца-Иосифа Йокаи во время открытия памятника Петёфи

в 80-х годах писал следующее: «...народная свобода, которую он искал, как драгоценный алмаз... сейчас уже достигнута... Петёфи может убедиться, что пророчески написанное им в стихотворении «На железной дороге»: «Все металла не хватало? Рушьте цепи! Их — немало! Вот и будет вам металл!» — уже осуществилось. Цепей больше нет! Он может убедиться в том, что уже есть свободная печать... может увидеть, что опять есть гонведы... И еще одно может он у в и д е т ь, — что есть уже король, любимый народом и любящий народ, и это король Венгрии».

В школах Венгрии времен Франца-Иосифа Петёфи изучали именно по этим указкам. Портреты Петёфи развешивались на всех стенах, а из его поэзии пытались вытравить все то, благодаря чему венгерский народ очень долго не мог примириться с его гибелью.

В защиту Петёфи выступил поэт Янош Вайда. Еще в 1860 году писал он в ответ Дюлаи: «Литература захлебнулась у нас в школярском педантизме... Смерть Петёфи — это, несомненно, величайшая утрата, какую только понесла венгерская литература, да и не только литература, но и революционная борьба». «Мартовская годовщина — это праздник Петёфи. В будущей жизни нашей прекраснейшей будет та эпоха, в которой он снова станет идеалом нашей молодежи», — заявил Вайда в 1895 году.

* * *

В последнее десятилетие XIX и первое десятилетие XX века в капиталистической Венгрии развивался и креп рабочий класс. Русская революция 1905 года пробудила сознание венгерского рабочего класса. По всей стране возникали рабочие стачки и

крестьянские волнения. Все яснее становилась неизбежность революционного преобразования Венгрии под руководством рабочего класса.

рии под руководством рабочего класса.

Революционер Петёфи снова встал в боевой строй свободолюбивого венгерского народа. По мере нарастания политической борьбы разгоралось сражение и в литературе. Реакционеры снова возобновили свои атаки против Петёфи. В 1910 году эстет, буржуазный поэт Михай Бабич решил произвести еще одну ревизию творчества Петёфи, которая также играла на руку господствующим классам Венгрии. «Описательные стихи Петёфи, — говорил он, достигают высочайшего уровня поэзии»; а страницей позже, как бы забыв об этом утверждении, нападая на гражданскую лирику Петёфи, Бабич писал: «Петёфи вообще небольшой художник. Впечатления отражаются в его поэзии в сыром виде, они меньше, чем это было бы возможно, переплавляются в горниле души. В языке его мало индивидуальной окраски». Так он посмел сказать о создателе современного венгерского литературного языка, но и этим он не удовлетворился и раскрыл все свои карты: «Петёфи демократичен и общедоступен... Мы все знаем, насколько ограниченным и мещанским было его мировоззрение. Столь же ограниченны и наивны были его эстетические взгляды».

Нападками на Петёфи Бабич решил убить двух зайцев разом. Он пытался нанести удар и по новой венгерской революционно-демократической литературе, которая поднималась вместе с ростом и созреванием рабочего класса Венгрии, и по выдающемуся революционному поэту XX века Эндре Ади. «Мы должны разбить иллюзии тех, — писал Бабич, кто усматривает в Петёфи предшественника современных революционных поэтов.»

В 1911 году Эндре Ади выступил с ответной статьей «Петёфи не примиряется». В этой превосходной статье, разоблачившей буржуазно-шовинистическую легенду о Петёфи, Ади с негодованием утверждал: «Мертвые и живые, прожорливые ничтожества, писавшие до сих пор о Петёфи, стыдитесь! По-настоящему вы его не любили никогда! Петёфи жил ради нашей эпохи, ради нашего поколения... Этот презираемый молодой человек — Шандор Петёфи, этот народный поэт... видел ясней и лучше всех... Мы постараемся защитить его и от его жалких друзей... Нам нужна не романтическая свобода, а та свобода, о которой мечтал Петёфи. Кто же здесь, кроме Петёфи, был подлинным революционером?» И в заключение Ади заявил во весь голос: «Венгерские господствующие классы обращались с Петёфи бессовестно... Они старались притянуть его к себе, исказить, использовать в своих мелких интересах... Но Петёфи не примирялся, Петёфи не примиряется, Петёфи принадлежит революции».

* * *

А революция приближалась, надвигалась с неотвратимой силой, и тщетны были все старания потопить вековое отчаяние венгерского народа и его стремления к лучшему будущему в море крови первой мировой войны. Уже в 1917 году началось на фронтах братание с русскими солдатами, а осенью 1918 года прокатилась волна восстаний по частям венгерской армии. Народные массы овладели улицами Будапешта. Но вдруг все как будто остановилось. В Венгрии не было революционной партии, правые социал-демократы с первых же дней революции играли на руку буржуазии, а все устремления

революционных социалистов и левых социал-демократов не могли увенчаться успехом, ибо они сами не пришли еще к сознанию ленинской идеи о необходимости партии нового типа.

обходимости партии нового типа.
И когда в октябре 1918 года смертельно больному Ади сказала его знакомая Илма Лукач, что в Венгрии произошла буржуазно-демократическая революция, что он может торжествовать, потому что победили его идеи, Ади, по свидетельству самой Лукач, махнув рукой, ответил: «Нет, это не то, что я ожидал. Придет еще другая революция. Приедет из России Бела Кун со своими товарищами. Настоящее красное солнце взошло над Россией. Свет его дойдет и сюда». И действительно в ноябре того же года под руководством Белы Куна была создана Коммунистическая партия Венгрии, в которую сразу же вошла часть левых социал-демократов и революционные социалисты. В 1919 году, когда провозгласили в Венгрии советскую власть, казалось уже, что венгерский народ воздвигнет под руководством рабочего класса новую Венгрию, в которой идеи Петёфи, обогащенные идеями пролетариата, восторжествуют на новой политической и экономической основе. Но правые социал-демократы, сомкнувшиеся с международной реакцией, потопили в крови Венгерскую Советскую Республику. Революционная Венгрия 1919 года потерпела поражение — тем самым был нанесен удар и Петёфи.

1 января 1923 года Хорти из замка Буды отметил сто одним выстрелом столетие со дня рождения великого поэта, а 2 января уже арестовали того актера, который читал в день годовщины его революционные стихи.

Буржуазные историки литературы придумали еще один способ опорочить революционера Петёфи.

Литературовед Янош Хорват, автор ряда ценных трудов, выдвинул «теорию», которая с его легкой руки приобрела даже известную популярность в определенных кругах Венгрии, будто бы Петёфи, горячо стремившийся стать актером, всю жизнь играл, и его уменье перевоплощаться в стихах то в чабана, то в бетяра, то в актера и (самое главное) в революционера, исходило из одной и той же душевной потребности играть, выступать, красоваться перед публикой. Из всех «теорий» эта «психологическая теория», была конечно, наиболее хитрой. Благодаря ей фальсифицируется, низводится до уровня клоунады вся литературная и, прежде всего, политическая деятельность Петёфи.

В 1945 году Советская Армия освободила Венгрию от фашизма. С тех пор, сметая со своего пути врагов демократии, стремительно воздвигается новая, социалистическая Венгрия. Борьба между старым и новым яростно развернулась в литературе и искусстве. Враги народного реалистического искусства, сторонники различных гнилых течений, процветающих в западных империалистических странах, тысячами путей, открыто и в завуалированной форме, старались помешать развитию новой, демократической культуры. Они пытались, таким образом, еще раз восстать и против великих традиций Петёфи.

Петёфи был поэтом, агитатором, народным трибуном, он с гордо поднятой головой отвечал жалким эстетам своего времени:

И я бы мог стихотворенье, Позолотив, посеребрив, Рядить в цветное оперенье Красивых слов и звонких рифм. Нет! Стих мой не субтильный франтик, И вовсе не стремится он: Душист, кудряв, в перчатках бальных, Ища забав, вбежать в салон.

.

И я участвую в сраженье, Я командир, а мой отряд — Мои стихи: в них что ни рифма И что ни слово, то — солдат!

Эти строки написаны тем поэтом, лучше, прекраснее которого еще никто не творил на венгерском языке, тем поэтом, стихи которого зовут людей на борьбу.

В Венгрии поэзия стала достоянием широких трудящихся масс, насущным хлебом народа. Петёфи одержал победу — и теперь уже навсегда.

АНТАЛ ГИДАШ

(1950 c.)

СТИХОТВОРЕНИЯ 1842—1847

на родине

Степная даль в пшенице золотой, Где марево колдует в летний зной Игрой туманных, призрачных картин! Вглядись в меня! Узнала? Я — твой сын!

Когда-то из-под этих тополей Смотрел я на летевших журавлей. В полете строясь римской цифрой пять, Они на юг летели зимовать.

В то утро покидал я отчий дом, Слова прощанья лепеча с трудом, И вихрь унес с обрывками речей Благословенье матери моей.

Рождались годы, время шло вперед, И так же умирал за годом год. В телеге переменчивых удач Я целый свет успел объехать вскачь.

Крутая школа жизни — божий свет, Он потом пролитым моим согрет. Я исходил его, и путь тернист И, как в пустыне, гол и каменист.

Я это знаю, как никто другой. Как смерть, недаром горек опыт мой. Полынной мутью из его ковша Давным-давно пропитана душа. Но все печали, всякая напасть, Вся боль тех лет теперь должны пропасть. Сюда приехал я, чтоб без следа Их смыть слезами счастья навсегда.

О, где еще земля так хороша? Здесь мать кормила грудью малыша. И только на родимой стороне Смеется, словно сыну, солнце мне.

Дунавече, 1842

ЧТО ОТ ЭТОГО БЫВАЕТ?

Что от этого бывает, Если землю плуг взрыхляет, Но не сеют ни зерна? Лебеда взойдет одна!

На меня ты не гляди — Сердце из моей груди Выворачиваешь ты, Как лемех — земли пласты!

Только нечего трудиться — Ведь одна печаль родится! А возьми посей любовь — Выйдет роза без шипов!

Папа, 1842

НА ДУНАЕ

Река! Как часто вод широких гладь Судам, ветрам случалось рассекать.

И как глубоко ранена вода! Так страсть не ранит сердце никогда.

Однако судно или вихрь пройдет, — И вновь, как встарь, гладка поверхность вод,

А если сердце треснет пополам, То не поможет никакой бальзам.

Комаром, 1842

БРОДЯТ ЛЮДИ ПО ЗЕЛЕНОЙ ЧАЩЕ...

Бродят люди по зеленой чаще, Смотрят люди на закат горящий. Кинул розы луч его последний На деревья и на холм соседний.

Для людей все это вздор, пустое — Зелень, розы, небо золотое. Двух голубок диких воркованье — Вот их радость, вот очарованье.

Я хожу, брожу в зеленой чаще. Радует меня закат блестящий, Красный луч и розы золотые, Зеленью ветвей перевитые.

Только б голубки не ворковали, — В том источник всей моей печали. Посмотрю на их союз счастливый — И кляну свой жребий сиротливый.

Мезёберень, 1842

ХОРТОБАДЬСКАЯ ШИНКАРКА

Хортобадьская шинкарка, ангел мой, Ставь бутылку, выпей, душенька, со мной! Я из Дебрецена в Хортобадь пришел, Путь из Дебрецена в Хортобадь тяжел.

В поле холод лютый, вьюга, темнота, Я замучен, в теле дрожь и ломота. На меня взгляни, шинкарка, мой левкой, Синих глаз теплом согрей и успокой.

Где, скажи мне, родилось твое вино? Кисло, как лесные яблочки, оно. Поцелуй меня, твои уста — как мед. Поцелуй твой сладость в губы мне вольет.

Губы сладкие... красавица... вино... Я подняться не могу, в глазах темно... Обними меня, душистый мой цветок, Поддержи меня, чтоб я под стол не лег.

У тебя нежней, чем пух лебяжий, грудь. Разреши на ней немного отдохнуть, — Не пришлось бы мне на твердом спать в пути. Далеко мой дом, к утру мне не дойти.

Хортобадь, 1842

ЗДРАВИЦА

Миллион проклятий! Лейте в чашу Пламенное, хмельное вино! В жертву молчаливому забвенью Все печали предает оно.

Лейте в чашу хмель кипучий, братья, Ставьте вина в ряд передо мной, И, клянусь, песок запьет в пустыне, Если он увидит мой запой!

Голова горит уже весельем, Сердце сладострастия полно. Набегай, туман веселый хмеля! Мать веселья, закипай, вино!

Ха, бездонной сказочною бочкой Стал кувшин мой! Лей, чтоб пил он всласть! Не могу я видеть, как зевает Мне в лицо его сухая пасть!

Лей вино — и возглашать я буду: Здравствуй ты, мой верный друг и брат, Протянувший преданно мне руку В грозный час, когда гудел набат!

Здравствуй, жизнь, и здравствуй, мир прекрасный! Настоящий здравствуй, человек!

настоящии здравствуи, человек! Истина, защитный плащ гонимых, Пью до дна: да здравствуешь вовек!

Сердца вождь, да здравствует надежда, Светлая волшебница моя! Все и вся да здравствует вовеки, Но пускай, пускай погибну я!

Папа, 1842

ПЕРВАЯ РОЛЬ

Я стал актером. Выступал Я в первой роли. И мне впервые довелось Смеяться вволю.

Да, хохотал на сцене я, — Уж так ведется! — Я знал, что в жизни плакать мне Не раз придется!..

Секешфехервар, 1842

НА ПИРШЕСТВЕ ПО СЛУЧАЮ УБОЯ СВИНЬИ

Уши и р ты . . . Тишина. Слушайте! Провозглашаю глагол: Кушайте!

Пусть и на небесах Слушают, Как на земле свинью Кушают!

Пусть будет наша жизнь Мирная Длинной, как колбаса Жирная.

Глянь на нас, рок, так Сладостно, Как мы глядим на гуляш Радостно!

Пусть потечет с высот Мир на нас, Как в эту кашу вот Жир сейчас!

Если же явится Смерть Дерзкая Праздновать тризну свою Мерзкую —

Тесно набъемся мы В мир иной, Словно в кишку колбасы Жир свиной!

Секешфехервар, 1842

В ПАВЛОВ ДЕНЬ

Да, зима, и холод, холод Жжет огнем. Как бушует непогода За окном!

Пусть бушует — у нее ведь Нет забот. Если ей реветь охота — Пусть ревет!

Ничего, что там сугробы Намело: Не боимся мы мороза — Злесь тепло!

Вот дрова трещат в камине И горят. Где вино, там нет печали, Говорят.

Уст прекрасных поцелуи — Как в и но . . . И в сердцах живое пламя Зажжено . . .

Вьюги, вейте хороводы Вкруг жилья! Наплевать на непогоду Нам, друзья!

Кечкемет, 1843

ВОЛЧЬЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

«Эй, друг, ты жрал — в крови клыки и пасть, А нам судьба от голода пропасть.

Вихрь табуном воздушных жеребцов Над пуштой мчится. Мрак зимы суров.

Здесь не видать ни одного следа. Так где же пировал ты и когда?»

Так волки волку ночью говорят, Когда приходит в стаю он назад.

А волка голод больше не томит, И он волкам любезно говорит:

«Есть в снежной пуште хижина одна, Пастух живет в ней и его жена.

А сзади хижины там стойло есть, В нем блеют о в ц ы . . . много их, не счесть.

Бродили ночью около жилья Один какой-то господин и я.

Овечку я хотел схватить одну, Он — пастуха высматривал жену.

Вот так овцы и не отведал я, Н о . . . съел того, кто бродит вкруг жилья.

Кечкемет, 1843

КРИК ПЕТУШИЙ...

Крик петуший пробуждает зори. Ну, а мне-то с девушками горе: Все молчу, но только рот раскрою, Вспыхивают лица их зарею.

А ведь этак слух пойдет в народе, Что и сам петух я по природе. Эх, петух, все ходит по соседкам, Строит куры, плут, чужим наседкам!

Не петух я — соловей по нраву, Я люблю свой дом, свою дубраву,

И свою жену, и блага эти Не отдам я ни за что на свете.

Кечкемет, 1843

УКРАДЕННЫЙ КОНЬ

Как пылинка в ветра Быстрине — Парень мчит на быстром Скакуне...

«Мчишь, земляк, откуда, Молви мне?» «Еду я со степи На коне.

Был табун один там, Ржал, играл. Жеребца гнедого Я украл.

Недалек и Турский Уж базар, И верхом приеду Я — бетяр.»

«Эй, земляк, не дело Молодца — Моего верни-ка Жеребца.

Тот табун ведь мой был, — Среди дня

У меня украли Вы коня.»

До бетяра речи Не дошли, Его милость где-то Уж вдали.

В утешенье все же, — В пыль одет, — Слету обернувшись, Так в ответ:

«Без угроз, хозяин, — Верьте мне, Ведь у вас довольно Есть коней.

Я владел лишь сердцем День и ночь — Да и то украла Ваша дочь!»

Кечкемет, 1843

ВОДА И ВИНО

Привлекает водолаза Моря глубина, Не вернется без жемчужин Он с морского дна. А мое вместилось море В тот кувшин с вином, И родится жемчуг песен Только в нем одном.

Ночь греха томила землю, И потоп настал — Ночь греха с земли бесследно Смыл могучий вал. Мучит сердце ночь печали, Пусть же мрак ночной Несмываемою влагой Смоет вал хмельной!

В летний зной, страдая, никнет Полевой цветок. Вновь ему приносит бодрость Дождевой поток. Я поник, но винный ливень Зашумел — и вновь От его прохладных капель Закипела кровь!

Ханжество или привычка, Я не знаю сам — Но таков обычай: слезы Лить по мертвецам. Это скучно. Но уж если Так заведено, Пусть на прах мой, словно слезы, Потечет вино!

Кечкемет, 1843

КЛИН КЛИНОМ...

Ох, спина болит и ноет. Ох, болит! Я вчера в саду соседнем Был избит. Набалдашником тяжелым, Что есть сил, Наш сосед меня за груши Колотил.

Но зачем же на деревьях Каждый год Поспевает этот сочный, Сладкий плод? Я считал: его недаром Создал бог, И от груши отказаться Я не мог.

Сам не помню, как сорвался Я с плетня. Печень с почками столкнулась У меня. А сосед меня сграбастал И опять. Начал пыль своею тростью Выбивать.

«Вот тебе, — сказал он, — груша. Получай! Вот тебе вторая, третья, Шалопай!» Столько груш я на деревьях Не видал,

Сколько он своею тростью Насчитал

Это видел только с неба Лунный луч. Но луна накрылась шалью Черных туч. Видя все, что я в тот вечер Перенес, Пролила она немало Крупных слез.

Он с ума сошел от злости, Мой злодей. С каждым разом бил он тростью Все сильней. Он смычком своим работал, Как скрипач. Только скрипка издавала Громкий плач.

Отомщу же я соседу — Скрипачу. За побои я с лихвою Заплачу. Не топите вы осиной Вашу печь — Может искрами полено Вас обжечь.

Я заметил, что частенько Вечерком Вы приходите под окна К нам тайком. У меня в глазу заноза

Вам видна, — У себя же вам не видно И бревна!

Запрещаете вы грушу Мне сорвать, — Сами ж ходите под окна Воровать. Мне вы грозно говорите: «Не воруй!» — А у тети вы крадете Поцелуй.

Пусть за библией зевает Наша мать, Буду в оба я за вами Наблюдать. И при первом поцелуе В час ночной Вас водою окачу я Ледяной!

Пуста-Палота, 1843

МОЯ НЕВЕСТА

Ожидаю в нетерпенье: Скоро ль, скоро ль, боже мой Сядет на мои колени Та, кто мне дана судьбой?

Кто же это, кто такая Нареченная моя, —

8 — I. 113

Вот о чем хочу узнать я, Вот о чем гадаю я!

Белокура, чернокудра, Худощава иль полна, Черноглаза, синеока — Как-то выглядит она?

Синие глаза? Прекрасно! Черны очи? Соглашусь! Ну, а если с обаяньем Доброта войдет в союз...

Вот такую дай мне, боже! И неважно — будь она Бледнолица иль румяна, Белокура иль черна!

Пожонь, 1843

ИЗДАЛЁКА

Скромный домик, домик у Дуная... Я о нем мечтаю, вспоминаю, Что ни ночь, мне домик этот снится, — И в слезах, в слезах мои ресницы!

Там и жить бы до скончанья века, Но мечты уносят человека, Будто крылья сокола, высоко... Домик мой и мать моя — далеко!

Матушку целуя на прощанье, Я зажег в груди у ней страданье. Не могла залить мучений пламя Ледяными росами — слезами.

Если б сил у матушки хватило, Так она меня б не отпустила, Да и сам бы я решил остаться, Если б мог в грядущем разобраться.

Манит жизнь в лучах звезды рассветной, Будто сад волшебный, сад заветный. И поймешь уже гораздо позже — Жизнь на дебри дикие похожа!

Озарен я был надежды светом... Да уж что там толковать об этом, — Странствуя по жизненной дороге, О шипы я окровавил ноги.

Вы, друзья, на родину спешите. Матушку мою вы навестите! Не пройдите мимо, повидайте, От меня поклон ей передайте.

Ей скажите: пусть она не плачет, Сыну, мол, сопутствует удача... ...Знала б, как мои страданья тяжки, Сердце бы разбилось у бедняжки.

Пожонь, 1843

8* 115

АДСКИЙ ПЛАМЕНЬ, ЧЁРТ РОГАТЫЙ...

Адский пламень, чёрт рогатый! Сердце яростью богато. И мечусь, бушую люто, Сам я Балатон как будто.

Вся-то жизнь моя — превратность! Что ни час — то неприятность! Если б мне девичьи очи, Прослезил бы все платочки!

Но за слезы мне не платят! Пусть кто хочет, тот и плачет. Я ж загну словцо такое, Что и гнев им успокою.

Пожонь, 1843

ХЛЕБ СОЗРЕЛ НА НИВЕ...

Хлеб созрел на ниве Летнею порою. Утром в понедельник Жать начну с зарею...

И в горячем сердце Страсть моя созрела... Жницей будь, родная: Жатва подоспела.

Пешт, 1843

РАЗ НА КУХНЮ ЗАЛЕТЕЛ Я...

Раз на кухню залетел я, Трубку прикурить хотел я. Прикурить-то не случилось: Трубка, чёрт! уже курилась.

Да и в ней ли, скажем смело, Разве в трубке было дело? Дело было в той девчонке, Что трудилась у заслонки.

Жар мешала, раздувала, Вся румянцем расцветала, А глаза-то — словно свечи, Обжигали жарче печи.

Я вошел, она взглянула, Душу мне перевернула. В трубке жар погас недаром: Сердце вспыхнуло пожаром.

Пешт, 1843

ЭХ, НИЧТО МНЕ УТЕШЕНЬЯ НЕ ДАЕТ...

Эх, ничто мне утешенья не дает! Выпить разве, чтобы сбросить с сердца гнет? К чёрту трезвость! Наливайте мне, друзья, Пусть погибнем — либо горе, либо я.

Этот мир такая гадость, что хоть брось. Много в жизни отстрадать мне довелось, —

Слишком много за такой короткий срок! В стольких бедах кто веселым быть бы мог?

Я не дерево, расцветшее весной, Я лишь ветка, что сломилась под грозой. Я не радуюсь, как роза майским днем — Горько плачу, словно ива над ручьем.

Что мне в жизни? Эх, да разве жизнь она, Коль надежда человеку не дана! Пусть я лучше в винной чаше смерть найду, Позабуду и печали и нужду.

Пешт, 1843

КРУГОВАЯ ПЕСНЯ

Грустен тот, кто весел не вполне, А веселье — где оно? В вине! Вот в корчму мы и заходим по пути, И доходим этак пинт до двадцати!

И у нас, конечно, есть свой дом, Но ютимся все-таки не в нем, А ютимся ночью мы и днем Здесь, в корчме... Сидим себе и пьем!

Здесь ютимся, потому что там Женушка ступает по пятам. Ведь известно — нрав у ней какой, Ну, а людям надобен покой!

Небольшой, но есть у нас доход, Мы деньгам не очень любим счет — Копит деньги иль не копит человек, А живет он лишь коротенький свой век.

И покуда не подвяжут челюсть нам, Выпиваем мы и днем, и по ночам, И при солнечном сиянье, и во тьме, — Выпиваем понемножечку в корчме.

Пешт, 1843

МЕЧТА

Знаешь, милый друг Петёфи, Я нисколько не боюсь, Что тебе отдавит плечи Счастья непосильный груз!

Подарило тебе счастье Эту лирочку одну, Чтоб выманивал ты песни, Щекоча ее струну.

Если б из страны волшебной Голос феи прозвучал: «Ну, сынок, так что ж ты хочешь? Чем бы ты владеть желал?

Я сегодня буду щедрой... Слышишь? Песни и мечты — Все, что хочешь, станет явью, Если пожелаешь ты. Хочешь славы? Станут песни Чащей лавровых ветвей, Так, что и венец Петрарки Не затмит твоих кудрей!

Ведь Петрарка и Петёфи Сделались почти роднёй, Уж они сумеют лавры Поделить между собой!

А богатства пожелаешь — Превратим любой твой стих В жемчуга для украшенья Шпор и пуговиц твоих!»

Ну? О чем она тоскует И болит, душа твоя? Друг! Откуда дует ветер — Ты не скроешь! Вижу я!

Ты б сказал: «Прелестен жемчуг, Слава тоже хороша, Но, признаюсь откровенно, — Не к тому лежит душа.

Если, фея, ты желаешь Мне доподлинных удач — Дай мне то, чем не владеют Ни мудрец и ни богач.

Словно две звезды в созвездье, С милой девушкою той В бесконечность мчаться вместе — Вот о чем горю мечтой! Дайте прутик, на который Я б поймал, как птицелов, Эту птичку, это сердце, Этой девушки любовь!»

Геделле, 1843

ЛЮБОВЬ

Ах, любовь... любовь упряма, Глубока, темна, как яма. С той поры как я влюбился, Я как в яму провалился...

Я с отцовым стадом вышел, — Колокольчиков не слышал; Полжнивья оно объело, — Не мое как будто дело.

Мне еды в котомку много Положила мать в дорогу; Та котомка не найдется, — Попоститься мне придется.

Мать с отцом — меня простите, Не ругайте, не корите: Сам не знаю, что со мною, — То любовь всему виною.

Секейхид, 1843

МАТИЛЬДЕ

Отчего при встречах ты чужда? Отчего ты холодна всегда, Холодна, как солнца зимний свет? — Он сверкает, а тепла в нем нет.

Многое сказать тебе хочу, Но не смею и всегда молчу, Сколько б ни глядел, не нагляжусь, Но и глянуть на тебя боюсь.

Душу верную мою прими, До себя, родная, подыми, А любви достоин я уж тем, Что любить умею сердцем всем.

О любовь! Твой свет горяч и жгуч! Жарче он, чем солнца летний луч. Если б солнца луч так жарко грел, То давно бы этот мир сгорел.

Дебрецен, 1843

НАДОЕВШЕЕ РАБСТВО

Всё, что мог, я делал, Втайне мысль храня, Что она полюбит, Наконец, меня.

Удержу не знал я, — Так, спалив амбар,

Рвется вдаль по крышам Городской пожар.

А теперь я слабым Огоньком костра Пред шатром пастушьим Тлею до утра.

Был я водопадом, Рушился со скал. Мой обвал окрестность Гулом оглашал.

А теперь я мирно От цветка к цветку И от кочки к кочке Ручейком теку.

Был я горной высью, Выступом скалы, Где в соседстве молний Жили лишь орлы.

Рощей стал теперь я, Где в тени ветвей, Исходя тоскою, Свищет соловей.

Чем я только не был, Чем не стал потом! Девушке, однако, Это нипочем.

Нет, довольно! Брошу! Дорога цена. Этих жертв не стоит, Может быть, она.

О любовь, напрасно Цепи мне куешь! Пусть и золотые — Это цепи все ж.

Я взлечу на крыльях, Цепи сброшу ниц, Так к себе свобода Манит без границ!

Дебрецен, 1843

СКОЛЬЗКИЙ СНЕГ

Скользкий снег хрустит, сани вдаль бегут, А в санях к венцу милую везут. А идет к венцу не добром она, Волею чужой замуж отдана.

Если б я сейчас превратился в снег, Я бы удержал этих санок бег, — Я бы их в сугроб вывернул тотчас, Обнял бы ее я в последний раз.

Обнял бы ее и к груди прижал, Этот нежный рот вновь поцеловал, — Чтоб любовь ее растопила снег, Чтоб растаял я и пропал навек.

Дебрецен, 1843

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ

Я твой и телом и душой, Страна родная. Кого любить, как не тебя! Люблю тебя я!

Моя душа — высокий храм! Но даже душу Тебе, отчизна, я отдам И храм разрушу.

Пусть из руин моей груди Летит моленье: «Дай, боже, родине моей Благословенье!»

Не буду громко повторять Молитвы эти, — Что ты дороже мне всего На белом свете.

Вслед за тобой я — тайный друг — Иду не тенью: Иду всегда — и в ясный день, И в черный день я!

Он меркнет, день; все гуще тень И мгла ночная. И по тебе растет печаль, Страна родная.

Иду к приверженцам твоим... Там, за бокалом, Мы молимся, чтоб вновь заря Твоя сверкала.

Я пью вино. Горчит оно, Но пью до дна я, — Мои в нем слезы о тебе, Страна родная!

Дебрецен, 1844

ПЕСНЯ

Не спит дитя, кричит, кричит дитя В ночную тьму, И нянька, чтоб ребенок задремал, Поет ему.

Кричит во мне, по-детски плачет боль, Меня гнетет. Я песни ей слагаю и пою, — Пускай уснет.

Дебрецен, 1844

ДВОРЯНИН

Его привязывают к лавке, Спина до плеч заголена. Он вор, грабитель — слов достойных Не сыщешь, что за сатана!

А он артачится, и — в голос: «Плетями? За какой провин?

Не прикасаться к благородным! Я дворянин! Я дворянин!»

Слыхали, как он льет помои На вас, отцы его отца? Да ведь за это высечь мало! — На виселицу молодца!

Дебрецен, 1844

РАЗМЫШЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА, СТРАДАЮЩЕГО ОТ ЖАЖДЫ

В голове раскаты грома! Все в кабак я снес из дома. Ну и пусть — И без этого напьюсь!

Рот мой сух, как дно колодца, Где вода не остается. Он — в огне, И спасенье лишь в вине.

Вот бы хлынул вдруг из тучи Винный дождь! Чего бы лучше! До чего ж Винный дождичек хорош!

Виноградником владел я — Надоело это дело: Весь доход Вылил в глотку через рот. А меня корчмарша знает И давно не уважает — Все стыдит: Мол, закрыт тебе кредит!

Полно! Вот что вам скажу я: Я не беден. Заложу я, Наконец, Женушки моей чепец!

Но ведь женушка в могиле! Вместе с ней похоронили Чепчик тот! Он давно в гробу гниет!

О, зачем же, дорогая, О тебе я вспоминаю? Вспомню я— Слезы льются в три ручья!

Боже праведный! Нельзя ли Сделать так, чтоб слезы стали Вдруг вином? Я б утешился на том!

Дебрецен, 1844

КОТОРЫЙ СТАКАН?

Да неужто это пятый Был стакан? Ты сегодня рановато, Братец, пьян.

Вдвое больше ты стаканов выпивал, А не помнится, чтоб пьяным ты бывал.

И язык во рту с похмелья Уж не тот. Фермопильское ущелье, А не рот! Что-то стал я выражаться мудрено. Виновато в этом, братцы, не вино.

Выпить бочку я сумею Всю до дна — И, ей-богу, не пьянею От вина. Я служил в полку когда-то, да, в полку. И носил палаш солдата на боку.

Тесноват мундир казенный, Но блестящ, — Отвороты, кант зеленый, Сверху плащ. Был солдатом я завзятым, боевым. Вот те крест, я был солдатом рядовым.

В первый год мне ранец новый Был тяжел. Но до чина рядового Я дошел. И по той простой причине снял мундир, Чтоб меня не снизил в чине командир.

Где нельзя найти виновных, Там солдат По уставу безусловно Виноват.

9 — I. 129

И поплатится тем паче рядовой, Если он рожден с горячей головой.

Ваш совет прощать обиду — Не приму. Мне псалмы царя Давида Ни к чему. Брать меня за кончик носа я не дам. Знает каждый, что он косит, — знает сам...

Впрочем, много я болтаю Во хмелю. Словно мельница пустая, Я мелю. Но без влаги не вертятся жернова... Дайте мне стаканчик, братцы, или два, —

Чтоб лилось струей веселой В рот вино И тоску перемололо, Как зерно. Целый час болтал я с в а м и . . . А про что? Про колеса с жерновами? Нет не т о . . .

Перепутала дремота Все слова, И кружится отчего-то Голова. Надо встать, а встать нет мочи. Время спать. Ну, друзья, спокойной ночи... Марш в кровать!

Дебрецен, 1844

ПРОСТИТ МНЕ БОГ

Простит мне бог вину такую: Любил одну, теперь — другую. Ведь ты сама мне изменила... Любовь? Обманом это было.

С книгами я не сдружился, И грамоте не научился, Но я в твоих глазах читаю: Живешь ты, радости не зная.

Грустишь? Быть может, жалко стало, Что так меня ты обижала. Жалеешь? Нечего томиться: Что было, то не возвратится.

А я — с другой. Я счастлив снова. Найди и ты себе другого И счастливо живи с ним тоже... А ты благослови их, боже!

Дебрецен, 1844

В КОНЦЕ ЗИМЫ

Наверно, рады вы весне веселой? Не нынче завтра к нам она придет, И средь лугов благоуханных пчелы На штурм цветов отправятся в поход.

Им нужен мед, и долго будет длиться У пчел с бутонами шумливый бой, В прохладных рощах звонко будут птицы Встречать нас музыкою боевой.

Признаться, я почти не замечаю Ни пчел, ни птиц, ни зелени ветвей, И все же я, подобно вам, мечтаю, Чтобы зима умчалась поскорей.

Весну я жду лишь оттого, что станет Немного солнечней, теплей у нас, И у холодной печки в старой рвани Мне не придется мерзнуть, как сейчас.

Дебреиен, 1844

НУ, НЕ ЗНАЮ, ЧТО МНЕ НЫНЧЕ ДЕЛАТЬ?

Ну, не знаю, что мне нынче делать? Что за жажда мною овладела! Выпил бы вино во всей стране я И еще возжаждал бы сильнее.

Чудо сотвори, господь, такое: Сделай Тису винною рекою, — Я в Дунай тогда бы превратился, Чтоб влилась в меня вся эта Тиса!

Токай. 1844

ГОЛОСА ЭГЕРА

Снег вокруг, а в небе — тучи. Что ж! Естественно весьма. Нечему и удивляться — Ведь зима и есть зима! Я бы и не знал, пожалуй, Что мороз, Если б выглянуть в окошко Не пришлось.

Вот сижу, веду с друзьями Задушевный разговор, По стаканам разливая Дар прекрасный эгрских гор. Добрый друг, вино прекрасно! Дай стакан, Чтоб в груди плясал веселья Великан!

Если б сеял я веселье, Словно зерна, на мороз, — Увенчал бы эту зиму Целый лес цветущих роз. Если бы закинул в небо Сердце я, — Им согрелась бы, как солнцем, Вся земля!

Вот гора видна отсюда Та, где Добо, наш герой, Начертал турецкой кровью В книге славы подвиг свой. Вновь пока такой родится Человек, Много утечет водицы Наших рек.

Где весны мадьярской слава? Отцвела давно она. И в бездействии трусливом Прозябает вся страна. Ты, весна, найдешь ли снова К нам пути? Суждено ль земле пустынной Расцвести?

Эх, друзья, оставим это! Так я редко веселюсь! На один хотя бы вечер Я с печалью развяжусь. Если жалобами мира Не пронять — Что тут можно, кроме песен, Предпринять.

Прочь вы, горести отчизны! Хоть сегодня скройтесь с глаз. Скорбь! Вином кипучим этим Смоем мы тебя сейчас. Мы, друзья, за чашей чашу Будем пить, Чтобы выпить и тотчас же Повторить.

Так!.. Но что я замечаю? Опоражниваю я Не стаканы, а столетья — В будущем душа моя. На пороге беспечальной Эры той, Где и Венгрия не будет Сиротой!

Эгер, 1844

СЛАБОСТЬ И В ДУШЕ МОЕЙ...

Слабость и в душе моей, И в теле... Я хочу прилечь на той Постели. Уложи скорей меня, Родная: Так хочу и отдыха И сна я!..

Господи! Но что в моей Постели? Жестко, дует холодом Метели. Не рука моей родной И милой — Смерть холодная Ее стелила...

Пешт, 1844

БРОДЯЖЬЯ ЖИЗНЬ

(К рисинку Барабаша)

Клеофан Святой! Караван Какой! Голые детишки... Что все это значит? Э! Румынские цыгане, не иначе!

Важная процессия! Сперва Едет патриарх, семьи глава, На коне уселся он верхом. Эту клячу кое-как, с трудом, Тянет за узду детина ражий. Добрым конь когда-то был и даже Зубы все имел до одного, Но теперь дрянь дело у него, Отощал он, вечно голодая. Что поделать? Право, я не знаю, Как ему набраться силы вновь, Если вовсе нет во рту зубов.

И везет он — что скверней всего — Не седого старца одного: Два подсумка по бокам висят, А из них младенцы голосят, Хнычут, песню страшную поют, — И понятно: невелик уют Так все время на весу трястись! А пешком-то лучше ли плестись? Бог лишь знает, до каких бы пор Продолжался их зловещий хор, Но старик пинает их ногой, Чтоб замолкли тот или другой.

А за старцем муж и молодица, А за молодицею девица По дороге медленно шагают, Кто табак жует, кто дым пускает. Ну дымище! Щиплет он и жжет, Будто с перцем табачище тот!

Позади, визжащий, как бесенок, Краденый привязан поросенок, Справиться с которым трудновато: Чувствует, что жизнь идет к закату. И сопротивляется он храбро — Не боится даже ручки швабры, С помощью которой мать семейства Хочет обуздать его злодейство!

Так вот век им целый и скитаться! Ничего на свете не боятся, Только ветра! Он их устрашает, Шапки перед ним они ломают. И не зря! Стихия эта злая Не дает пощады, настигая, И такие учиняет штуки, Что дрожат и ноги тут и руки; Вот она какие шепчет вещи, — Как осина человек трепещет.

Но умчался злой хозяин ветер — И печаль ушла бесследно, Снова веселы цыгане эти, В зад пинают все земные беды!

Пешт, 1844

НЕУДАВШИЙСЯ ЗАМЫСЕЛ

Всю дорогу к дому думал: «Что скажу я маме, Ведь ее, мою родную, Не видал годами?

И какое слово дружбы Вымолвлю сначала — Ей, которая мне люльку По ночам качала?»

Сколько выдумок отличных В голове сменялось! И казалось — время медлит, Хоть телега мчалась.

Я вошел. Навстречу мама! Не сказав ни слова, Я повис, как плод на ветке Дерева родного.

Дунавече, 1844

ПОБЫВКА У СВОИХ

С отцом мы выпивали, В ударе был отец. Храни его и дале, Как до сих пор, творец!

За много лет скитаний Я не видал родни.

Отца, сверх ожиданий, Скрутили эти дни.

Поговорили вволю, Пред тем как спать залечь, И об актерской доле Зашла при этом речь.

Бельмо в глазу отцовом Такое ремесло, — Мне с ним под отчим кровом Опять не повезло.

«Житье ль в бродячей труппе На должности шута?» Я слушал, лоб насупя, Не открывая рта.

«Смотри, как щеки впали. И будет хуже впредь. Твои сальто-мортале Непрочь я посмотреть.»

С улыбкою любезной Внимая знатоку, Я знал, что бесполезно Перечить старику.

Потом, чтоб кончить споры, Стихи я произнес. Твердя мне: «Вот умора!» — Он хохотал до слез.

Старик не в восхищенье, Что сын поэт. Добряк Невыгодного мненья О племени писак.

Я на него не злился. Не надо забывать: Он в жизни лишь учился Скотину свежевать.

Когда вино во фляге Понизилось до дна, Я бросился к бумаге, А он в объятья сна.

Тогда вопросов кучу Мне предложила мать. Я понял, что не случай Мне в эту ночь писать.

Носил следы заботы Предмет ее бесед. Я ей с большой охотой На все давал ответ.

И, сидя перед нею, Я видел — нет нежней И любящих сильнее На свете матерей.

Дунавече, 1844

СТРАШНОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ

Душа рыдает... Почему? Внимает горю моему!

Ведь вам же не понять, о нет! — Что должен испытать поэт, Коль говорят: «Он — виршеплет, К нему признанье не придет!» Мне это выслушать пришлось — И сердце не разорвалось.

И вот что главное: за вас Расплачиваюсь я сейчас, О вы, застольные мои, Вы, песни вольные мои! А я-то думал... верил я, Что всем любезна песнь моя И рукоплещут мне уже Михай Витез и Беранже, А с ними и Анакреон С галерки славы... Даже он В восторге вскакивает там И, песни, рукоплещет вам.

И с фееричной высоты Вы сверзились, мои мечты.

Аминь! Попал я в западню! На грудь я голову склоню И, коль судьбой так решено, — Не буду воспевать вино, Не буду я его хвалить, А буду прямо в глотку лить! Пешт, 1844

ТО НЕ В МОРЕ — В НЕБЕ МЕСЯЦ ПЛЫЛ...

То не в море — в небе месяц плыл блестящий, То разбойник плакал, схоронившись в чаще. То на темных травах не роса густая, — То большие слезы падали сияя.

Он твердил, склонившись к топору стальному: «Для чего я делу предался дурному? Мать моя родная мне добра желала, — Что ж ее советам сердце не внимало?

Я ее покинул и попал к бродягам И шатался с ними по глухим оврагам. И с тех пор поныне я живу позорно — Путников безвинных граблю ночью черной.

И под кров родимый я бы возвратился, Да нельзя вернуться: дом наш развалился, Мать давно в могиле; и стоит высоко Виселица в небе, видная далеко.»

Пешт. 1844

ЗАРИЛАСЬ ШИНКАРКА НА БЕТЯРА...

Зарилась шинкарка на бетяра, Да была она ему не пара, — Доченьку приемную шинкарки, Вот кого бы взял бетяр в бетярки!

Тут шинкарку ревность одолела: Девочку она не пожалела,

Выгнала раздетой и разутой. А зима была жестокой, лютой!

Много ль сил у бедной сиротинки? Побрела, замерзла на тропинке. А бетяр узнал все после срока. ...И казнил шинкарку он жестоко.

Был и он повешен палачами. Помирал он вовсе без печали, — Жизнь ему без девушки красотки Табаку не стоила щепотки!

Пешт, 1844

ОДИНОЧЕСТВО

Здесь, вдали от суетного мира, В сельской стороне, Я хотел бы жить до самой смерти В счастье, в тишине.

В счастье! Потому что в жизни шумной Счастлив не был я, И меня преследовали люди, Небо и земля.

И ни днем не ведал я покоя, Ни в полночный час. Где б я ни был, в сердце проникал мне Волчий хищный глаз.

Наконец-то я собрал пожитки И бежал сюда.

В скорбном небе снова мне сияет Светлая звезда.

Глушь святая! Сквозь твои трущобы, Через выси гор Ни один сюда не доберется ...Кредитор.

Дунавече, 1844

ПОСЛЕ ОБЕДА

Ох, и набил я брюхо! Дай потянусь, а там Блаженному безделью Часок-другой отдам.

Диван мой разлюбезный, Удобный ты какой! Нет, кто тебя придумал, Тот был силен башкой.

Щенок, давай мне трубку Живей! Стоит как пень! Нет худшего порока, Чем пресвятая лень!

Иль мне вставать за нею! Поближе, обормот! С меня того довольно, Что я раскрою рот!

Вот пакостная муха! Ну как тут отдыхать!

Гони ee!.. Собака! Сидит на лбу опять!

Нет, жизнь людей, ей-богу, Полна ненужных мук. Еще считай за чудо, Когда не лопнешь вдруг!

Откинь-ка занавеску! Из этого окна Видна мне будет стройка, — Как движется она?

О, движется отлично, Работает народ! Спусти-ка занавеску, В глаза мне солнце бьет!

Вот свинский зной! А все же Есть выгода в жаре: Не может простудиться Рабочий во дворе.

Дунавече, 1844

ТО ПРАВДА?

То правда, явь Иль только сон ночной? То девушка Иль фея предо мной?

10 — I. 145

Пусть девушка, Пусть фея! Но она Лишь одного Меня любить должна.

Дунавече, 1844

МОИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ

В кармане деньги есть! Вперед, друзья! Деньгам на глотку надо наступать! Грядущий день? Его страшусь не я: Пошлет господь чего-нибудь опять. Ведь деньги не затем, чтоб их копить, А для того они, чтоб есть и пить!

Накрытый стол милей, друзья, для нас, Чем сам Эдем, где Ева и Адам. Любую скорбь рассеет он тотчас, Жизнь расцветет, увянуть ей не дам. Ведь деньги не затем, чтоб их копить, А для того они, чтоб есть и пить.

Клянусь гуманностью, что скупость есть недуг Презренных душ! Лишь нищая душа Способна прятать золото в сундук, Пыхтя, потея и едва дыша. Ведь деньги не затем, чтоб их копить, А для того они, чтоб есть и пить.

Пусть витязи расчета говорят, Что, кто не скупердяйничает, тот Останется под старость небогат И слезы сожаления прольет, Но все ж не буду денег я копить, А буду лучше есть на них и пить!

Допустим, что останусь ни при чем — Утешусь тем, что ел когда-то всласть! Но коль сейчас умру я богачом, Стыд — с тощим брюхом в мир иной попасть! Итак, нет смысла деньги мне копить, А надо тратить, чтоб и есть и пить.

За дело! Надоел мне разговор! Священной сытостью клянусь я вам, Что тешиться мы будем до тех пор, Покуда не очистится карман. Что — деньги! Их не следует копить, А для того они, чтоб есть и пить!

Дунавече, 1844

НЕЧТО ВРОДЕ ЛЕБЕДИНОЙ ПЕСНИ

Да, скверно мне! Едва брожу, И что ни день — дышать трудней. Растет недуг, меня губя, И кажется, что из тебя Я выскользну, о мир теней!

Мечтал о смерти я не раз, Но вот, когда уж близок срок, Когда уж близок смертный мрак, О нем раздумываю так, Как в сказке некий старичок.

10*

Вздор! Хоть ты прекрасна, смерть, Но кто ж с тобою жизнь сравнит! Там у тебя — один покой, Здесь — спорят радости с тоской И кровь так весело кипит.

Забыв про радость и беду, Уйду я вскоре в мир иной. Сейчас — цветок в петлице здесь, Весной — быть может, будет цвесть На холмике он надо мной!

Великолепные друзья, Цепь дружбы связывает нас! Сейчас вы делите со мной Излишества гульбы ночной, Но близок тризны скорбный час.

Ребята! Траур — ни к чему! Не опускайте головы! Ведь это не по вкусу вам, Всегда вот так, как я и сам, Весельчаками были вы!

Коль забредете на погост Оплакивать мой хладный прах, Оставьте вздохи вы свои И пойте песенки мои, Чтоб вспомнить о минувших днях!

Дунавече, 1844

АПИЛОМ ВОМ

Я умру... И на могиле Каменных не будет плит. Только крестик деревянный Скажет, где мой прах лежит.

Но когда б мои страданья Стали грудою камней, Пирамида бы восстала Над могилою моей.

Дунавече, 1844

НОЧЬЮ

Я снова жду. С небес луна Глядит в окно мое. Лучи сияющие льет Влюбленный взор ее.

Бедняжка шустрая! За что Влюбилась ты в меня? Уж не тебя ль я ждал весь день, Судьбу свою кляня?

Иль спятил я, чтоб твой приход Подстерегать всю ночь! Мне до тебя и дела нет, Ступай ты с богом прочь!

Напротив, там, живет одна, Кто всех дороже мне. Вот я и жду: а вдруг она Появится в окне?

Дунавече, 1844

ЖУЖИКЕ

О белокурый мой ребенок, Влюблен безмерно я. Ты поняла? — В тебя влюблен я, О девочка моя!

Вторую половину дела Должна ты тоже знать: Хочу я, чтобы ты решилась Моей женою стать.

Решись! Какой красивый чепчик Тебе я подарю! Я буду самым верным мужем — Я правду говорю!

Оберегать тебя я стану, Как драгоценный дар, Чтобы тебе не повредили Ни холода, ни жар.

Мы будем жить в веселом Пеште, Но ездить и к отцу, Особенно, когда финансы У нас придут к концу. Где мы появимся — там шопот Пойдет со всех сторон: «Жена Петёфи! В честь вот этой Стихи сработал он!»

Да, чорт бы вас побрал, вы правы! Близки уж времена— И будет именем Петёфи Вся Венгрия полна!

Под вечер за работу сяду, Начну стихи писать, Ты ляжешь и заране будешь Постель мне согревать.

Тут напишу я стих бессмертный; Его закончу я, К тебе прильну, скажу: «Подвинься, О девочка моя!»

Пожалуй — всё. Ведь вот об этом И все мои мечты. О белокурый мой ребенок, Что мне ответишь ты?

Дунавече, 1844

на воде

Волна болтает с лодкой, Бормочет и поет, А я весло сжимаю, И пот с меня течет. Увидела бы мама И крикнула бы мне: «Не надо!.. Ради бога!.. Потонешь в глубине!..»

Отец мой, если б видел, Сказал бы, знаю, так: «Кой чёрт тебя там носит? Штаны порвешь, дурак!»

Дунавече, 1844

ВДОЛЬ ПО УЛИЦЕ ХОЖУ Я...

Вдоль по улице хожу я, Флягу добрую держу я, И под скрипку вечер целый Я пляшу как угорелый.

Эй, цыган, играй такое, Чтобы выплакал я горе! Но вон там, под тем окошком, Заиграй совсем другое.

За окошком тем, бывало, Мне звезда моя сияла. А теперь — зашла, затмилась, — Знать, с другим она слюбилась.

Вот окно. Цыган, за дело! Так играй, чтоб все гудело! Пусть неверная не знает, Как душа моя страдает.

Дунавече, 1844

K MOEMY CTAKAHY

А впрочем, я ценю тебя, стакан... Но мне порой — скажу тебе я искренне! — Бывает стыдно за тебя, стакан, Что осушать себя даешь так быстро мне.

И если стал бы я тобой, стакан, Во мне вино вовек не иссякало бы; А если б мной ты сделался, стакан, Ты пил бы, пил — и все казалось мало бы!

Дунавече, 1844

ГЛОТКА У МЕНЯ, КАК БУДТО МЕЛЬНИЦА...

Глотка у меня, как будто мельница: Колесо тогда лишь зашевелится, Если мельник — сердце сиротливое — Пустит в ковш струю вина бурливую.

А супруги ротик — настоящее Веретенце, бешено жужжащее. Эх, прядет жена моя, старается, — Перебранка добрая сплетается!

Так гуди же ты сильнее, мельница, Поливаю, блещет влага, пенится, Заглушают эти струи пенные Речь твою, супруга драгоценная!

Дунавече, 1844

ТРАВИНКОЙ-СИРОТИНКОЙ ЗОВУТ КОВЫЛЬ

Травинкой-сиротинкой зовут ковыль степной, А девушка сиротка — души моей левкой. Я, чтоб украсить шляпу, ковыль пушистый рвал, А девушку сиротку в деревне повстречал.

Нежна и белокура ты, девушка моя, И мы с тобой поладим, уверен в этом я! Среди пшеницы чистой синеет василек, А взор моей невесты — как голубой цветок.

Лацхаза, 1844

ЧТО КАТИТСЯ ПО ЛУГУ?

Что катится по лугу? Жемчужины потока. А по лицу любимой? Слеза тоски глубокой.

Пускай поток струится, Несется по теченью, И пусть алеет роза Средь зелени весенней, —

Но только бы, голубка, Ты не роняла слезы: От горьких слез увянут Лица живые розы...

Пешт, 1844

МОЕМУ БРАТУ ИШТВАНУ

Что слышно, брат? Уж, верно, обо мне Давно забыли в вашей стороне. Случалось ли вам, Пиштика, хоть раз Подумать иль промолвить в поздний час, Когда семья судачит вкруг стола: «Как там идут у Шандора дела?» Черкни о каждом, кто и как живет. У вас хлопот, я знаю, полон рот. Чтобы хоть скудно жить, хоть как-нибудь, Без отдыха вам надо спину гнуть. Как жаль отца! Ведь нищим стал старик Лишь оттого, что верить всем привык. По честности и доброте своей Хорошими считал он всех людей, Зато и поплатился тяжело: Что заработал, прахом все пошло. Напрасны были все его труды, — Другой сумел присвоить их плоды. И почему меня не любит бог! С какой охотой я б отцу помог, Чтоб лямку старый перестал тянуть, Чтоб он себе позволил отдохнуть. Я с этой мыслью, Пиштика, подчас Лежу, лежу — и сон бежит от глаз. Теперь ему помощник ты один. Так будь заботлив, как хороший сын. Чем можешь, бремя облегчи ему, И бог тебе поможет самому. Не меньше, брат, любить и уважать Ты должен дорогую нашу мать. Нет слов таких, чтоб выразить сполна, Что значит мать и что для нас она.

Как стала б жизнь пуста и тяжела, Когда б судьба от нас ее взяла!

Ну, брат, прощай, кончается листок. Настроился шутить я, да не мог. Но сам подумай, разве я виной, Что мысль пошла дорогою иной! Мне тяжко продолжать на этот лад. Зато в другой раз, — обещаю, брат, — Я напишу длинней и веселей. Храни вас боже милостью своей.

Пешт. 1844

ПРОЩАНИЕ С АКТЕРСКОЙ ЖИЗНЬЮ

Читай и помни, кто моею Интересуется судьбой! Ее безоблачные дали Скрыл от меня туман густой. Корпеть в редакторской отныне Засядет вольной сцены жрец. Конец романтике скитаний, Всем приключениям конец!

Ты превосходна, жизнь актера! — Так скажут все, кто жил тобой, Хоть подло на тебя клевещет Злословье, людоед слепой. И не без горьких колебаний Я снял актерский мой венец. Конец романтике скитаний, Всем приключениям конец!

Хотя у роз актерской жизни Остры и велики шипы, Зато и роз таких не сыщешь, Держась проторенной тропы. Два года прожиты недаром, — Свидетель этому творец! Конец романтике скитаний, Всем приключениям конец!

А что прекрасней приключений? Без них печален путь земной. Однообразная пустыня Теперь лежит передо мной. Засядет в тесную каморку Всю жизнь бродивший сорванец. Конец романтике скитаний, Всем приключениям конец!

Но день придет, судьба смягчится И скажет: «Так и быть, ступай, Ступай туда, откуда выгнан, — В бродяжий твой актерский рай!» А до тех пор я — червь архивный, Вранья чужого смирный чтец... Конец романтике скитаний, Всем приключениям конец!

Пешт. 1844

БРОДЯГА

На свет мы все приходим, Чтоб делать то одно, Что было высшей властью Нам, бедным, суждено. Мой путь той высшей властью Был тоже предрешен. Бродягой я родился, Бродяжить — мой закон.

Вот в Дебрецен свернул я, Как Ишток-дурачок, Девицу обнял, выпил — И в путь... а путь далек! Ни дня на том же месте: Зашел — и тотчас вон! Бродягой я родился, Бродяжить — мой закон.

Но, правда, рок жестокий Глумится надо мной. Привязан к месту службы, Я чахну, как больной. Но скоро я, надеюсь, Дождусь иных времен. Бродягой я родился, Бродяжить — мой закон.

Пешт, 1844

В СТЕПИ РОДИЛСЯ Я...

В степи родился я, в степи живу, Большого дома я не наживу, Но есть загон, скакун есть вороной — Ведь я табунщик алфельдский степной.

Я без седла на жеребце скачу, Туда-сюда, куда ни захочу, Зачем седлу трепаться подо мной, Ведь я табунщик алфельдский степной.

Рубашку белую, холщовые порты Ты, роза алая, мне подарила, ты! Эх, роза, будешь ты моей женой — Табунщицею алфельдской степной!

Кунсентмиклош, 1844

НА ОСЛЕ СИДИТ ПАСТУХ...

На осле сидит пастух, Оземь бьет подошвы, — Хоть большой он, но беда Пастуха побольше.

На дуде играл в лугах, В травах стадо плыло, — Вдруг о милой слышит весть: Смерть пришла за милой.

На осла вскочил пастух, К дому мчит, как ветер;

Но приехал поздно он, — Милой нет на свете.

Что тут сделаешь, раз нет Горя тяжелее, — Палкой с горя он хватил По ослиной шее.

Кунсентмиклош, 1844

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

Былое — это луг цветущий, И память, как пчела, Нектар любви невинной, первой, Оттуда принесла.

И эта сладость пусть навеки Останется со мной: Ведь нету в равнодушном мире Поэзии иной.

Учеником я был, подростком, И был счастливцем я: Хозяйскую любил я дочку, А девочка — меня!

Да как любила! Самый лучший Кусок мне в миску шел, Когда делила за обедом, Что подано на стол.

А вечерами! Вечерами Кормила ветчиной,

И всем другим, что можно было Добыть из кладовой.

Потом в саду уединялись, Луна сияла нам, И настоящее блаженство Нас ждало только там.

О, как торжественно мечтала Природа в этот час, И только квакали лягушки Недалеко от нас.

И в романтическом томленье, Тогда я говорил: «Эх, как луна сияет в небе, Как этот вечер мил!»

Ах, невозвратны и прекрасны Былые времена, Где девочка, где эти ночи, Где эта ветчина?!

Пешт, 1844

АЛФЕЛЬД

Что мне в романтизме ваших дебрей, Соснами поросшие Карпаты! Я дивлюсь вам, но любить не в силах, Редкий гость ваш, но не завсегдатай.

Алфельд низменный — другое дело: Тут я дома, тут мое раздолье.

161

Загляжусь в степную беспредельность, Вырываюсь, как орел, на волю.

Мысленно парю под облаками Над смеющимся, цветущим краем. Колосятся нивы, версты пастбищ Тянутся меж Тисой и Дунаем.

Звякая подвесками на шее, Средь степных миражей скот пасется. Днем с мычаньем обступает стадо Водопойный жолоб у колодца.

Табуны галопом мчатся. Ветер Вбок относит топот лошадиный. Гикают табунщики, пугая Хлопаньем арапников равнину.

За двором качает ветер ниву, Как ребенка на руках, и всюду, Где ни встретишь одинокий хутор, Тонет он средь моря изумруда.

Утки залетают вечерами Из окрестностей, кишащих птицей. Сядут в заводь и взлетают в страхе, Лишь тростник вдали зашевелится.

В стороне корчма с кривой трубою, Вся облупленная по фасаду. Здесь, спеша на ярмарку в местечко, Смачивают горло конокрады.

Ястреб в чаще ивняка гнездится Близ корчмы, где дыни на баштане.

Тут от сорванцов-ребят подальше И для выводка его сохранней.

В ивняке потемки и прохлада, Разрослась трава, цветет татарник. Изомлев до одури на солнце, Ящерицы прячутся в кустарник.

А где небо сходится с землею, Несколько туманных, стертых линий. То верхи церковных колоколен И садов фруктовых в дымке синей.

Алфельд! ты красив, здесь я родился, Здесь меня качали в колыбели. Стань мне в будущем моей могилой У последней и конечной цели!

Пешт, 1844

В МОЕЙ КОМНАТЕ

Дождь весь день и небо серое, Как солдатское сукно. Видимо, сегодня вечером Мне гулять не суждено.

Почему меня подругою Бог не хочет наградить? Вот было с нею б весело Забавляться и шутить!

Трубку я курю и слушаю Говор капель дождевых.

11*

И витаю где-то мысленно В днях минувших, днях былых.

Были радости и горести, И — чего скрывать уж мне! — Я испытывал страдания Лишь по собственной вине.

Ох, уж это легкомыслие! Доводило до беды. И набили мне оскомину Терпкие его плоды!

Это — только легкомыслие, Только лишь оно одно! И исчезнет, как мне кажется, Вместе с юностью оно.

Жизнь моя полна превратностей, Друг один не изменил — Он меж всяких неприятностей Постоянно верен был.

И когда я здесь по родине Зверем загнанным блуждал, Голодал со мною вместе он И в одной канаве спал.

На чужбине другу этому Было жить со мной не лень — Сухари глодать солдатские За четыре гроша в день.

Хлеб актерский, густо перченный Жульническою рукой И от слез соленый дьявольски, — Ел со мной приятель мой.

Этот верный друг — Поэзия! Я ведь песню пел свою Между всяческими бедами И на сцене, и в строю.

Вы, стихи, жить вечно будете Иль умрете вы со мной? Ночью над моей могилою Загоритесь ли луной?

Кончен дождь! Над полем ракошским В небе радуга взошла. Погуляю, коль не выскочит Кредитор из-за угла.

Пешт, 1844

ВЕЧЕР

Потух закат.
Поля молчат.
Лишь лунный луч
Скользит меж туч.
Так на гранит
Могильных плит
Бросают взгляд
Из-за оград.
Мир этих чар —
Особый дар,
И он не дан
Для горожан.
Но вот селом

Идут вдвоем Она и он Под песни звон. Вслед этим двум, Заслышав шум, И соловей Поет смелей. А у гумна Свирель слышна. Там сад, забор, Дымит костер, И у огня, В конце плетня, На свой кожух Прилег пастух. Пока навзрыд Свирель звенит — Сопит, жует, Пасется скот. Вдруг из-за лиц Калитки скрип! Пастух, привстав, Туда стремглав. Объятья, зов Невнятных слов. И вот они В тиши, в тени, Наедине, На зависть мне. Целуйтесь всласть! Мне не попасть, Мне к вам нельзя, — Трудна стезя!

Пешт, 1844

ДОБРОМУ СТАРОМУ ГВАДАНИ

Перу вашей милости отдых настал — утомилось! Давно пасть могилы для милости вашей раскрылась, В ней мирно вы спите, покуда восстать не случилось, Но милы мне ваши труды и сейчас, ваша милость.

Пиитики пестрой не блещут они красотою, Но смысла они поражают меня остротою, Венгерскою цельностью дышат доподлинно тою, Которой и нынче я радуюсь всею душою!

Немало поэтов сейчас поглощают чернила, Какие отчизна в бутылках еще сохранила, Но пишут, ах, плохо, не та у них все-таки сила, Что в старые годы, когда ваша милость творила!

Понять невозможно, язык где они изучали И чем от немецкой венгерскую речь отличали! Венгерской конструкции фразы, увы, отзвучали... За порчею речи слежу я в великой печали.

Легко ль примириться с такою прискорбною явью! Их души пятнает позором такое тщеславье, Берутся за перья они, полагая, что вправе Язык материнский коверкать в родимой державе!

Язык свой венгерский они искажают фатально И жить не хотят по обычаю, фундаментально! Уж коль до того их невежество стало нахально, Погнать бы их прочь, да и жить-поживать беспечально!

Вот вашей бы милости взять да сегодня проснуться Да книги прочесть, что сегодня у нас издаются!

Одно бы вам только осталось тогда: ужаснуться И, книгу захлопнув, к покойникам вашим вернуться!

Так пусть ваша милость на кладбище ждет воскресенья!

Коль наши писаки испортят мне пищеваренье, То фундаментально-венгерские ваши творенья Тотчас же исправят дурное мое настроенье!

Пешт. 1844

ПОДРАЖАТЕЛЯМ

Вам кажется: поэзия — тележка. Дорога есть, лошадка есть — садись! Но стих — орел! Свободно он взлетает Туда, где нет путей, — на волю, ввысь!

А вы, бессильные, пустые трусы, Вы ждете, чтобы путь открыли вам. Пройдет поэт — и, словно псы за костью, Бросаетесь вы по чужим следам.

Хватай перо! Пиши, когда ты в силах Идти туда, где не бывал другой! А нет — берись за плуг иль за колодку И стих свой жалкий растопчи ногой.

Пешт, 1844

жизнь и смерть

Блаженны те, кому дано В короткой этой жизни Любить подруг, и пить вино, И жизнь отдать отчизне!

Пешт. 1844

ЗИМА В ДЕБРЕЦЕНЕ

Эх, Дебрецен, Среди твоих я стен Большие претерпел лишения, Но тем не менее И вместе с тем В воспоминаниях ты мил мне, Дебрецен!

Я не бурсак, Но все ж постился, да еще и как! Ведь неспроста придумано богами Нас костяными одарять зубами, А если б зубы были из металла, То их давно бы ржавчина сглодала.

В ту зиму холод был весьма суров, А я не мог купить не только дров, Но и соломы. Проснувшись в холоде нетопленного дома, Я надевал потрепанное платье, И мог сказать я, Как тот цыган, что в сеть закутался от стужи: «Ух, как там холодно, снаружи!» И что ж! Хоть пробирала дрожь, Но стихотворствовал я все ж! Чуть двигалась рука моя. А я?

Курил я трубку в час такой И тепленький чубук рукой Сжимал, Пока мороз не отступал.

И в нищете я утешался мыслью той, Что был знаком и с большей нищетой.

Пешт, 1844

МНОГО С ВЕТОЧКИ МЫ ВИШЕН РВЕМ

Много с веточки мы вишен Рвем, Но одну жену привел я В дом. Ах, и этого довольно, Чтоб

Бедняка загнать однажды В гроб!

Очень грозной ее создал Бог.

Перед нею весь дрожу я: Ох!

Все отдам, лишь только скажет: «Дай!»

Но за все одна награда — Лай! Говорю себе я часто: «Бей!»

Ведь старуха. Силы мало В ней!

Но сверкнет ее ужасный Глаз,

И исчезнет моя храбрость Враз!

Помирала. Собиралась
В ад!
Боже мой, как был тому я
Рад!
Чорт не взял ведь. Испугался
Он, —

Жен таких и черти гонят Вон!

Пешт. 1844

МОИМ РОДИТЕЛЯМ

Эх, родители мои, Если б мне богатство! Уж тогда бы не пришлось Вам с нуждой тягаться.

Я исполнил бы тогда Все желанья ваши, Вы бы век свой жили так, Что не надо краше.

Я б такой нашел вам дом, Чтобы все светилось, Чтобы в погребе вино Не переводилось;

Чтоб к отцу пришли друзья, И за стол бы сели, Чтоб купались их сердца В озере веселья.

Я бы матери купил Не карету — диво, Чтобы в церковь по утрам Не пешком ходила.

И молитвенник ее Был бы, вне сомненья, С ликом господа Христа, С золотым тисненьем.

Я коней бы дорогих Накупил с излишком, — Пусть по ярмаркам на них Ездит мой братишка!

Библиотеку б завел — Всем на удивленье. И не стал бы денег брать За стихотворенья.

Я бы все их отдавал Даром для печати, И они редакторам Были б очень кстати.

А коль девушка б нашлась, Да притом мадьярка, — Ух, как стали б танцевать Мы на свадьбе жарко!

Вот как жизнь у нас пошла б Без нужды проклятой... Эх, родители мои, Стать бы мне богатым!

Пешт, 1844

МИХАЮ ТОМПЕ

Ну, я прочел стихотворенье! Сработал ты посланье это У бартфайских потоков где-то, Чтоб мне доставить наслажденье.

Твой стиль я нахожу отменным! (Не думай, что хвалю из лести.) И я в восторге от известья, Что ты не враг и чашам пенным!

Эх, Мишка, парень ты на славу! Пора бы нам и подружиться! Ты ж кальвинист, школяр! Водица Таким ребятам не по нраву!

Помолимся же богу хмеля, Сородич, друг мой задушевный, И пусть нас обличает гневно Мир — лицемер и пустомеля!

Бездельник этот мир — я знаю! ... Ну что же, встретимся мы, значит?

И пусть от радости заплачет, С небес взглянувши, Чоконаи.

Но ты не думай в самом деле, Что стоит до вина дорваться, И я начну сейчас же драться. Нет! Благостно мое веселье.

Смеясь, друзьям я повествую Про невеселое былое... Когда мы встретимся с тобою, Тебе о многом расскажу я.

Узнаешь ты из той беседы, Что к двадцать первому я году, Прошел через огонь и воду, И все же не сломили беды!

Да, не сломили годы бедствий! Теперь я в лучшем положенье: Хоть не богач еще, но средства Найду тебе на угощенье!

Так приезжай! Я — в ожиданье. Что? Далеко? Но я когда-то, В пехоте будучи солдатом, Плевал на дальность расстоянья!

И должен напрямик сказать я: Откажешься от приглашенья — К тебе в один прекрасный день я Ворвусь и задушу в объятьях!

Пешт, 1844

мои ночи

Ну, допустим, если звездны небеса, И луна тебе, и прочая краса — Локтем я о подоконник обопрусь, А другой рукой за трубочку возьмусь И дымлю вот так до самого утра, — Для мечтаний это чудная пора! Ну, а если небо в тучах, нет луны, Что мне делать средь беззвездной тишины? Ведь не с курами мне все же засыпать! От порядка не хочу я отступать. Но тоска меня за шиворот берет, Время зайцем хромоногим чуть ползет, И чубук мой прямо валится из рук, И тогда, среди отчаяннейших мук, Обращаюсь я к чернилам и перу, То есть лиру для бряцания беру. И такая серафическая тут Песнь рождается, что может добрый люд Помереть от ужаса... Но мне Все равно! И в полуночной тишине Я творю, покуда сон с тоской Не вступают в потасовку меж собой. Что за битва! Сколько пламенности в ней! Все же сон одолевает: он — сильней. ...По-иному будут ночи проходить, Коль жену себе сумею раздобыть.

Пешт. 1844

ЛУКАВЫЙ ПЬЯНИЦА

Хотя и пью, хотя люблю вино, Подчас не лезет в глотку мне оно. Но старый плут кого не проведет? Для пьянства тоже должен быть подход.

«Дай, — думаю, — себе представлю я, Что этот ковшик — сердце короля. Пустить бы кровь злодею!» — И смешно: Мой ковш — без дна, но выпил я вино!

Пешт, 1844

БЕРЕЖЛИВОСТЬ

И как бы там вы ни крутили, А бережливым надо быть! Хозяйственного человека Расходами не устрашить.

Коль бережлив, так где угодно Гуляй ты, и, кого ни встреть, На всех ты можешь горделиво И без опаски посмотреть!

В корчме, когда звенят стаканы И пир горой когда идет, Не скажешь ты: «Друзья, простите... Домой пора! Работа ждет!»

Ну и так далее! Отныне От трат безумных я отвык, И каждый грош копить я буду, Как мой отец — добряк-старик!

Эх, каждый раз твержу я это, Ощупав свой карман пустой, А снова заведутся деньги, Так, значит, снова — пир горой!

Пешт, 1844

КОГДА БОЛЯТ МОИ ГЛАЗА

Господь-творец, не ослепляй меня! Пускай пройдет напасть такая мимо Что будет, если не увижу я Ни девушек, ни трубочного дыма?

Пешт, 1844

АХ, ЕСЛИ Б НЕ НОСИЛ Я ШАПКУ...

Ах, если б не носил я шапку, Скорей похожую на тряпку, — Я был бы парень хоть куда, Я б кавалером был тогда!

И если б третий год на свете Не щеголял в одном жилете, — Я был бы парень хоть куда, Я б кавалером был тогда!

И если б два пальто при этом — Одно зимой, другое летом, —

12 — I. 177

Я был бы парень хоть куда, Я б кавалером был тогда!

И если б у штанов проклятых Не бахрома, не зад в заплатах, — Я был бы парень хоть куда, Я б кавалером был тогда!

И если б мне ботинки тоже Из новой и хорошей кожи, — Я был бы парень хоть куда, Я б кавалером был тогда!

И если б эти если, если Подохли все и не воскресли, — Я стал бы парнем хоть куда, Я б кавалером стал тогда!

Пешт, 1844

СТРАННИКИ ЛЮБВИ

Выплыл месяц, рыцарь ночи... В серебристой свите, Верные малютки-звезды, Как пажи, идите!

Со звездой идет вечерней Месяц круторогий, Я иду с моей любовью — Оба мы в дороге!

К черной ночи шествуй в небе, Шествуй, месяц ясный! Я отправлюсь к черноглазой Девочке прекрасной.

Пешт, 1844

МОЯ СМЕРТЬ

Два рода смерти угрожают мне... Не знаю — что за смерть я изберу, А ведь хотелось бы заране знать: От жажды иль от голода помру?

Пешт, 1844

Я НЕ ЗНАЮ, ЧТО СО МНОЮ...

Я не знаю, что со мною: Ликованью нет границ. И, хотя я не умею, Пел бы я не хуже птиц.

Я пляшу, чардаш танцую, Хоть вблизи оркестра нет. И светла моя каморка, Где неведом солнца свет.

Даже глиняная трубка Со сквернейшим табаком Наполняет комнатушку Райски-розовым дымком. Сердце бъется, будто страстью Вся душа моя полна, Хоть ни слова не сказала Мне девица ни одна.

Тем загадочнее это, Что кармана небосвод В полном денежном затменье, Туча мрака там ползет.

Все же мир передо мною, Словно куст тюльпанов... но Лишь до той поры, покуда В голове шумит вино!

Пешт, 1844

ЕСЛИ ДЕВУШКИ НЕ ЛЮБЯТ...

Если девушки не любят, Выпей, брат, — И приснится, что пленяешь Всех подряд.

Если денег нет в кармане, Выпей, брат, — И приснится, будто царски Ты богат

Если горе навалилось, Выпей, брат, — И, как дым, твои печали Улетят.

Я всего лишен, зато я Горем сыт, — Горе горькое мне втрое Пить велит.

Пешт. 1844

после попойки

Готов вступить я с вами в спор. Пусть не видать мне кружки, Коль мне случалось до сих пор Быть на такой пирушке!

Такая выпивка равна Мохачской битве ярой, Но турком был кувшин вина, А те, кто пил, — мадьяры.

Был каждый гневом обуян И дрался беспощадно, Пока не выпал из стремян Тиран — рассудок хладный.

Мы одолели вражью рать К исходу этой ночки. Пиявку легче оторвать, Чем нас от винной бочки!

Как наши долгие глотки, Пусть длятся наши годы, — Чтоб мы увидели деньки Победы и свободы!

Пешт, 1844

МОИ СТИХИ

Деревом поэзии была ты, Жизнь моя. Стихи — твои листы. Но, увы! дохнет забвенья ветер — Облетишь и обнажишься ты.

Так, быть может, мне тебя не холить, Если ветер оборвет листву? Все же ты полезна: ты ведь многим Тень даешь, покуда я живу.

Пешт, 1844

АКТЕРСКАЯ ПЕСНЯ

Актерское искусство — Венец для всех других, И быть не может в этом Сомнений никаких! Высокую задачу Мы на себя берем. Так будем же гордиться Актерским ремеслом!

Бесплотное виденье Родит поэт, но вот, Поставлено на сцене, Видение живет! Высокую задачу Мы на себя берем. Так будем же гордиться Актерским ремеслом.

Сердец мы властелины! Хотим — у вас у всех Сейчас польются слезы, Хотим — раздастся смех! Высокую задачу Мы на себя берем. Так будем же гордиться Актерским ремеслом!

Апостолами правды Обходим мы страну И славим, добродетель, Тебя, тебя одну! Высокую задачу Мы на себя берем. Так будем же гордиться Актерским ремеслом!

Но если, слово правды Даря тебе, народ, Мы сами поступаем Совсем наоборот — Тогда мы не актеры, Провал нам поделом, И нечего гордиться Актерским ремеслом!

Пешт, 1844

ПИСЬМО ПРИЯТЕЛЮ АКТЕРУ

А помнишь юношу, который, как и ты, Держал в руке бродяжнический посох. На посох нищего похожа эта палка, Когда судьба изволит морщить нос! Нос морщила судьба довольно часто... Ведь точно так же, как и к патриотам, Хорошим отношением к актерам Похвастаться не может край родной. Как видишь — не забыл я об актерах И никогда не позабуду в жизни. Все то, что пережил я вместе с вами — Хорошее, плохое, — помню все! Вот снова он встает передо мною, Тот час послеобеденного зноя, Когда меня в актеры посвятили... А перед этим я шатался зря По всем краям земли моей венгерской. И не могу сказать, что было много Поклажи в сумке за моей спиною, — Не ноша тяготила, а нужда! И только легкомыслие умело, Как друг вернейший, как веселый спутник, Брать на себя всю тяжесть этой ноши. И вот пришел я в некий городок, Был поздний час. Ногам моим усталым Хотелось отдохнуть на постоялом Дворе... А в уголке его гостиной Я нечто вроде рампы разглядел. Вот еще роскошь! Я сидел в раздумье: Обед заказывать, иль сломится на этом Житейское мое благополучье, Как никудышный перочинный нож? И в это время некто благородный

Дверь распахнул, а я уже настолько Был в людях опытен, что сразу сделал вывод: Актер явился, и не кто иной! На голове его сидела шляпа Великого достоинства. Наверно, Была роднёй пророка Елисея — Плешивая такая же, как он! Пальто артиста было новым. Брюки Напоминали половую тряпку, Взамен сапог он был обут в ботфорты, В которых и на сцене выступал. «Жрец Талии?» — спросил я. «Точно, сударь! Вы тоже?» — «Нет еще!» — «Но ваша милость Им хочет быть?» — «Да я не знаю, право» — Ответил я. Но он уже исчез И в тот же миг с директором вернулся. В плащ белоснежный был одет директор, И крикнул мне он, кланяясь любезно: «Прекрасно, дорогой компатриот! Сам бог вас шлет! И мы вам очень рады. Вы, верно, обожаете искусство. Божественно оно на самом деле. Героем сцены быть вам суждено, Вы прогремите! Это безусловно! А вы обедали? Но кормят здесь прескверно И дорого. А нам оленью ногу Послал из замка нынче мажордом. Капусты тоже, кажется, осталось. Угодно вам? Покушаете вволю!» Так штурмовал меня добряк директор, Вращая красноречья колесо. И я, принявши это приглашенье, Торжественно зачислен был в актеры. Тут вовсе не допытывались: кто я — Студент, сапожник... Ровно через день

Я вдохновенно выступал в «Пелешском Нотариусе». Действовал геройски Там в трех ролях, поскольку в нашей труппе Лишь шесть артистов было налицо. ... Мы по селеньям ездили... Бывали Удачи, и бывали неудачи. Всего бывало... Только нашей дружбе В конце концов, увы, пришел конец. Нахальство все ж мне было не по вкусу, Не полюбился мне огонь бенгальский И множество «Последний раз в сезоне», И всякая иная трескотня. В конце концов распалась наша труппа Ввиду усобиц внутренних и внешних. Скитался я, вступил в другую труппу. И все это я снова испытал. И с грустью понял я, что нас, артистов, Влечет на сцену не любовь святая К искусству, но потребность заработать, И больше не мечтаем ни о чем! «О публика, прошу твоей поддержки, — Кричит артист, — я буду развиваться!» А публика, конечно, отвечает: «Что ж, развивайтесь! Мы поддержим вас!» На деле — ни того и ни другого! И не поверю я в расцвет театра, Покуда подлецы и негодяи И все отребья мира будут в нем Иметь пристанище! О друг мой, мы с тобою Все это поняли! Дай бог, чтоб поскорее Актерское искусство наше стало Таким, каким оно и быть должно!

Пешт. 1844

ФЛАКОН С ЧЕРНИЛАМИ

Сам Медери (кто не слыхал о нем!) Когда-то желторотым был юнцом, В бродячей труппе он играл И брал Кропать Афишки форинтов за пять, Как я сказал уже — за пять!

Мзду получив, бежит он как-то раз Купить чернил, чтоб новый взять заказ, А он всегда флакон чернил Хранил В своем Пальто, в кармане боковом, Как я сказал уж — в боковом!

Чернила есть! Ликует наш богач! Домой из лавки он пустился вскачь. Сказал Сентпетери: «Смотри, Кари, Мне жаль, Коль радость сменишь на печаль, Как я сказал уж — на печаль!»

Увы! Прыжки к добру не приведут! Флакончик пуст, а пятна тут как тут! И загрустил, задумался бедняк: Итак — Пальто Теперь негодно ни на что, Как я сказал уж — ни на что!

А главное — что желтое оно! Тем резче выделяется пятно. Хоть брось! Но где ж другой наряд возьмень?

И что ж? Не бросил пальтеца, Носил до самого конца, — Как я сказал уж — до конца!

Пешт. 1844

К СОЛНЦУ

Сударь, стойте, удостойте Хоть лучом внимания! Почему вы так скупитесь На свое сияние?

Каждый божий день плететесь Надо мной по небу вы, Почему ж в моей каморке Вы ни разу не были?

В ней темно как будто... Тьфу ты — Чуть не ляпнул лишнего! Заглянули б на минуту И обратно вышли бы!

Я поэт и существую На стихотворения, И поэтому живу я В жутком помещении! Знаете! Когда-то сами Вы на лире тренькали В дни, пока был Зевс не сброшен С неба в зад коленкою!

Умоляю вас, коллега, Быть ко мне гуманнее И отныне не скупиться На свое сияние.

Пешт, 1844

СЕМЕЙНАЯ ЖИЗНЬ СОЛНЦА

А знаете ли вы: У солнца есть супруга! Недобрая, увы! Пришлось бедняге туго. Все мается, почтенный старина — Ведь под каблук взяла его жена! Сварливая, она всегда готова к ссоре. Ну, вот и хочется вина — Вино уймет любое горе! Но дома пить нельзя никак — Грозит супружеский кулак. И, размышляя: «Выпить где бы?» Старик в привычный путь пускается по небу, И вот идет и тучки ждет Хотя б одной на небосвод, Чтоб, не боясь Ревнивых глаз, Нырнуть тотчас В любой кабак. Там как сапожник солнце с горя пьет.

И вот Вы видите: ложится мрак ночной, И стелется тумана покрывало, И солнце с красной рожею хмельной За горизонт мертвецки пьяным пало!

Пешт, 1844

ДЕВУШКАМ

Красавицы девчушки, Уж вы простите мне, Что всякий раз грешу я Стихами о вине.

Ведь вам и не представить, Как жизнь моя темна. Страданье за страданьем Приносит мне она.

Мои стихи смешат вас, Вот вам и невдомек, Какая боль и горечь В веселье этих строк.

Поймите ж, дорогие, Когда, рассвирепев, Печаль-тоска мне в сердце Вгрызается, как лев,

И мир вокруг темнеет, Как ночью грозовой, И в мраке непроглядном Лишь бури слышен вой, И вихрь опустошает, Терзает жизнь мою, — Мне лишь тогда спокойней, Когда вино я пью.

Я пью, гроза стихает, С души спадает гнет, И радостно гляжу я На синий небосвод.

И на веселом небе Я вижу вновь луну, Она горит весельем, Лучась, как в старину.

Так в соке виноградном Я исцеленье пью. Не раз во дни печали Спасал он жизнь мою.

Не раз — еще б минута... И было б уж давно Ты серой паутиной, Перо, оплетено.

А я лежал бы, тлея, В могиле ледяной, И с телом бы смешался Холодный прах земной.

Итак, мои девчушки, Уж вы простите мне, Что я в стихах болтаю Так часто о вине.

Пешт, 1844

ЛЕГЕНДА

«Всё жалобы! И вновь они, и вновь! А на кого? Да вечно на попов. И днем, и ночью норовят надуть И человеку не дают заснуть! — Сказал господь с досадой и тоской. — Сойду-ка вниз, взгляну на род людской!» С кровати встал, оделся он, и вот Свечу берет и в долгий путь идет. Увидел он, когда ворот достиг: Спит, как убитый, Петр, святой старик, — Вчера случился новичок в раю, Ну, а поскольку райскую семью Не часто пополняет грешный мир, Был в небесах устроен целый пир. И дядя Петр сглотнул кувшин иль два По случаю такого торжества. «Да встаньте ж, Петр, я умоляю вас! — За чуб седой господь его п о т р я с . — Вставай же! Говорю тебе добром... Чтоб разразил тебя небесный гром!» Проснулся Петр: «Сейчас ключи найду!» Тут подали падучую звезду. На ней-то и помчался, наконец, Навстречу горьким жалобам творец. Вот человек какой-то молодой Спешит к нему, обременен бедой. Взглянул господь. Любезно молвил он: «Рассказывай, сынок, чем огорчен!» «Создатель, велика моя беда! На подоконник взлезьте, вот сюда, Да загляните сквозь оконце в дом: Моя жена в постели спит с попом.» Господь вскарабкался и заглянул в окно.

Да... Богохульно это и грешно. И вздох его был тяжек и глубок: «Прискорбная история, сынок. Тут не поможет и создатель сам. Помочь бы рад, но все свершилось там... Попа, чтоб ты утешился, бедняк, Пошлю я в ад... Хотя уже и так На пять шестых набит попами ад, Попов в аду, поверь мне, целый склад!»

Пешт, 1844

УЖ ЛУЧШЕ...

Уж лучше затерянным островом быть, Куда и орлу не домчаться, Куда и моряк не сумеет доплыть, — А только б с тобой не встречаться!

Застыть бы скалою в полярной ночи, Когда сквозь мороз не сочатся Ленивые бледные солнца лучи, — А только б с тобой не встречаться!

Песком на экваторе лучше бы стать И там добела раскаляться. Все адские муки огня испытать, — А только б с тобой не встречаться!

В немой беспросветной полуночной мгле Отверженным духом скитаться, Который не знает покоя в земле, — А только б с тобой не встречаться.

13 — I. 193

Ведь вот что меня заставляет в пути Под тяжестью муки сгибаться... Легко бы мне было крест жизни нести, Нести, но с тобой не встречаться...

И все-таки, все-таки я бы не жил — В какую бы высь ни поднялся, Блаженства бы высшего не находил, Когда бы с тобой не встречался!

Пешт, 1844

ЧОКОНАИ

Поп кальвинист на белом свете жил, А с тем попом Чоконаи дружил. Однажды, в путь пустясь из Дебрецена И навестивши друга невзначай, «Дай горло промочить», — сказал смиренно Чоконаи Витез Михай.

«Вино найдем! Как ты подумать мог, Чтобы для друга моего глоток Вина в моем подвале не нашелся! Ты только пей да кружку подставляй», — Так поп сказал, и с ним в подвал поплелся Чоконаи Витез Михай.

«Ну, пить так пить!» — воскликнул щедрый поп. Взмахнул рукой, из бочки пробку — хлоп! «Я кран забыл! Я стал совсем болваном! — Вдруг он вскричал. — Ни мига не теряй! Беги наверх!» И побежал за краном Чоконаи Витез Михай.

Ладонью поп отверстие зажал, И кран в большом волнении он ждал, Но крана нет. И поп ворчал, сердился: «Исчез! Пропал! Такого посылай! К какому дьяволу он провалился, Чоконаи Витез Михай?»

Ждать больше нет терпенья. Решено. Поп бросил бочку (вытекло вино), В дом поднялся, все осмотрел там грозно. Нет никого. Сиди да поджидай. Вернулся вечером, и очень поздно, Чоконаи Витез Михай.

А дело было, скажем прямо, в том, Что, кран ища, обшарил он весь дом, Все перерыл с усердьем неустанным, Но не нашел. Где хочешь доставай! Решил к соседям забежать за краном Чоконаи Витез Михай.

А у соседей пир. Едва вошел, Уже его зовут, ведут за стол. И за едой, средь щедрых возлияний, Хватив вина хмельного через край, Не вспомнил о попе, забыл о кране Чоконаи Витез Михай.

Пешт, 1844

13*

моя любовь

Моя любовь не соловьиный скит, Где с пеньем пробуждаются от сна, Пока земля наполовину спит, От поцелуев солнечных красна.

Моя любовь не тихий пруд лесной, Где плещут отраженья лебедей И, выгибая шеи пред луной, Проходят вплавь, раскланиваясь с ней.

Моя любовь не сладость старшинства В укромном доме средь густых ракит, Где безмятежность, дому голова, По-матерински радость-дочь растит.

Моя любовь дремучий темный лес, Где проходимцем ревность залегла, И безнадежность, как головорез, С кинжалом караулит у ствола.

Пешт. 1844

БУШУЮШЕЕ МОРЕ...

Бушующее море, С землей и небом споря, — Любовь уж больше волн не мечет в небосвод, Но тихо задремала, Как море после шквала, Как после слез покой у крошек настает. Она плывет не глядя. Ее зеркальной гладью Уносит в даль надежд качанье челнока, И песнью соловьиной С береговой плотины Ей будущее шлет привет издалека.

Пешт. 1844

ВЕНГЕРЦАМ ЗА ГРАНИЦЕЙ

Вы на теле родины — болячки! Что еще сказать про вас? Был бы я огнем, — как кровь дурную Всех вас выжег бы тотчас!

Не огонь я, но владею словом. Пусть, подобное бичу, Обжигает вас мое проклятье, Я проклятье вам кричу!

Иль богатств у родины так много, Иль богатству тесно в ней? Вовсе нет! Венгерская отчизна Все несчастней, все бедней.

Вы — грабители! Что мы добыли И как ценность бережем, Вы божкам дарите чужеземным В капищах за рубежом!

Вам не жалко родины, которой Даже хлеба не дано! Кровью плачет родина... Вы пьете Заграничное вино!

Но домой вы все-таки бредете, Промотавши все дотла, Чтобы та, кого вы разорили, Вам на бедность подала.

Как себя вы с родины изгнали, Так же именно, точь-в-точь, Пусть земля извергнет ваши кости, Небо душам скажет: «Прочь!»

Пешт, 1844

дикий цветок

Что вы лаетесь, собаки? Не боюсь! Умерьте злость! В глотку вам, чтоб подавились, Суну крепкую я кость. Не тепличный я цветочек, Вам меня не срезать, нет! Я — безудержной природы Дикий, вольный первоцвет!

А поэзию не розгой Втолковал мне педагог, — Этих самых школьных правил Я всегда терпеть не мог. Лишь боящийся свободы Вечно в правила одет. Я — безудержной природы Дикий, вольный первоцвет.

Не для мнительных ничтожеств Расцветать решил я тут, — Ваши слабые желудки Вам покоя не дают. Аромат мой для здоровых, — Добрый люд мне шлет привет. Я — безудержной природы Дикий, вольный первоцвет.

И поэтому вы больше Не кажитесь на порог, — Это будет все равно, что Об стену метать горох. А начнете задираться, Не смолчу я вам в ответ. Я — безудержной природы Вольный, дикий первоцвет.

Пешт, 1844

ДЯДЮШКА ПАЛ

Долго раздумывал дядюшка Пал, И, шляпу надев набекрень, Сказал он: «Сам дьявол жену мне послал. За мной она ходит, как тень. На что мне она, Ворчунья-жена? Ей-ей, прогоню ее прочь!.. Так в гневе сказал Наш дядюшка Пал. И выполнил слово — точь-в-точь.

Но скоро задумался дядюшка Пал, И шляпу он сдвинул назад. «Зачем я хозяйку напрасно прогнал? Теперь уж и сам я не рад. Запущен мой дом, Хозяйство вверх дном С тех пор, как ушла она прочь...» И так оно было — точь-в-точь.

Недолго раздумывал дядюшка Пал. Он шляпу надел на висок. «Ну что же поделать! Прогнал, так прогнал. Какой в моих жалобах прок? Остатки хозяйства в корчму потащу, На ветер пущу. Слезами беде не помочь!..» И выполнил слово — точь-в-точь.

Но снова задумался дядюшка Пал И шляпу надвинул на лоб. «Видать, без хозяйки моей я пропал. Осталось ложиться мне в гроб. Канат я куплю. И полезу в петлю В ближайшую темную ночь.» Да так он и сделал — точь-в-точь.

Пешт, 1844

ЛЕЙСЯ, ЛЕЙСЯ, ЛЕЙСЯ...

Лейся, лейся, лейся, Лейся веселей, Ливень поцелуйный, Нет тебя милей!

Ливень, ливень, ливень! Молнии летят! Очи у голубки Искрятся, блестят.

Грянул, грянул, грянул Гром над головой! Я бегу, голубка! Старик проснулся твой!

Пешт. 1844

шонк никкох

Он хозяин славный, Только вот беда, Что в кармане денег Нету никогда.

У него родится В поле хлеб густой. Хлеб он возит в город, Н о . . . карман пустой.

Он в корчме не спросит: «Эй, вина подать!»

Янош трезв. И все же Денег не видать.

Впрочем, как сберечь их, Коль его жена С молодым работником Очень уж нежна?

Пешт, 1844

СТАРЫЙ ГОСПОДИН

Плохая жизнь у старика, Плохая жизнь, хоть брось. Он так ревнует, так влюблен, — Прожгло его насквозь.

Жена — красотка, но подлец Племянник у него. Сидит в печенках тот подлец У дяди своего.

Был холостым — служакой был, Все честно делал, в срок. Теперь старик от службы той Как только в гроб не слег!

Со службы встарь он шел к друзьям, И в карты — до утра. Теперь беда: едва придет, Уже домой пора!

И встарь он беззаботно спал Все ночи напролет.

Теперь, как ляжет — грустных глаз До света не сомкнет.

Бедняга, зря ты потерял И свой покой, и сон! В твою служанку, не в жену Племянник твой влюблен.

Пешт. 1844

РАДОСТНАЯ НОЧЬ

Что за ночь! Сады цветут так зелено, Нам с тобой, любимая, так весело... Тишина. Собаки где-то лают. Все прекрасно. Небо ясно. Видишь: звезды в нем пылают!

Из меня звезда бы вышла скверная... Бог простит, но я-то уж наверное Убегал бы по ночам из рая И к тебе бы Прямо с неба Пробирался, дорогая!

Пешт, 1844

ЧТО ГОВОРИТ МУДРЕЦ?

Гм... Жизнь под солнцем течет не вполне Так, как хотелось бы этого мне! «Ладно! — мудрец говорит. — Все равно! Вот он, стакан. Наливайте вино!»

Золото — море, где гибель нашли Верность, и честь, и еще корабли. «Ладно! — мудрец говорит. — Все равно! Вот он, стакан. Наливайте вино!»

Глупость рядит свою голову в шелк. Умные головы кроет мешок. «Ладно! — мудрец говорит. — Все равно! Вот он. стакан. Наливайте вино!»

Великолепное слово «друзья» Выскреб наш век со страниц бытия. «Ладно! — мудрец говорит. — Все равно! Вот он, стакан. Наливайте вино!»

Быть прямодушным сейчас берегись — Искренность стала добычею лис. «Ладно! — мудрец говорит. — Все равно! Вот он, стакан. Наливайте вино!»

Женская верность — такая тропа, Бродим которой мы только сглупа. «Ладно! — мудрец говорит. — Все равно! Вот он, стакан. Наливайте вино!»

Истина — камень, летящий в того, Кто легкомысленно бросил его. «Ладно! — мудрец говорит. — Все равно! Вот он, стакан. Наливайте вино!»

Множество проповедей рождено. Мы перестали их слушать давно. «Ладно! — мудрец говорит. — Все равно! Вот он, стакан. Наливайте вино!»

Пешт, 1844

СОЛДАТ ОТСТАВНОЙ Я...

Солдат отставной я, не что я иное, Не унтер, а просто солдат отставной я! В солдатчине молодость вся и осталась, До дома со мной добрела только старость.

Всю жизнь в аккурат прослужил до отказа, Исправный — наказан я не был ни разу. Награда? В награду рука генерала Меня, старика, по плечу потрепала.

Пешт, 1844

пьянство во благо родины

Ну, с богом! Выпейте, друзья! Я тоже с вами пью. Когда бываю во хмелю, На грустную страну мою Я веселей смотрю!

Она мне видится такой, Какою быть должна. Глотну — и будто бы одна Из многих ран заживлена, И не болит она!

Когда б на самом деле хмель Мог родине помочь, Я согласился б вечно жить И вечно за отчизну пить, Вот так — и день и ночь!

Пешт, 1844

ЛИРА И ПАЛАШ

Вот снова небо в тучах Над родиной моей... Быть буре? Ну, так что же! Душа готова к ней.

Моя устала лира, Ей хочется молчать. Давно уж этим струнам Наскучило звучать.

А там в углу палаш мой В обиде на меня: Ужель в ножны уложен До судного он дня?

Пешт. 1844

против королей

Известно: ребятишкам все забава... Народы тоже ведь детьми когда-то были, — Их тешили блестящие игрушки, Короны, троны, мантии манили. Возьмут глупца, ведут, ликуя, к трону: Вот и король! На короле — корона!

Вот королевства! Вот высоты власти! Как кружат голову они. Похоже, Что короли и в самом деле верят, Что правят нами милостию божьей. Нет, заблуждаетесь! Ошиблись, господа, вы! Вы куклами лишь были для забавы!

Мир совершеннолетним стал отныне, Мужчине не до кукол в самом деле! Эй, короли, долой с пурпурных кресел! Не ждите, чтоб и головы слетели Вслед за короной, если мы восстанем. А вы дождетесь! Мы шутить не станем!

Так будет! Меч, что с плеч Луи Капета Снес голову на рынке средь Парижа, — Не первая ли молния грядущих Великих гроз, которые я вижу Над каждой кровлей царственного дома? Не первый грохот этого я грома!

Земля сплошною сделается чащей, Все короли в зверьков там превратятся, И будем мы в свирепом наслажденье, Садя в них пули, как за дичью гнаться И кровью их писать в небесной сини: «Мир — не дитя! Он зрелый муж отныне!»

Пешт, 1844

ЭТЕЛЬКЕ

Помнишь ли, как вправлен островок На Дунае в светлую струю? Так и я вправляю образ твой Прямо в сердце, прямо в грудь мою.

Зелень повисающих ветвей Окунают в глубь реки кусты. Если б в сердце окунула мне Ты належл зеленые листы!

Пешт. 1844

В АЛЬБОМ Э. Ч.

Когда бы буквы те, что здесь тебе пишу я, Могли бы стать твоей судьбою роковой, Я бросил бы перо, хотя бы целым царством Платили щедро мне за каждый росчерк мой.

Пешт, 1844

ПРОЩАНЬЕ С 1844 ГОДОМ

Приходит год, покончив с прошлым годом. Как смертные, ведут они борьбу. И каждый новый год своим приходом Нам говорит: минувший год в гробу. Что ж, погаси дыханьем уст отцветших Своей лампады беспокойный свет. Тебя, последний из годов ушедших, Я не впишу в число счастливых лет.

Ты в голову поэта, как оратай, Больших идей забросил семена. И, собирая урожай богатый, Душа счастливой гордости полна. Вознаграждая труд мой неустанный, Дарит мне слава поздний свой расцвет. Но год, лучами славы осиянный, Я не впишу в число счастливых лет.

Пылать, как факел, сердцу было больно В руке судьбы, не балующей нас... Ты, одряхлевший год, сказал: довольно! И пламень мой неистовый угас. Хоть силы жизни смерть перебороли, Но половины сердца больше нет. И этот год моей угасшей боли Я не впишу в число счастливых лет.

Минувший год, перед твоей могилой Я новой жизни вижу колыбель. Мне говорит надежды лепет милый О радости, неведомой досель. Весь озаренный жизнью предстоящей, Былому году шлю я свой привет.

14 — I. 209

Но все же год, навеки уходящий, Я не впишу в число счастливых лет.

Тебя с мольбой народ венгерский встретил, К тебе он обратил усталый взор, Но громом в небе ты ему ответил, И этот гром звучал как приговор. И вот, когда лежишь ты, распростертый, Что я могу сказать тебе вослед? Год уходящий, год сорок четвертый, Ты не войдешь в число счастливых лет!

Пешт. 1844

ДВА БРАТА

Есть у меня один хороший друг, Он парень честный с головы до пят. Когда печали вихрем налетят, Веселья плащ он мне приносит вдруг.

Когда полна предчувствиями грудь, Когда скорблю о родине моей, Мой друг с улыбкой молвит: «Веселей! Оставь унынье и мужчиной будь!»

Он говорит, что надо подождать, Что близятся другие времена, Что наша сиротливая страна, Как встарь, узнает неба благодать. Когда, влюбленный, я брожу, грустя, И жду — вот-вот услышу вновь отказ, Дружку не лень, — явившись тот же час, Журит меня: «Ведь ты же не дитя!»

Он шепчет мне, чтоб я не отступал: Пускай меня девица прогнала И капитал любви моей взяла, С процентами верну я капитал.

А если это слово наведет Меня на мысль о нищете моей, Он говорит мне: «Только будь смелей, И счастье, верь, к тебе еще придет».

Он говорит: «Печалиться не век! Холодное забудешь ты жилье, И двор унылый, и окно свое, Где на стекле цветы разводит снег».

Так хорошо он речь свою ведет, Так ласково глаза его глядят, Что без конца я слушать был бы рад, Забыв всю тяжесть горя и невзгод.

Но есть и брат у друга моего: Как ласков тот, так этот груб и зол. Лишь тот придет, и этот уж пришел И гонит взашей брата своего.

Мой друг, не зная, чем его унять, Уходит бледен, грустен и смущен, Но в нужный миг опять приходит он, Чтобы меня утешить и обнять.

Читатель, верь, тебе раскрыть я рад Загадку, здесь загаданную мной: Надежда — друг и утешитель мой, Действительность — ее суровый брат.

Пешт, 1845

ХОТЕЛ ТЫ, ДОБРЫЙ МОЙ ОТЕЦ...

Хотел ты, добрый мой отец, Чтоб делом я твоим занялся, Чтоб стал, как ты, я мясником, А я — поэтом оказался.

Ты бьешь скотину топором, — Пером я бью людей обычно. А в общем это все равно, — И только в именах различье.

Пешт, 1845

ЛЕПЕСТКИ С ЦВЕТОЧКА ОСЫПАЮТСЯ...

Лепестки с цветочка осыпаются, А со мной любимая прощается. Бог с тобою, любушка, Милая голубушка, Бог с тобой!

Желтый месяц через ветви смотрит голые, Что-то бледные с тобой мы, невеселые! Бог с тобою, любушка, Милая голубушка, Бог с тобой!

Падают на веточку росиночки, А на щеки падают слезиночки. Бог с тобою, любушка, Милая голубушка, Бог с тобой!

Розы вновь цвести весною примутся, И дороги наши не разминутся. Бог с тобою, любушка, Милая голубушка, Бог с тобой!

Пешт, 1845

КИПАРИСОВЫЕ ВЕТВИ С МОГИЛЫ ЭТЕЛЬКИ

РАССКАЖУ Я ТАЙНУ

Расскажу я тайну, Что берег доныне, Словно волны жемчуг Берегут в пучине. Выслушай, голубка, Ты повествованье Про любовь немую, Про мои страданья. Я любил, страдая, И была, как море, Та любовь огромна И огромно горе. Да, любовь и горе Близнецами стали И меня двойною Мукой истерзали.

Тихий поневоле, Все, о чем мечтал я, Ото всех на свете В глубине скрывал я. Не легка ты, тайна! Много надо силы, Чтобы тайны тяжесть Душу не сломила.

Как скрывают тучи Солнца лик горячий, Я скрывал твой нежный Образ, в сердце пряча. Но приходит ветер, Тучи разрывает, И в просветах жарче Солнышко сияет.

Что люблю другую, Я твердил порою, И от лжи мне было Тяжелее вдвое. Ну, теперь ты знаешь Все мои мученья, Так хотя бы слово Молви в утешенье.

Ты хотя бы слово Мне скажи, родная. Что молчишь упорно, Губ не разжимая? Ты сказать не можешь... Нету слов у мертвой... У немой... недвижной... В гробе распростертой!

Пешт. 1845

ДЛЯ ТЕБЯ...

Для тебя я все бы сделал, Светлокудрый мой дружок! Но в любви тебе открыться Запретил суровый рок.

Ну, так что ж я в жизни этой Для тебя, дитя, свершил? Над твоим холодным телом Крышку гроба опустил.

Пешт, 1845

КУДА ИСЧЕЗЛА ТЫ?..

Куда исчезла ты, зачем погасла Моих надежд рассветная звезда? Ужели я ищу тебя напрасно? Увидимся ли мы еще? Когда?

Опустится на землю тьма ночная. Прольет луна холодный блеск лучей. Безмолвие кладбища нарушая, Я над могилою склонюсь твоей.

Очнешься ль ты? Прервешь ли сновиденья? Покинешь ли сырое ложе ты? Услышишь ли, как я шепчу в томленье Слова любви, слова моей мечты?

Очнешься ль ты? Прервешь ли сновиденья? Покинешь ли сырое ложе ты? И ливень слез, что лил я в исступленье, Осушишь ли сияньем доброты?

Очнешься ль ты? Прервешь ли сновиденья? Покинешь ли сырое ложе ты? Согреешься ли от прикосновенья Моей груди под кровом темноты?

Иль мертвецов не отдают могилы? Быть может, там, в заоблачной стране, Мы встретимся?.. Что, если, друг мой милый, Тебя и в небе не покажут мне?..

Пешт, 1845

ХВАТИТ! ОПУСКАЙТЕ КРЫШКУ ГРОБА!

Хватит! Опускайте крышку гроба! Я уже довольно насмотрелся, Чтобы облик светлый и печальный Навсегда во мне запечатлелся, Чтоб он жгучей болью в сердце въелся.

Пешт. 1845

ПЕНЬЕ КОЛОКОЛА...

Пенье колокола скорбью И тоской звучало. Прожила пятнадцать весен Роза — и увяла.

Гроб на паперть был поставлен, Водружен на место, Где стоять перед венчаньем Я мечтал с невестой.

Ангел, девушки хранитель! Хоть из сожаленья Погаси навек мой разум, Дай мне утешенье.

Иль, быть может, злое горе И тебя убило Оттого, что дал увянуть Этой розе милой?

Пешт, 1845

ПРИДТИ НЕ МОЖЕШЬ НАЯВУ

Придти не можешь наяву, — Явись хоть в сновиденье, О многом я бы рассказал Тебе при появленье.

Ведь мы с тобою до сих пор Так мало говорили, Лишь иногда твой быстрый взгляд Мои глаза ловили.

Когда я дом ваш посещал, Ты сразу убегала, Но знаю, — ты сквозь дверь тайком За мною наблюдала.

И эта дверь, и там, во мгле, Мелькающее что-то Мне были милы, как небес Раскрытые ворота.

Когда я уходил — к окну Кидалась ты поспешно, Ты думала — не вижу я, — Но видел я, конечно.

И видел похороны я . . . Стоял я с гробом рядом. И яма та, где ты лежишь, Навек мне стала адом.

Я содрогнулся всей душой, Как от ударов грома, Когда посыпалась земля, Стуча, на крышку гроба.

Придешь ли ты ко мне еще? Всегда готов обнять я Тебя, мой друг, — всегда готов Принять в свои объятья.

Меня коснись, ко мне явись, — За мертвой, за живою В могилу вниз, на небо ввысь Пойду я за тобою.

Пешт, 1845

ЦВЕТКОМ МОЕЙ ЖИЗНИ БЫЛА ТЫ...

Цветком моей жизни была ты; Увяла — все стало пустыней. Ты солнцем сверкала когда-то; Померкла — в ночи я отныне. Мой дух ты на крыльях кружила. Сломались они — не летаю. Была ты огнем в моих жилах; Остыла ты — я замерзаю...

Пешт, 1845

СВЕРКАЕТ НАВЕРХУ ЗВЕЗДА...

Сверкает наверху звезда Всех ярче, чище и светлей, Она горит, она цветет, Все звезды тусклы перед ней.

Мне что-то тихо говорит: «Твоя Этелька — та звезда, Покинь, покинь земную жизнь, Уйди к ней в небо навсегда».

Я к ней бы с радостью пошел, Чтоб исцелиться от тоски, Но вера — лестница моя — Давно разбита на куски.

Пешт. 1845

ДА, ЭТО Я ЗДЕСЬ...

Да, это я здесь, бедный мой дружок, Я посетил могильный холмик твой, Пришел спросить, какие сны тебе Приснились первой ночью под землей.

А я сегодня страшный видел сон. Мне снилось: Солнце за Землей гналось. В отчаянье летела вдаль Земля, Пронзая тьму пустых пространств насквозь.

И Солнце мчалось в ярости за ней Чрез бесконечность звездною тропой, Миры срывая с их привычных мест, Созвездий древний нарушая строй.

Оно, горя, летело все быстрей, Все бешенее мчалось между звезд, Но не могло догнать и, разъярясь, Комету ухватило вдруг за хвост.

И, в Землю бросив, ранило меня, И боль от раны мне тяжка была, Но все ж не так, как боль от раны той, Что ты своею смертью нанесла.

ЧТО ТЫ ИЗДЕВАЕШЬСЯ, ПРИРОДА!..

Что ты издеваешься, природа! С той поры, как умерла она, Посреди зимы вдруг наступила Теплая и яркая весна.

Лед совсем растаял на Дунае, Склоны Геллерта обнажены, Словно для того, чтоб наши чувства Этим были бы оскорблены.

Почему умолкли вы, стихии? Почему кругом такая тишь? Ветер севера, орел могучий, Почему крылами не шумишь?

Почему не гонишься за тучей, Как за птицей раненой стрелок? Птица с неба перья нам роняет, Туча с неба сыплет нам снежок.

Как хотел бы я, чтоб стал подобен Мир прекрасный сердцу моему, Погруженному не в прелесть юга, А в жестокий холод, в злую тьму.

Но, быть может, мудрая природа Вовсе не смеется надо мной, А теплом, полна заботы, веет, Чтоб она не мерзла под землей.

Пешт. 1845

ЛУНА, ЗАЧЕМ...

Луна, зачем ты с любопытством Глядишь в окно? Совсем не так я, как бывало, Живу давно.

Когда, бывало, ты глядела В окно ко мне, Ты видела, что я пылаю, Что я в огне.

Ты видела, как счастье с горем Вступало в бой, Как радость властно шла к победе В борьбе с бедой.

Да, так бывало встарь, а ныне Увидишь ты В моем лице, как в отраженье, Свои черты.

В моем лице отныне холод И немота. Я холоден, как та могила, Как та плита.

Пешт. 1845

ГДЕ ТЫ, ВЕСЕЛЬЕ, — МАЛЬЧИК?..

Где ты, веселье, — мальчик, Шумевший здесь вчера? Тебя печаль сменила — Тоскливая сестра.

Мое, бывало, сердце Возьмешь, и ну играть, И ну свою игрушку Из края в край таскать.

Но вот ты о могилу Споткнулось вдруг, — и там Твоя игрушка — сердце — Разбилась пополам.

Пешт, 1845

ПАДАЮТ С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ ЗВЕЗДЫ...

Падают с небес на землю звезды. Падают из глаз на землю слезы.

Отчего, не знаю, льются звезды, Над могилой, знаю, льются слезы.

Тихо слезы падают и звезды, Словно лепестки увядшей розы.

НУ, ЧТО В ТОМ СТРАННОГО?..

Ну, что в том странного, друзья, Что иногда случайно я Вдруг улыбнусь чему-нибудь? Яснеет и небесный свод... Однако, солнце лишь блеснет — У бедной тучи рвется грудь.

Пешт. 1845

... РОМ ВАЦИМ И ВОМ АНЕИЖ

Жизнь моя и милая моя Жили в сердце у меня вдвоем, И надежда, как зеленый плющ, Оплетала их волшебный дом.

Милая в подземный дом ушла, В глубине осталась навсегда, В доме этом запертых дверей Не открыть до страшного суда.

Вместе с милой жизнь моя ушла, — До могилы шла за милой вслед, И вернуться в опустевший дом У нее желанья больше нет.

Он совсем разрушен, старый дом, Опустелый, он совсем затих, Лишь надежда — сиротливый плющ — Всё от вздохов шелестит моих. На земле надежда — сирота, От земли она уходит ввысь. Подожди, сомненья острый меч, В стебелек надежды не вонзись.

Развалилось сердце — старый дом. Кто же новым будет в нем жильцом? Что ж, пускай седой отшельник — смерть — Обретет себе жилище в нем.

Пешт, 1845

Я НАД ЕЕ МОГИЛОЙ...

Я над ее могилой, Как статуя застыв, Стоял один, в пространство Недвижный взор вперив.

Так нищий корабельщик В пучину вод глядит, Где все его богатство Погибшее лежит.

Пешт, 1845

КАК ЧАСТО ЛГУТ...

Как часто лгут нам люди, утверждая, Что боль убить способна наповал. Тогда бы не была ты одинока, Тогда бы я с тобою здесь лежал.

15—I. 225

Боль не топор, который вдруг ударом Повалит ствол и говорит: «Умри!» Боль это — червь, который тихо, долго, Но неустанно точит изнутри.

Пешт. 1845

ПРИХОДИ, ВЕСНА...

Приходи, весна! — бывало, просишь Осенью. — Ты счастье мне приносишь. Будет милая в деревне, дома. К ней примчусь, — дорога мне знакома. Пусть лежат сто миль меж мной и ею, — Без труда сто миль я одолею. Утром солнышко зарю обнимет, Вечером ночную тьму подымет. Явится в назначенное время К звездам, как к невольницам в гареме, Месяц, наподобие султана, — Я ж, как тень, за милой неустанно Буду следовать, не отставая, До тех пор, пока любовь живая У нее в груди не встрепенется, На мою любовь не отзовется Может быть, любовь мою — кто знает? — Поцелуй невесты увенчает. Приходи, весна. Венок душистый Подарю своей невесте чистой.

Приходи, весна. Венок печальный Я на крест повешу погребальный.

ГЛЯНЬ, ЦЕЛУЕТ КРЕПКО...

Глянь, целует крепко Землю солнце молодое. Глянь, лучи играют Со старушкою землею.

На волне Дуная, На горе, в долине, чаще, На окне, на башне — Поцелуев след горящий.

Солнце так смеется, Столько в нем веселой силы, Будто и не видит Холмика твоей могилы.

Пешт, 1845

ДАЛЕКИЙ ЛЕС, КАК ПРЕЖДЕ, ГОЛУБЕЕТ?

Далекий лес, как прежде, голубеет? Кипит, как прежде, свежею листвой? И в пене весь Дунай, как конь строптивый, Когда, как всадник, вихрь шальной, шумливый На нем гарцует, горяча уздой?

Заря и ныне рдеет, как невеста, И солнце к ней приходит, как жених? Слезами рос и ныне ночь-вдовица Кропит поля и в небеса струится. Смотря на сонмы звезд, сирот своих?

Я дальние когда-то видел дали, Но прежний светлый мир погас, исчез. Тот холм, что милую мою скрывает, От глаз моих вершиной заслоняет Всю ширь земли и весь простор небес.

Пешт, 1845

О, ЕСЛИ БЫ НЕ ТАК В НЕЕ, В ЖИВУЮ...

О, если бы не так в нее, в живую, В светловолосую влюблен я был, Я мог бы в мертвую влюбиться, я бы Ее на смертном ложе полюбил.

Она лежала там, на смертном ложе, Прекрасная, как лебедь на заре, Как чистый белый снег на зимней розе, В убранстве смерти, словно в серебре.

Пешт, 1845

НЕТРОНУТАЯ ПРИУМОЛКЛА ЛИРА...

Нетронутая приумолкла лира. А сколько с нею пел когда-то я О горестях, тобою принесенных, Лежащая в гробу любовь моя.

Нетронутая приумолкла лира. И, звон ее услыша в тишине, Мы вспомним не о музыке оркестра, А только лишь о лопнувшей струне.

Пешт. 1845

МИР И Я

О человек, лишь жалость и презренье Внушает мне обличие твое. Я думаю, что ты — не царь природы, А только раб и пасынок ее. Ведь под конец, в последний день творенья, Жизнь подарил тебе усталый бог: Одна усталость у него осталась, Творить добро и он уже не мог.

А все же я любил тебя когда-то...
Но чем же этот кончился союз?
Два близнеца — презренье с отвращеньем — Теперь растут. И очень я боюсь,
Что никогда и заслужить не сможешь
Ты от меня иного ничего.
Ты раб-тиран! Ты чьи-то пятки лижешь,
Иль от других ты требуешь того!

Коль ты в неволе, жалкое творенье, Так думаешь, что стал рабом и я? Ты думаешь, что мне не безразличны Твоя хула и похвала твоя? Ты думаешь, что может червь тревоги Подтачивать душевный мой покой? Мол, я творю, и все ж трепещет сердце: «А что на это скажет род людской?»

Что ж! Думай так! Но помни, что нисколько Зависеть от тебя не буду я. Иду я прямо и по той дороге, Которую нашла душа моя. И если, будто идола, меня ты Подымешь над своею головой — Коль вознесешь меня ты столь высоко, Твой рабий зуб я вышибу ногой!

Пешт, 1845

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ ПОЭТОМ?

Будь проклят миг, в который зародился Я — будущий поэт. Будь проклят час, в который я впервые Увидел белый свет! Будь проклята и ты, Поэзия! Ведь ты, как паутина, Коварно ловишь нас, Чтоб выпить кровь до капельки единой.

Паук! Привык ты жалить ядовито И кровь мою сосать, Но, как бы крепки ни были тенета, Их можно разорвать! И я их разорву Руками беспокойными моими, А коль вросли они Мне в сердце — вырву сердце вместе с ними!

Паук убийственный, питать горячей кровью Тебя не стану вновь.

Ведь какова была бы мне награда За выпитую кровь? Пусть даже слава... Но ведь и она — Ничто, слепящее глаза поэта, — И ведь еще вопрос, Достанется ль в награду мне и это?

Обыденность, я поплыву с тобою! Пусть, мутен и широк, Течет, не зная скал и перекатов, Твой медленный поток! И не прославлюсь я, В объятья счастья не могу упасть я, Но успокоюсь все ж, — А это — больше половины счастья!

Но дальше что? Замолкнуть мне навеки? Нет! Я не замолчу. Жизнь — словно арфа. Бросить арфу эту Я все же не хочу. Веселье не заставлю я молчать, Пусть не молчат ни боль моя, ни горе! Когда несется шквал, Безгласно ли бунтующее море?

Нет, нет, поэзия! Тебя я не покину, Всегда со мною будь! Тебя питать горячей будет кровью Измученная грудь. Гложи, снедай меня! Я не жалею. И не жду признанья! Творить и песни петь Я буду до последнего дыханья!

СДЕРЖИВАЯ СЛЕЗЫ

Заплакать я хотел. Я так страдал, Так мучился под тяжестью обид. Душа, известно, родственница туч, Ее, как тучу, дождик облегчит. Но я не плачу, плакать не люблю, Я обещал не плакать никогда. Прочь, слезы! В сердце пусто у меня, Вот и пролейтесь в пустоту, туда.

Пешт, 1845

СЛАВА

О слава поэта! Да что ж ты такое? Ты сводишь с ума, ты лишаешь покоя, И кто в этом мире к тебе не стремится И кто не захочет тебе поклониться? И верно: прекрасно ты, дерево славы, В веках твои ветви шумят величаво, И тень их роскошнее царского трона, И время не сломит могучую крону. В восторге сойдутся под ветви вот эти Грядущих столетий веселые дети. То дерево славы листву не уронит, Вовеки его увяданье не тронет, И смерть не сожрет его хладною пастью — Ведь корни его омываются кровью Убитого счастья!

ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ

Как видно, кто-то удавился, — Метель и свищет, и хохочет, Дрожит тарелка над цирюльней И чуть не в пляс пуститься хочет. Кто счастлив нынче? Тот, кто сыт И в теплой комнате сидит.

Поденщик со своей женою Чурбаны пилит. В колыбели Младенец плачет, заглушая Истошным визгом вой метели. Кто счастлив нынче? Тот, кто сыт И в теплой комнате сидит.

Солдат на карауле ходит И ежится в своем мундире. От скуки он шаги считает: Четыре взад, вперед четыре. Кто счастлив нынче? Тот, кто сыт И в теплой комнате сидит.

Словак-лудильщик в куртке ветхой Ногами словно мерит мили. От стужи нос багров, как перец, И слезы на глазах застыли. Кто счастлив нынче? Тот, кто сыт И в теплой комнате сидит.

Актер бродячий с балаганом Бредет, скитаясь по округе. Два дня не ел, притом пальтишко Никак не защитит от вьюги.

Кто счастлив нынче? Тот, кто сыт И в теплой комнате силит.

Цыган дрожит от лютой стужи В шатре, под одеялом рваным. Вдруг, постучавшись, ветер входит, Хоть в гости он не зван цыганом. Кто счастлив нынче? Тот, кто сыт И в теплой комнате сидит.

Как видно, кто-то удавился, — Метель и свищет, и хохочет, Дрожит тарелка над цирюльней И чуть не в пляс пуститься хочет. Кто счастлив нынче? Тот, кто сыт И в теплой комнате сидит.

Пешт, 1845

ВОТ УЖ ПОЛДЕНЬ БЬЮТ НА КОЛОКОЛЬНЕ...

Вот уж полдень быот на колокольне. Да, жара сегодня тяжела! Если бы дорога до могилы Коротка, как тень моя, была!

Мне обед с мальчишкою прислали И вина, чтоб стал я веселей. Ну, и кисло! Не беда, я выпью, Ибо жизнь моя еще кислей.

Жизнь моя, постылая, скупая, Ты меня когда же разочтешь, Ты когда же мне промолвишь: с богом! И к любимой в землю лечь пошлешь?

Пешт, 1845

ВИХРИ, МОЛНИИ И ПТИЦЫ...

Вихри, молнии и птицы, Как они ни мчатся, А за алфельдским бетяром Все ж им не угнаться.

Утром лошадь в Кечкемете Крадет его милость — У Сентмартонского брода К ночи очутилась.

Будет конь назавтра продан Где-то в Фехерваре, И другой украден будет Там же на базаре.

А затем вы разглядите, Если очи зорки, В Бечкереке он гарцует На скамье для порки!

ВИНОГРАДНИКА ОГРАДА...

Виноградника ограда В сорняках укрылась, В репее красноголовом Сука ощенилась.

Эй, пастух, щенят вот этих Не топи ты в луже, — Ведь жена твоя красива И шалит к тому же.

Возле дома ухажеры Рыщут, словно воры. Пусть же черти разбегутся От подросшей своры!

Пешт, 1845

РАЗЛИЛАСЯ РЕЧКА...

Разлилася речка, Бурно волны мчатся. Мне к тебе за речку Нынче не добраться... Мостик и плотину Унесло разливом, И плывут обломки По волнам бурливым. Я гляжу на волны, На пригорке стоя... Через речку голубь Пролетел стрелою.

Я не знаю — это Голубь сизокрылый Или вздох мой тяжкий Улетает к милой?...

Пешт, 1845

ПЕШТ

Да, Пешт есть Пешт, и нет сомненья в этом! Я Пешту — друг, клянусь пред целым светом, Горой, где нужно, за него стою. Живал я здесь, бывало, как в раю. Пройду вдоль улиц — и, даю вам слово, Уж я счастливей ангела любого. Всему дивлюсь, и взгляд мой, точно змей, Скользит, ползет по тысячам людей. И всё кругом так интересно, ново, Что сердце, право, выскочить готово. Здесь — пойман вор, там — драка И скандал. Тут человек под экипаж попал, А там торговки спорят и бранятся. Ну, словом, есть от скуки чем заняться, Что посмотреть. Придет погожий день — Глазей на женщин всяк, кому не лень. Красавицы, франтихи, фу ты, ну ты! Фасад раскрашен, зад — как бочка, вздутый. И тут же франты, — молвить не в укор: Ну, словно ты попал на скотный двор!

Пешт. 1845

ОРБАН

Угрюмый, мрачный человек Был Орбан, Хоть нос его всегда пылал Восторгом.

Но потому и тосковал Наш Орбан, Что нос его всегда пылал Восторгом.

А впрочем, был тому виной Сам Орбан, Что нос его всегда пылал Восторгом!

Поток вина в себя вливал Наш Орбан — Нос потому и воспылал Восторгом!

Пешт. 1845

К СУДЬБЕ

Любовью той, которую люблю я, Мне завладеть, судьба, ты помоги. Тебе в обмен за это уступлю я Что хочешь... ну... хоть все мои долги!

СОЛНЦЕ

Ну, а солнце? Что — солнце? Не солнце оно, А, собственно говоря, Это нечто вроде огромного Мыльного пузыря!

Тот пузырь великан-мальчик Выдувает в утренний час, Чтобы вечером лопнул на западе, Точно так же, как в прошлый раз.

Пешт, 1845

ВО ВРЕМЯ ПИРУШКИ

Мои друзья, как прежде, веселитесь, А я забыл веселье уж давно. Все тщетно: песни, шутки, острословье, И даже ты, кипучее вино!

Какая польза в мыслях человеку? Судите сами, я ль не сумасброд! Когда кипит веселье в настоящем, Меня уж мысль в грядущее влечет.

Грядущее! Безжалостная буря, Что расшвыряет нас во все края! Услышим ли еще мы друг о друге, Увидимся ль когда-нибудь, друзья? Услышим, да, о нас расскажет слава: Их больше нет... они ушли — куда? На что нам жизнь! Зачем ее нам дали? А дали — почему ж не навсегда?

Пешт, 1845

О МОИХ ПЛОХИХ СТИХАХ

И я бы мог без отдыха Писать хорошее, Но иногда из жалости Пишу поплоше я.

Когда б я исключительно Творил прекрасное, Что делали бы критики Мои несчастные?

Известно, что отбросами Они питаются, Так пусть получат, бедные, Что причитается.

Пусть гложут, нажираются И наживаются. Они ведь тоже все-таки Людьми считаются.

Пешт. 1845

BECHA

Синь Небес. Красна Весна.

И высоко, где синь такая, Веселый жаворонок вьется, Поет он, солнце окликая, А солнце смотрит и смеется.

Синь Небес. Красна Весна.

Красна весна, и день чудесный, А я, глупец, не вылезая, Сижу в своей каморке тесной, Стихи задумчиво слагая.

Пешт, 1845

на волю!

На волю! В лес! Весна играет в нем Под ясным куполом небес. Эй, театралы, не хотите ли Услышать ряд милейших пьес?

Взойдя на сцену превосходную, Исполнит соло соловей,

И кто бы из артистов оперных Мог песню спеть еще милей?

Взгляните в бенуар кустарников, Где, восхищенья не тая, Фиалки эти синеокие Внимают трелям соловья.

Весь мир в восторге. Чутко слушают. И все полно горячих чувств. И лишь седые скалы-критики Молчат... Ни слова с хладных уст.

Эперьеш, 1845

ВЕНГРИЯ

Тебе, дорогая отчизна, Хозяйкою быть не дано: Обуглилось снизу жаркое, А сверху — сырое оно.

Счастливцы живут в изобилье — Объелись и все-таки жрут, А бедные дети отчизны В то время от голода мрут!

Эперьеш, 1845

ЛЕСНОЕ ЖИЛЬЕ

(Поэтическое соревнование с Керени и Томпой)

Как таят от взоров первую влюбленность, — Прячут горы эту бедную лачугу. Не боится бурь соломенная крыша, Хоть бы ураган шумел на всю округу.

Шелестящий лес соломенную крышу Приодел сквозною кружевною тенью. Щелканье скворцов доносится из чащи, Горлинки воркуют около строенья.

Пенистый ручей проносится скачками С быстротой оленей, чующих облаву. В зеркало ручья, как девушки-кокетки, Смотрятся цветы речные и купавы.

К ним летят и льнут поклонники роями — Пчелы из лесных своих уединений, Пьют блаженства миг и, поплатившись жизнью, Падают, напившись до изнеможенья.

Это видит ветер и бросает в воду Тонущей пчеле сухой листок осины. Только бы ей влезть в спасательную лодку, Солнце ей обсушит крылышки и спину.

А на холм коза с набухшими сосцами Завела козлят под самый купол неба. Козье молоко да свежий мед пчелиный — Вот что здешним людям нужно на потребу.

И скворцы свистят, и горлинки воркуют, Не боясь сетей и козней птицелова.

Слишком дорожат свободою в лачуге, Чтоб ее лишать кого-нибудь другого.

Здесь ни рабства нет, ни барского бесчинства, Только временами в виде исключенья Молния сверкнет да гром повысит голос И во всех вселяет вмиг благоговенье.

Милостив господь и долго зла не помнит — Затыкает глотки облакам-задирам, И опять смеется небо, и улыбкой Радуга сияет над ожившим миром.

Эперьеш, 1845

В АЛФЕЛЬДЕ ШИНКОВ НЕМАЛО ЕСТЬ...

В Алфельде шинков немало есть! Ну, а лучший-то который здесь? Самый лучший называется «Зайди!» Вот другой такой попробуй-ка найди!

Он шатается, совсем готов упасть, Будто гость, вина вкусивший всласть... Даже крыша набок — точно так, Как бывает шляпа у гуляк.

Кешмарк, 1845

ОЙ ТЫ, КОНЬ...

Ой ты, конь, прекрасный конь мой сивый, С золотым отливом ты, красивый! Ты Звездой зовешься, конь могучий, Ты летишь быстрей звезды падучей!

Соскочила у тебя подкова. Подкует кузнец тебя, и снова На тебе, мой конь, я буду мчаться, Чтоб с румяной розой повстречаться.

Что углей кузнечных блещет жарче? Лишь глаза у розы блещут ярче! От углей железо мягким станет, — Мякнет сердце, если роза глянет!

Игло, 1845

В АЛЬБОМ Б. А.

Да! Мы живем в торгашеское время! Планету принимают за монету... Но если мир монета, кто ж — поэт? Нет, он не ржавчина на талере вселенной! Скорей — изображение монарха... Нет, не изображение монарха, А серебра звончайший, чистый голос, Душа прекрасная материи ничтожной, — И потому гордись, что ты поэт.

Варгеде, 1845

ТОСКА ЛЮБВИ

Да, я хотел бы полюбить опять... Что стоит сад без роз?.. Твердят: живи! Но что же стоит молодость моя, Что стоит жизнь пустая, без любви?

Любовь... Однажды я уже любил, Любви всю горечь я испил сполна. О, эта горечь горькая любви, Всего, что знал я, сладостней она.

Но если так блаженно хороша Несчастная любовь, то как сладка Любовь счастливая, когда она Спокойно в сердце спит, тиха, кротка!

Душа моя! Ища себе гнездо, Бездомной птицею летаешь ты. Найдется ль девушка, что приютить Захочет в сердце все мои мечты?

Хоть о любви мечтаю я опять, Но мертвую мне не забыть вовек... Так у подножья гор цветет цветок, Когда вверху еще белеет снег.

Пешт, 1845

ПЕТИ ЛИЛЬОМ

Пети Лильом, парень бравый, Всем он был хорош! Никого ему под пару Больше не найдешь. Жеребцов он самых злобных Объезжал, смирял, И драконов семиглавых Он бы покорял!

Нипочем была для Пети Порция вина, От которой вся компанья Вдрызг была пьяна.

И какую бы деревню Он ни посетил, Всем девчонкам деревенским Головы крутил!

Почему ж повешен Пети? Только потому, Что однажды Банди Андял В душу влез ему!

Пешт, 1845

ЛУННАЯ НОЧЬ

Восходит луна серебряной лирой, А струны — лучи луны. Прозрачными, легкими пальцами ветер Касается каждой струны.

К селу приближается медленно странник. Быть может, он и поэт. Таким очарованным, пристальным взглядом Он ловит лунный свет.

Заходит в село замечтавшийся странник, Высокой луной озарен. В селе тишина, тишина немая. За всеми окнами — сон.

И только церковного певчего дочка У дома рыдает навзрыд. Вечер прохладен, и все ее тело Под платьицем легким дрожит.

«О чем ты, прекрасная девушка, плачешь В такую ясную ночь? Бледны твои щеки, как свет этот лунный. Могу ли тебе помочь?

Если ты плачешь о друге неверном — Другом меня назови. Верь, что никто еще в мире не видел Вернее моей любви.

Красивая девушка, будь мне луною — И жизнь моя будет светла. Пусть ночь неизменно стоит надо мною, Чтоб только луна не зашла!»

Ни слова в ответ не промолвила дева, И вздох ее ветер унес. В дрожащей руке она крепко сжимала Платочек, тяжелый от слез.

Луна заглянула в оконные стекла, И луч ее дом осветил. За окнами в горнице певчий церковный, Напившись, жену колотил.

Хатван, 1845

ЧЕРНЫЙ ХЛЕБ

Почему же ты вздыхаешь, мать? Хлеб твой слишком черен? Потому? Мол, другие люди белый хлеб Предлагают сыну твоему? Полно, мать! Отрежь еще ломоть. Как бы черен ни был хлеб — он твой, Он милей, чем самый белый хлеб Где-нибудь под крышею чужой.

Силксентмартон, 1845

МОЕ ВООБРАЖЕНЬЕ

Толкуйте! Этот вздор Не стоит возраженья, Что будто — раб земли Мое воображенье! Нет! По земле идет Оно куда угодно И сходит в недра недр Привольно и свободно, И в глубину глубин, Как водолаз, ныряет, А глубже, чем сердца, Бездн в мире не бывает! Но крикну я: «Взлети!» И вот оно, чудесней, Чем жаворонок сам, Взлетает к небу с песней! Стремительных орлов В единое мгновенье Способно перегнать

Мое воображенье. И отстают орлы, За ним не в силах гнаться, И там оно летит, Где только тучи мчатся. Но между туч ему Неинтересно, тесно. И вот летит оно Под самый свод небесный. И если в этот час Лик солнечный затмится. Взглянуть в погасший лик Воображенье мчится, Один лишь бросит взгляд — И кончится затменье, И солнцу свет вернет Мое воображенье. Но даже и тогда Оно не отдыхает. До самых дальних звезд Тогда оно взлетает. И, вырвавшись за грань Господнего творенья, Там новый мир создаст Мое воображенье!

Пешт, 1845

постыдный мир!

Постыдный мир! Что ты затеял вновь, Чтоб ранить сердце мне? А! Что ты ни готовь — К любой беде привычен я вполне:

Тем, кто сошел с проторенной тропы, Всегда грозят колючки и шипы.

И все ж иду! Ломлюсь через бурьян, Хотя не избежал Мучительнейших ран И в кровь мне входит яд змеиных жал. (Змеиных гнезд немало на пути, Я их топчу, чтоб все-таки идти!)

По счастью, средство из волшебных трав Природой мне дано: Сознанье, что я прав, — А то бы змеи добрались давно, Коль не имел бы средства я того, До сердцевины сердца моего!

Змеиное отродье! Растоптал Я множество гадюк, А тех, кого топтать не стал, Растопчет он, соратник мой и друг — Грядущий день! Ведь он, грядущий день, Союзник всех порядочных людей!

Я верю в верность будущего дня! Он покровитель мой! Оставят все меня, Но день грядущий все-таки со мной! С меня он смоет, сдует эту грязь, Что грязный мир швырял в меня, глумясь!

ЖЕМЧУЖИНЫ ЛЮБВИ

ДЕВУШКА ИЗ МЕСТНОСТИ ЧУДЕСНОЙ...

Девушка из местности чудесной! Чудных глаз чиста голубизна! Чудных? Право, нет! Я превратился Из-за этих синих глаз в лгуна.

Говорил я, и в стихах писал я, Что глядел на небеса не раз. Ложь! Не видел я небес, покуда Не увидел этих синих глаз.

Заглянув в глаза твои однажды, Уж от них не отводил я глаз, Как святой не может от распятья Отвести глаза в предсмертный час.

Если бы ты этого хотела, Ты б моим спасителем была, Но не приняла бы мук распятья, А меня, живого, обняла.

Что я говорю!.. Нет, я не смею У тебя любви твоей просить! Разве может бедного поэта Девушка такая полюбить?

Сам господь поэта создал бедным, А господь творит одно добро. Если звонкое у птицы горло, Так на что ей пестрое перо! Нет, поэт простак. Он разве может Девушку себе завоевать? Девушки — они земные звезды, Им, конечно, хочется блистать.

Ну, а ты — моя звезда, родная. Мне никто не в силах запретить На тебя смотреть, коль не могу я На своей груди тебя носить.

Путь мой труден, но слежу глазами За тобою я везде, всегда. Ну, хоть издалёка, хоть не грея, Погляди же на меня, звезда.

Пешт, 1845

В ДУШЕ МОЕЙ

Ты сотворила мир великолепный, То мир любви моей! Пылает в нем Вот это сердце, как огонь священный, Перед тобою, перед божеством.

Меня не любишь ты! Пусть так и будет! Тебя любить не запрещай мне все ж, Иначе между мною и вселенной Последние ты связи оборвешь.

Угрюмый край — души моей владенья, Там ненависть царит — властитель злой. И вот со всей вселенной я воюю, Живу в согласье лишь с одной тобой.

Твой облик, только он один сияет В груди моей, в глухой ее ночи, — Так сквозь оконце в каземат подземный Слетают солнца ясные лучи.

Люблю тебя, хоть знаю — что за ужас Любовь неразделенная моя: Но столько ужасов меня терзали, Что даже с этим совладаю я.

О, горечь от любви неразделенной! Но эту тяжесть я нести готов, Как богочеловек тот крест, на коем И был он распят сам в конце концов.

Пешт, 1845

НОЧЬ СЕЙЧАС

Ночь сейчас. Тиха она, спокойна. О тебе раздумываю я, Мой колючий терн голубоглазый, Ясная жемчужина моя!

Сны вокруг меня на карауле, Но не сплю я, а ушел в мечты: Каждая мечта — как королевство, А его корона — это ты!

Воровство, конечно, преступленье, Но ограбил бы я царство грез И его великие богатства В нищенскую явь бы перенес!

Пешт. 1845

УХОДИТЕ, ВСЕ ДРУЗЬЯ БЫЛЫЕ...

Уходите, все друзья былые, Уходите и закройте дверь! Видите, я стал другим, и роза — Не лоза в гербе моем теперь.

Я навеки стал любви солдатом, Лира уподобилась ружью. Пули — это пламенные чувства, Счастье — это выигрыш в бою.

А победа, о мой бог, победа, — В царство фей дороги нет верней! И когда победу одержу я, Королем я стану в царстве фей.

Пешт, 1845

ТЫ, ВЗГЛЯНУВ ИЗ СВОЕГО ОКОШКА...

Ты, взглянув из своего окошка, Видишь сад под небом голубым. (Если б жизнь твоя была такою, Как виденье за окном твоим!)

Да, ты счастлива, моя родная, Что вокруг тебя сияет сад, И, однако, сад еще счастливей, — Ведь в него твои глаза глядят.

Геделле, 1845

ВОСКРЕСЕНЬЕ ЭТО НЕ ЗАБУДУ...

Воскресенье это не забуду. Были мы в саду, и ты цветы Собирала, связывала вместе. Солние нам смеялось с высоты.

И когда букет — какая странность!.. — И когда букет твой был готов, Мне его ты подарила... Радость Выразить мою не хватит слов.

Да, ты мне букет свой подарила! До сих пор у сердца моего Я его храню. Раскрой мой саван — И на сердце ты найдешь его.

Твой букет и это сердце будут В тесном гробе вместе истлевать... Под твоими милыми цветами Сердцу будет сладко отдыхать.

А пока я жив, букет твой служит Мне щитом. Ведь мне так нужен щит! Пусть весь мир со мной вступает в битву, — Щит меня спасет и защитит.

Пусть же стрелами меня осыплют Злость, коварство, горе, клевета, — На врагов взираю с сожаленьем Я из-за цветочного щита.

Буда, 1845

милый доктор

«Милый доктор, что-то сердцу плохо! — Разуму сказал я своему. — Осмотрите, выслушайте сердце, — Может быть, поможете ему!

Вам оно поверит безусловно, Помогали вы ему не раз, Но прошу не медлить ни минуты — Это нужно именно сейчас!»

И вошел к больному врач домашний, Только головою покачал: «Господи! Оно исходит кровью! Как ты этого не замечал?

Юноша! Ты что же сделал с сердцем? Эта рана глубже, чем Дунай! Почему же ты не бережешься? Велика опасность! Так и знай!

Но — терпенье! Сделаю попытку, Хоть ручаться не могу я сам!» — Так сказал он. И накапал в рану Болеутоляющий бальзам.

Сердце молвило: «Бальзам надежды? Ты его решил употребить? Я борюсь со смертью. А надежда Ни спасти не может, ни убить!»

Пешт, 1845

ГРУДЬ МОЯ...

Грудь моя — огромная пустыня: Все песками в ней заметено, Всюду пусто, лишь посередине Дерево живое есть одно.

Тень ветвей то дерево бросает В самые далекие края. Знайте: это дерево в пустыне — Ненависть огромная моя.

Но один силач необычайный Выкорчевать дерево готов. Он избавит свет от черной тени — Великан по имени Любовь.

Пешт, 1845

НЕЧЕГО СУДИТЬ ПО ПЕРВОЙ ВСТРЕЧЕ...

Нечего судить по первой встрече... В первый раз, когда блеснул мне взор твой, Я как будто языка лишился, Неподвижен сделался, как мертвый.

Часто речь моя потоком льется, Всяческими шутками богата, Будто мчатся в лодке, веселятся Лодочника резвые ребята.

Но когда с тобой я повстречался, Показалось — сам себя не слышу.

Так всегда бывает перед бурей: Наступает мертвое затишье.

Я предчувствовал, что буря близко, К урагану грудь свою готовил. Так и вышло. Молниями сыплет Та гроза, что мы зовем любовью.

Дикая во мне бушует буря, Рушит все. Но я терплю... Кто знает — Может быть, как радуга, однажды Мне твоя взаимность воссияет!

Пешт. 1845

ДАЖЕ ЛУЧШИЕ, ЧЕМ Я...

Даже лучшие, чем я, поэты Позабыты, — каждый в свой черед. Ну, а вас, мои стихи и песни, Что вас в будущем, скажите, ждет?

И когда травой моя могила Зарастет, вы будете ль звенеть, Словно лопнувшие струны лиры, Что дрожат и продолжают петь?

Ничего, написанного прежде, Мне не жаль, ничем не дорожу! Пусть одно не трогает забвенье — Только то, что для тебя пишу.

17* 259

Верю я: нетленны и священны Песни, вдохновленные тобой, Полные голубизной небесной, Ясных глаз твоих голубизной.

Пешт. 1845

В СТО ОБРАЗОВ Я ОБЛЕКАЮ ЛЮБОВЬ...

В сто образов я облекаю любовь, Сто раз тебя вижу другой; Ты — остров, и страсть омывает моя Тебя сумасшедшей рекой.

Другой раз ты — сладкая, милая ты, — Как храм над моленьем моим; Любовь моя тянется темным плющом Все выше по стенам твоим.

Вдруг вижу — богатая путница ты, И готова любовь на разбой; И вдруг уже нищенкой просит она, В пыль униженно став пред тобой.

Ты — Карпаты, я тучей стану на них, Твое сердце штурмую, как гром; Станешь розовый куст — вокруг твоих роз Соловьем распоюсь над кустом.

Пусть меняется так любовь моя, но Не слабеет, — вечно живая она; Пусть тиха иногда, тиха, как река, — Поищи, не найдешь ее дна!

Салксентмартон, 1845

ЭТО ПРАВДА, Я ЛЕНИЛСЯ В ШКОЛЕ...

Это правда, я ленился в школе И за партой помирал с тоски. Согласись учить меня, голубка, Я пойду к тебе в ученики.

У тебя уж, верно, я узнаю То, чего нигде узнать не мог. Этому не выучил бы в школе Даже самый лучший педагог.

Ну так что ж, учить меня ты будешь? Или мне в профессоры пойти? Как понять мне, что такое счастье? Ты меня, голубка, просвети!

Говори же, и прошу, не думай, Станешь думать — выйдет невпопад. Сразу говори... иль нет... постой-ка... Все откроет мне один твой взгляд.

Салксентмартон, 1845

ЧАСТО ТЫ ВО СНЕ...

Часто ты во сне ко мне приходишь, Возникаешь чудною мечтой, Потому что разум каждый вечер Перед сном рисует образ твой.

Перед тем, как я глаза смежаю, Мысль последняя, ночная — ты. Так закат охватывает небо Перед наступленьем темноты.

Хочешь знать, какая ты в мечтаньях И какой являешься во сне? Сон мой — краток, ты ж во сне — прекрасна, И с любовью ты смеешься мне.

Если то, что мне приснилось, — правда, Если любишь, дай мне знак тайком, Дай мне знак, прошу тебя, родная, Чтобы счастье не осталось сном.

Ну, а если ты меня не любишь, Не нужна тебе моя любовь, — Лучше спать мне и не просыпаться, Чтобы ты мне снилась вновь и вновь.

Пусть меня господь не будит даже В день, когда настанет страшный суд! Чем на небе без тебя остаться, Лучше уж, чтоб ты мне снилась тут.

Салксентмартон, 1845

ФЛАГ ЛЮБВИ

Флаг любви — мое живое сердце! Борются два духа за него. Дни и ночи длится неустанно Битва из-за сердца моего.

Первый дух — веселая надежда, В снежнобелом одеянье он;

Дух второй — мрачнейшее сомненье — В черные покровы облачен.

Я не знаю, кто кого осилит, Но боюсь такого я конца: Флаг любви — мое живое сердце — Разорвут на части два бойца!

Салксентмартон, 1845

домик мой...

Домик мой совсем убог и низок, Твой дворец огромен и высок, Горе мне! Он так высок, родная, Что в него подняться я не мог.

Но ужель нам вечно жить в разлуке? Ты ко мне с высот своих склонись. Горный ключ с вершин бежит в долину, Солнце с неба тихо сходит вниз.

И, как солнце тихо сходит с неба, Как с горы сбегает в дол ручей, Так и ты, души моей голубка, Из дворца слети и стань моей.

Верю я: внизу, в моей долине, Счастьем ты была б награждена, — Наверху прохладен, светел воздух, Но внизу прекраснее весна.

Со своих высот сойди в долину, Опустись к весне, звезда моя.

Помни: той весны цветы не вянут, Их растил не месяц май, а я.

Осень явится в поля и рощи, Все цветы увидит и убьет, Но глубоко затаенный в сердце Сад любви и осень не найдет.

Нужен ли тебе тот сад, родная? Спустишься ль ко мне? Мой тесен дом, Но и в нем, как в гнездышке две птички, Уместимся мы с тобой вдвоем.

Мне не жаль, что не возьмешь в дорогу Ты своих сокровищ дорогих. Драгоценностей тебе не надо, Ты ведь сердцем затмеваешь их.

Салксентмартон, 1845

ДЕВОЧКА, НЕ С ОДНОГО ЛИ ВЗГЛЯДА...

Девочка, не с одного ли взгляда Сразу ты мне сделалась мила? Вспыхнул я, как дерево сухое, Будто молния его зажгла.

Деревом был! Деревом иссохшим, На котором не растет листва. И прекрасно! Что еще пылает Жарче, чем сухие дерева?

Салксентмартон, 1845

ОТ МИРА ВДАЛЕКЕ...

От мира вдалеке, в уединенье, Под скромным кровом, в мирной тишине, Всю жизнь прожить наедине с тобою... Как сладостно мечтать об этом мне!

Покинуть мир, покинуть поле битвы, Покинуть мир, где вечный длится бой! Да, бьемся мы, а что дадут в награду? Листок лавровый, самый небольшой.

Из-за листочка без конца сражаться? Губить остатки лучших сил своих? Я знаю, лавр лишь прикрывает раны, А вовсе не излечивает их.

Дай руку мне, веди меня, родная! Куда ни поведешь, пойду с тобой. Пойдем как можно дальше, чтоб не видеть, Как здесь, на поле битвы, длится бой.

Веди, веди меня! Бежим скорее, Чтоб не настигло нас в пустых полях Воспоминание о прошлом — птица, Поющая и о моих боях.

Пешт, 1845

С ТОЙ ПОРЫ, КАК В МИЛУЮ ВЛЮБИЛСЯ...

С той поры, как в милую влюбился, Шутки плохи, спятил я с ума. Мысли в голове играют в прятки, В сердце днем и ночью кутерьма. И ведь правда, я творю такое, В чем признаться сам себе стыжусь, Что пристало только сумасшедшим: Я часами в зеркало гляжусь.

Утром говорю я: «Добрый вечер!» Ночью: «Добрый день!» И сколько раз Уходящим говорил: «Прошу вас!» Приходящим: «С богом, в добрый час!»

Вместо щетки я беру чернила, А писать пытаюсь фонарем. Это все — еще пустяк! Но если Я сигару тычу в рот огнем,

Тут уж ясно: я любовью ранен, — Эту рану ты мне нанесла. Девочка, так будь же справедлива, Поцелуй, чтоб рана зажила.

Салксентмартон, 1845

ЕСЛИ ТЫ ЦВЕТОК...

Если ты цветок — я буду стеблем, Если ты роса — цветами ввысь Потянусь, росинками колеблем, — Только души наши бы слились.

Если ты, души моей отрада, Высь небес, — я превращусь в звезду. Если ж ты, мой ангел, бездна ада, — Согрешу и в бездну попаду.

Салксентмартон, 1845

ОСЕННИМ УТРОМ

Я брожу осенним утром в поле, Мир туманом от меня закрыт. Все в клубах белесых потонуло, Только шпиль на церкви чуть блестит.

И природа — словно храм забытый, Где уже не молится народ. Нет цветов, органа звуки смолкли, — Птичий хор не свищет, не поет.

Но в безмолвном, опустелом храме Скоро люди вновь загомонят, Час настанет сбора винограда, Как весною, песни зазвенят.

Весело на сборе винограда! Встарь я думал: то-то благодать Развести большущий виноградник, Виноград янтарный собирать!

А теперь — куда мне виноградник! Дайте гроздь — и буду счастлив я. Мне тебя бы, девушка родная, Сладкая ты ягодка моя!

Салксентмартон, 1845

ВОЙНА ПРИСНИЛАСЬ КАК-ТО НОЧЬЮ МНЕ...

Война приснилась как-то ночью мне, На ту войну мадьяр позвали; И меч в крови носили по стране — Как древний знак передавали. Вставали все, увидев этот меч, Была пусть капля крови в жилах; Не денег звон, как плату, нам беречь, — Беспенный пвет своболы платой был нам.

Как раз тот день был нашей свадьбы днем. Что нашей свадьбы, девочка, короче? За родину чтоб пасть мне под огнем, Ушел я в полночь первой ночи.

В день свадьбы, девочка, уйти на смерть, — Да, правда, это жребий страшный! Но грянет бой, и я уйду, поверь, Как я ушел во сне вчерашнем.

Салксентмартон, 1845

ВСЯ ЖИЗНЬ МОЯ СЕЙЧАС...

Вся жизнь моя сейчас — одно желанье: Тебя завоевать, любовь моя. Но, признаюсь, мне хочется порою, Чтобы остался нелюбимым я.

Мне кажется, что было бы греховно Мою судьбу связать с твоей судьбой. В моей судьбе печальной столько скорби! Так радостен счастливый жребий твой!

Свирепым хищникам на растерзанье Отдать голубку кроткую мою? В кипящее, бушующее море, Толкнув, направить зыбкую ладью?

Вдруг ты, за мною следуя, погибнешь, Как та голубка и как та ладья? Найдешь ли силы вынести те беды, С которыми давно уж свыкся я?

Люби меня! Люби меня — и только! И глаз твоих несчастье не затмит, Ни на мгновенье тень моих страданий Веселья твоего не омрачит.

Не навяжу тебе своей печали... Вот так Земля, что в Солнце влюблена: Лишь в час, когда уходит Солнце с неба, Темна, грустна становится она.

Салксентмартон, 1845

НАД ОСЕННИМ ОПУСТЕВШИМ ПОЛЕМ...

Над осенним опустевшим полем, Как печаль, лежит сырая мгла. Так на сердце грусть воспоминаний Мглой осенней сумрачно легла.

Солнца лик сияющий восходит, И бежит печали мгла с полей. Так, сияя, ты мне улыбнулась, И на сердце стало вдруг светлей.

Милая, не подражай ты солнцу! Лишь затем встает оно во мгле, Чтоб в лучах яснее было видно Увяданье жизни на земле.

Салксентмартон, 1845

ЕСЛИ БЫ

Если бы воззвал ко мне господь: «Сын мой, жизнь твоя идет к концу — Выбирай какую хочешь смерть!» Я сказал бы своему творцу:

«Золотая осень пусть придет, Кротости полна и тишины. Пусть мне песнь прощальную споет Пташка, что отстала от весны.

Как в закатной дымке золотой Солнце исчезает без следа, Пусть замечу смерть, когда она Сядет рядом, — только лишь тогда!

И как птица где-то средь ветвей, Песню допою я наконец, Доходящую до дна сердец И до самой высоты небес.

И тогда замкнешь мои уста Силой поцелуя своего, Девочка прекраснейшая, ты — Лучшее земное существо!»

Если так господь не разрешит, Пусть умру весной я в дни войны, В час, когда в сердцах у храбрецов, Розы распускаются, красны!

Пусть как боевые соловьи Запоют горнисты, а потом

Смерть взойдет из сердца моего Алым окровавленным цветком.

И тогда замкнешь мои уста Силой поцелуя своего, Ты, прекрасная Свобода, ты — Лучшее на небе существо!

Салксентмартон, 1845

СМОЛКЛА ГРОЗОВАЯ АРФА БУРИ...

Смолкла грозовая арфа бури. Вихрь улегся, затихает гром, Как, намучившись в борьбе со смертью, Засыпают непробудным сном.

Восхитителен осенний вечер. В ясном небе только кое-где Облака, следы недавней бури, Сохраняют память о беде.

Крыши деревенских колоколен Покрывает золотом закат. Хутора в морях степных миражей Кораблями зыбкими висят.

Беспредельна степь! Куда ни глянешь, Вся она открыта и ровна. Нет и сердцу ни конца, ни края, И куда ни глянь, любовь одна.

И, под тяжестью любви сгибаясь, Сердце может рухнуть невзначай,

Как надламывает ветви яблонь Слишком небывалый урожай.

Сердце, полное любви, как кубок, Пей, подруга, только не пролей, Чтобы я не пожалел, что смерти Не дал выпить этой чаши всей.

Салксентмартон, 1845

мой портрет

Вот душа моя — в портрете этом! Я тебе дарю его. Храни! Пусть никто мою не ценит душу, Только ты, о девочка, цени!

Вот душа моя! Она открыта, Будто книга... Все ее берут, Все хватают, все ее читают, А бывает — и листы дерут!

Вот душа моя — кольцо стальное, В нем немало самоцветов есть. Но из всех алмазов самый ценный — Это незапятнанная честь!

Вот душа моя — неколебимой Мраморной колонной вознеслась. Но ведь взгляда твоего довольно, Чтоб колонна эта затряслась!

Вот душа моя, как будто туча Гнев грозы швыряет с высоты.

Но не бойся! Этих молний пламень Сокрушит дубы, а не цветы!

Вот душа моя на колеснице Мчится в небе, как пророк Илья. Позови — и откажусь от неба И от славы, девочка моя!

Салксентмартон, 1945

ты ответь...

Ты ответь: когда я успокоюсь? Видно, не дождусь такого дня! Девочка, скажи мне: что ты хочешь, Что ты мучишь, что казнишь меня?

За какую ты мне мстишь обиду? Я тебя не думал обижать, Но, быть может, этим и обидел, Что посмел любить и обожать?

Ведь страдаю я, как не страдало Ни одно живое существо. Бьет меня и собственное сердце, — Подкупила, что ли, ты его?

Если раньше только день короткий Был скамейкой пыток для меня, Все же ночь мне приносила отдых, А теперь ни ночи нет, ни дня.

Сон летит ко мне, как сизый голубь, Но поймать я не могу его.

18 — I. 273

Птица боязливая, боится Клокотанья сердца моего.

Сердце бьется, как мятежник дикий. Девочка, уйми его, молю! А не то в отчаянье однажды Я возьму его и прострелю!

Салксентмартон, 1845

ДУМАЛ Я...

Думал я, что зависть и коварство Лишь людские свойства... Думал я И ошибся, потому что сходны Как две капли небо и земля.

Мира нет ни на земле, ни в небе: Битва вековечная, мятеж! Жажда власти и порабощенья Тут и там всегда одни и те ж!

Без конца воюют меж собою Ночь со Днем, друг друга гонят прочь. Ведь рассвет с закатом что такое? — Кровь, что льют, сражаясь, День и Ночь!

А луна — тиранка-королева — Звезд-холопок забрала под власть: Горе звездочке, сверкнувшей ярче, — Повелят в изгнанье ей упасть.

Сколько их, изгнанниц с небосвода! Падают, бедняжки, что ни ночь! Девушка, да ты уж не звезда ли, Злой тиранкой изгнанная прочь?!

Салксентмартон, 1845

СТРАННЫЙ СОН

Девочка, мне снился странный сон: В сердце уколола ты меня, И, по каплям вытекая, кровь Розами всходила краше дня.

Что же значит сон мой? Ничего.... Иль одно — что такова любовь: Сердце до смерти она томит, Но терзаний этих жаждем вновь.

Салксентмартон, 1845

В ДЕРЕВНЕ

Теперь меня всегда по вечерам Провозглашает королем закат, И солнце на прощанье багрецом Окрашивает мой простой наряд.

С восторгом по окрестностям брожу. Кругом клубится пыль до облаков. Из степи гонят скот домой. Звенят Нестройно колокольчики коров.

18* 275

Самозабвенно вглядываюсь в даль. Самозабвенно вслушиваюсь в звон. Везде, везде, насколько видит глаз, Лишь степь, да степь, да синий небосклон.

Теряясь в этом море, там и сям Маячит дерево, как островок, Протягивая тень во всю длину, Как мусульманин руки на восток.

Как раненный в сраженье богатырь, Исходит солнце кровью на заре. Луна и звезды выплывают вслед Посмертной славой о богатыре.

Теперь кругом сияющая ночь. Так тих и бездыханен небосвод, Что различимо, кажется, о чем Давида арфа на луне поет.

Над озером, покинув камыши, Косяк гусей летит средь темноты. Так улетают из моей души Мои честолюбивые мечты.

Я забываю Пешт и суету, И планы горделивые свои И думаю: как славно было б жить В безвестности, вдали от толчеи!

Меня не манит блеск больших имен. Мне б виноградник да земли клочок, Да был бы красного вина глоток, Да был бы хлеба белого кусок.

Да был бы угол, чтоб, придя с полей, Вкушал я средь домашней тишины Свой белый хлеб и красное вино Из белых рук красавицы жены.

Да чтобы смерть в один и тот же час Постигла нас пожившими, в летах, И чтобы внуки, искренне скорбя, В одной могиле схоронили прах.

Салксентмартон, 1845

СТАРЫЙ ДОБРЫЙ ТРАКТИРЩИК

Здесь, откуда долго ехать до предгорий, На степном низовье, средь цветущих далей, Провожу я дни в довольстве на просторе, Не тужу, живу, не ведаю печалей. Постоялый двор — мое жилье в деревне. Утром тишина, лишь ночью шум в прихожей. Старый добрый дед хозяйствует в харчевне, — Будь ему во всем благословенье божье!

Здесь я даром ем и пью и прочь не еду. Сроду не видал ухода я такого. Никого не жду, садясь за стол к обеду, Опоздал, войду — все ждут меня в столовой. Жалко лишь, с женой своей трактирщик старый Ссорится подчас, — характером не схожи. Впрочем, как начнет, так и кончает свару, — Будь ему во всем благословенье божье.

С ним толкуем, как он в гору шел сначала. То-то красота, ни горя, ни заботы!

Дом и сад плодовый, земли, капиталы, Лошадям, волам тогда не знал он счету. Капитал уплыл в карманы к компаньонам, Дом унес Дунай со скарбом и одежей. Обеднел трактирщик в возрасте преклонном, — Будь ему во всем благословенье божье!

Век его заметно клонится к закату. В старости мечтает каждый о покое, А старик несчастный поглощен проклятой Мыслью о насущном хлебе и тоскою. Будни ль, праздник, сам он занят неустанно, Раньше всех встает, ложится спать всех позже. Бедствует трактирщик, жалко старикана, — Будь ему во всем благословенье божье!

Говорю ему: «Минует злополучье, Дни удач опять вернутся в изобилье». «Верно, говорит, что скоро станет лучше. Спору нет — ведь я одной ногой в могиле.» Весь в слезах тогда от этого удара, К старику на шею я бросаюсь с дрожью. Это ведь отец мой, тот трактирщик старый, — Будь ему во всем благословенье божье!

Салксентмартон, 1845

МОЯ МОЛИТВА

Моих грехов всегда страшилась мать — Страшилась, я скажу, не без причин. Ее пугало, что не хочет сын Молиться богу, церковь посещать. Итак, молюсь: вот руки я скрестил,

Вострепетал, благоговею весь. Услышь меня, владыка мира, днесь, Услышь меня, о царь небесных сил!

Во-первых... да! Во-первых, о моем Отечестве. — О всемогущий бог, Что для него я попросить бы мог? Ведь столько бед нагромоздилось в нем! Я только об одном бы попросил: Ему таким вот — долго не прожить. Ты заново нам должен сотворить Отечество, о царь небесных сил!

А для себя о чем просить творца? Красавицу-подружку я б хотел, Коня, чтоб к милой мчаться после дел, И лавры, лавры, лавры без конца. Но не затем, чтоб я увенчан был, А — если выйдет сено у меня, — Чтоб лаврами я мог кормить коня... Услышь меня, о царь небесных сил!

Салксентмартон, 1845

УЖ КРАСНОТОЙ ПОДЕРНУТ ЛИСТ...

Уж краснотой подернут лист. В густых Ветвях свистит, свистит осенний вихрь. Роса в лугах, а солнце, как в золе, Пастух, бетяр мечтают о тепле.

Пастух еще найдет себе очаг, Найдет еду, вино больших баклаг. Когда все съест и выпьет все до дна, В постели рядом будет спать жена.

Нет у бетяра очага в дому, Бренчат повсюду кандалы ему, В сухих кустах ютится без огня, Ночей осенних холода кляня.

Демшед, 1845

ТУЧИ И ЗВЕЗДЫ

Когда господь наш сотворил мужчину, — На божий лоб, на божии глаза Спустился мрак. Из мрака глаз господних Возникли тучи, родилась гроза.

Когда он создал женщину — сияли Восторга слезы у него в глазах, И до сих пор те радостные слезы Созвездьями сияют в небесах.

Цинкота, 1845

ОДНОМУ КРИТИКУ

Сударь! Есть, как вам известно, У меня черта дурная: Господу и человеку Правду я в глаза бросаю!

Сударь, вы не бог небесный, И не великан вы даже, — Почему же мне всю правду Вам не высказать тотчас же?

Сударь! Ваша вредоносность Не страшна мне, уверяю, Ибо отдавать в цензуру Ничего я не желаю.

Сударь! Все-таки должна же Быть душа в груди поэта! Вам же, как я вижу, губка Всунута в пространство это!

Сударь! Губка не пылает, Искр от губки не бывает, И кремнем из этой губки Пламя тшетно высекают.

Сударь! Если бы не знал я Вас как горе-виршеплета, Я бы думал, что вы, сударь, Asinus ad lyram — вот кто!

Сударь! Ваш отец — сапожник Не последний в Кечкемете... Почему ж трудом отцовским Не хотят заняться дети?!

Пешт, 1845

последний человек

Что надо мною? Небосвод Иль свод могильный здесь встает? Да! Под могильным этим сводом Лежит земля огромным гробом. А этот свет над головой — То солнце? Нет! Светильник тусклый Окрасил в красно-желтый цвет Глухую тьму могильной ночи. Молчание. Но что я слышу? Как будто что-то зазвенело! Быть может, это птичье слово Иль песнь девическая? Нет, Тот жалкий звук рождают черви, Грызя лежащих неподвижно, С навек закрытыми глазами, Жильцов гробницы — мертвецов. Да! Навсегда закрылись очи, В которых некогда пылало Любви и ненависти пламя,

И из которых так похабно Выглядывали чванство, зависть, Подобострастие и злость, Как проститутки из окошек Домов терпимости! Навеки Закрылись очи мертвецов! И сердце — этот малый ад, Который вечно был приютом Для сотен дьяволов различных И где пылал неистребимо Костер злодейств, — остыло сердце! Всему конец! Бесчестье сдохло, Измена родине и другу И остальных чудовищ стадо, Которое брело повсюду По человеческому следу, — Всё, всё исчезло навсегда! И даже эти угрызенья Нечистой совести — от них И следу даже не осталось, — Давным-давно они скончались, И люди, что родились позже, О них лишь понаслышке знали... Всему конец! Всему конец! Все спит отныне непробудно. Сердца остыли, очи гаснут. И только я еще не умер Вот здесь, в гигантской пустоте Кладбищенского склепа — мира, И размышляю: «Почему же Ты, Смерть, запаздываешь в гости? О, почему ты не идешь? Боишься, что бороться буду? Не бойся! Я не тот, что прежде, Когда я шел с отважной грудью

Навстречу миру и судьбе. О Смерть! Я не обороняюсь! Иди смелей! Тебе я сдамся. Я буду, как бессильный голос, А ты — как вихрь! Умчись со мной!»

Пешт, 1845

НЕВЕРНЫМ ДРУЗЬЯМ

Ну что ж, ребята! С богом! Киньтесь прочь. Вы видите: как дерево, точь-в-точь, Вот это сердце, на котором вы Висели, наподобие листвы... Осенний ветер, что сдувает вас, Ведь он не вечен! И в урочный час Придет весна. И новая листва Стремительно покроет дерева. Но знаете ли: вновь не расцветет Тот лист, который с древа упадет!

Пешт. 1845

поэта сердце — сад цветущий...

Поэта сердце — сад цветущий, Цветут для всех цветы его, А для поэта остаются Шипы, и больше ничего.

А мотылек — душа поэта! Порхает он, бедняга, тут,

Летит с куста на куст, покуда Шипы его не разорвут.

Но уж, конечно, не приходят На ум ни сад, ни мотылек Всем тем, кто смотрит на поэта, На жертвенный его венок.

Пешт, 1845

ЮНОСТЬ

Бесстрастно старцы говорят: «О, приглуши Ты, юноша, безумный жар Своей души!» Напрасно старость речь ведет — Лишь эхо жизни голос тот.

Да, не совсем разумно я
Порой живу:
Не ум, а сердце на совет
К себе зову!
Но все ж и голова нужна,
Там шляпа быть с цветком должна!

Советник — сердце у меня, И неплохой: Его предчувствия острей, Чем разум мой. Так сердце в юности горит. Что тьму любую озарит.

В недобрый час, когда кругом Темным-темно, Зимою бедствий греет нас Оно одно. От стужи разум бы не спас, Но сердце согревает нас!

Знай, старость: не произойдет Прискорбных дел, Коль брызнет молодой огонь Через предел! Огонь пускается в поля, Чтоб сделалась щедрей земля!

Пешт. 1845

СКОРБЬ И ЛИКОВАНЬЕ

Как я горюю! О, как я горюю! Горшего горя не знаю! Львиною клеткой становится Клетка грудная. Сердце ягненком в ней мечется, Рвут его львы, Кровь его пьют, Кости грызут, Мозг норовят его высосать Алчные львы... Если ж ликую, О, как я ликую! Райской оградой становится Клетка грудная! Сердце — как роза качается

В райском саду!
Солнца лучами
И мотыльками
Роза играет.
Около розы звенит соловей,
Ангел является,
Розу срывает,
Розу целует,
К груди прижимает —
И возвращается с ней в небеса!

Пешт, 1845

ПЕРЕД РОЗЫГРЫШЕМ

Ведь двести тысяч! Даже вслух Не говорю я, а шепчу... Чертовски важен стану я, Коль двести тысяч получу!

Куда ж я деньги помещу? А помещу куда хочу, Но видит бог, что — не в сундук! Сундук я не отягощу!

Как выиграю, поскачу Тотчас же к господину Тот. Возьми, добрейший Гашпар Тот, Все, что тебе я должен! Вот!

Тут за наличный я расчет К зиме одежду закажу. Зима близка... Я и сейчас В ее предчувствии дрожу! Вот будет славно, вам скажу! Мороз меня не бросит в дрожь, Ты слышишь, господин мороз, Получишь шиш и отойдешь!

А вдруг не выиграю? Что ж! Не выйдет, так и бог с тобой! Одежда зимняя? Пустяк! Привычен к стуже я любой!

Пешт. 1845

Я И СОЛНЦЕ

Иные глядят на луну и томятся — Мила им луна, этот вздох воплощенный. По мне же, хоть век бы ее не бывало! Не висну на ней, как мечтатель влюбленный!

О солнечный луч, красоты воплощенье, О луч, преисполненный ласки и зноя, — Ты радость моя, ты мое наслажденье, Глазами я жажду тебя и душою.

Мы с Солнцем влюбленные! Двое влюбленных! И только в одном я еще сомневаюсь: Я ль Солнце пригрел возле пылкого сердца, Иль около Солнца я сам согреваюсь?

И если судьба меня сгонит в могилу, Одно только я огорченье предвижу: Любимое Солнце, прекрасное Солнце Из темной могилы, увы, не увижу! Но есть и у мертвых мгновенья свободы: Господь мне позволит, нарушив законы, Из гроба вставать не в зловещую полночь, А в ясный и солнечный час полуденный!

Пешт, 1845

КОНЕЦ РАЗБОЯ

Эх, разбой, веселая затея! Кончишь, вор, еще ты веселее, Уж и ветка для тебя готова, — Ветвь сухая для плода гнилого.

Порешишь расстаться с белым светом — Палачи тебе помогут в этом. Чтоб глаза не маялись позором, Выклюет тебе их черный ворон!

И пока под непогоды дудку Труп в петле танцует танец жуткий, Где-то в глубине чертога смерти В мяч с душой твоей сыграют черти!

Пешт, 1845

ОДНОМУ МОЛОДОМУ ПИСАТЕЛЮ

Юный мой собрат по ремеслу, Друг любимый, рад твоей я славе! Помнишь — я предсказывал тебе? Предсказанье это стало явью!

19 — I. 289

Маленьким ты облачком возник, Я сказал: ты в бурю превратишься. Так и вышло! Нынче над землей Ты чреватый молниями мчишься!

Так мечи же молнии души, Пусть весь мир их пламенем зажжется! Громовое слово услыхав, Дрогнет пусть земля и затрясется!

Чем грозней ты станешь, тем сильней Будет вопль тобою недовольных. Чем ужасней бешенство стихий, Тем сильней набат на колокольнях!

Но несется дальше ураган, Несмотря на всякие набаты. Значит, друг, не слушайся людей, И не падай духом никогда ты!

Путь мой тяжек... Что и говорить! Но всего, пожалуй, тяжелее, Что беспомощные голоса Я дарил вниманием... Жалею!

Ну, а впрочем, что уж там жалеть! Дай мне руку для рукопожатья, Юный воин! Ведь давным-давно О таком я и мечтал собрате.

Очень ты обрадовал меня: Не один я нынче в нашем войске! Ну так что же, друг! Начнем борьбу — Победим или умрем геройски!

ΤΟΡΓ

«Глянь-ка, парень, сколько денег — не сочтешь! У тебя куплю я бедность. Продаешь? Я за бедность кошелек весь отдаю, Но в придачу дай мне девушку свою.»

«Если б это лишь задаток был от вас, Да на выпивку б мне дали во сто раз, Да весь мир еще в придачу заодно, — Я бы девушку не отдал все равно!»

Салксентмартон, 1845

АХ, ЧТО ЗА МИЛЫЙ У МЕНЯ!..

Ах, что за милый у меня! Он будто создан для коня: Умеет на коне сидеть Он так, что любо поглядеть.

Он часто у меня гостит, Вот и сейчас ко мне спешит. Так жеребец его летит, Что чуть не растерял копыт.

Эй, дочка старого судьи, Что смотришь в окна ты мои? Мой милый не в тебя влюблен, С тобой не хочет знаться он.

Ну, золотко, сойди с седла! Ты видишь — я тебя ждала. Быстрее расседлай коня, Скорее обними меня!

Как бьется сердце, боже мой! Все оттого, что я с тобой! Тебя бы я не отдала За три богатые села!

Как радостен, как весел дом, Когда влюбленные — вдвоем! Речь без конца они ведут, О чем — и сами не поймут.

Ой, что такое у ворот? Не жеребец ли это ржет? Что сделалось с твоим конем? Грешно! Забыли мы о нем.

Ну вот, покормлен жеребец! Так обнимай же наконец, Целуй меня! Господь с тобой! Господь с тобою, розан мой!

Мой милый розан, бог с тобой! Пускай нагрудник золотой Бог даст для твоего коня... А ты себе возьми меня!

Дунафельдвар, 1845

В АЛЬБОМ К. ІІІ.

На дряхлый дом наш мир похож — Стропила оседают низко... Друг, слишком гордо ты идешь. Согнись! Тогда не будет риска! Не смогут голову пробить Ветшающие перекрытья... «Готов я голову сломить, Но горбясь не хочу ходить я!»

Борьяд, 1845

В АЛЬБОМ Ж. Ш.

В твоем саду живут цветы и пчелы, Впусти же пчел в сад сердца твоего. Цветок любви в нем нежно распустился, — И пчелку дружбы ты прими в него. Конечно, знаешь ты: цветок прекрасен, Но он живет лишь краткою весной, — Цветок увянет, скромная же пчелка Тебя накормит медом и зимой. Ведь так? Скажи, согласна ты со мною? Позволь же стать мне этою пчелою.

Борьяд, 1845

МАЖАРА С ЧЕТВЕРКОЙ ВОЛОВ

Не в Пеште было то, что расскажу я, Там не до романтического сна. Компания уселась на мажару, Пустилась в путь она, Влекомая тяжелыми волами, — Две пары в упряжи темнеющих голов. По большаку с мажарой Так медленно четверка шла волов.

Ночь светлая. Луна уже высоко Шла в облаках, всех облаков бледней, Как женщина печальная, что ищет Могилу мужа в тишине. И ветерок ловил полей дыханье, Был ароматов сладостен улов. По большаку с мажарой Так медленно четверка шла волов.

В компанье той присутствовал и я, И был как раз соседом Эржикэ. Пока другие тихо говорили Или тихонько пели в уголке, — «Не выбрать ли и нам себе звезду?» — Я Эржикэ сказал, смотря поверх голов. По большаку с мажарой Так медленно четверка шла волов.

«Не выбрать ли и нам себе звезду? — Мечтательно сказал я Эржикэ. — Пускай звезда к счастливым дням прошедшим Нас приведет, когда замрем в тоске, Если судьба подарит нам разлуку...» Мы выбрали себе звезду без слов. По большаку с мажарой Так медленно четверка шла волов.

Борьяд, 1845

ВЕНГЕРСКИЙ ДВОРЯНИН

Меч мой дедовский, кровавый, Что же ты не блещешь, ржавый? Много есть тому причин... Я — венгерский дворянин!

Мне трудиться неохота. Труд — презренная забота Неотесанных дубин. Я — венгерский дворянин!

Укатай дорогу гладко Ты, мужлан! Твоя лошадка Мчит меня среди равнин! Я — венгерский дворянин!

Не пишу и не читаю... Мудрецам, как я считаю, Не дадут высокий чин. Я — венгерский дворянин!

Правда, есть одна наука, В ней весьма набил я руку: Ем и пью, как исполин. Я — венгерский дворянин!

Хорошо, что хоть налогу Не взимают, слава богу! Тьма долгов, а я один. Я — венгерский дворянин!

Что? Отчизна оскудела? Ну, а мне какое дело? Без нее полно кручин! Я — венгерский дворянин!

Впрочем, трубку докурю я, В замке древнем здесь помру я. В рай войду как господин. Я — венгерский дворянин!

Борьяд, 1845

ПОЭТ И ВИНОГРАДНАЯ ЛОЗА

Никакого нет желанья, Никакого настроенья Лавры пышные носить! Девушки страны венгерской, Виноградного лозою Увенчайте вы меня, Потому что сходны судьбы Винограда и поэта: Тот — вином, а этот — песней Душу миру отдают. Ведь душа лозы токайской Заключается в вине, А душа поэта — в песне... Душу миру отдаем, Увядаем, погибаем, — И тогда уж наши души, Превратись в вино и в песню, Веселят весь белый свет

Борьяд, 1845

РАЗВАЛИНЫ КОРЧМЫ

Простор чудесной степи низовой, Из всех краев излюбленнейший мой! В горах то вверх, то вниз, за пиком пик, Я двигаюсь, как по страницам книг, А ты мне уясняешь все сама, Как содержанье вскрытого письма, Где сразу можно без труда прочесть, Что нового и важного в нем есть. Как жаль, что я наездами сюда, А не в степи безвыездно всегда. Один с собой, как может быть один Аравии бескрайной бедуин. Свободой веет здесь, в степной глуши, Свобода ж — божество моей души! Да и живу я только для того, Чтоб умереть за это божество, И я легко скажу «прости» годам, Когда всю кровь по капле ей отдам. Откуда мысли мрачные нашли? Я увидал развалины вдали. Развалины чего? Дворца? Двора? Пустой вопрос. Все прах, все мишура. Что замок, что харчевня — все тщета, И все растопчет времени пята. Под этою ногой не устоит Ни зданье, ни железо, ни гранит. Корчма из камня. Но откуда он? Здесь пустошь с незапамятных времен. В те дни, когда наш край не знал тревог, До власти турок был здесь городок. (О Венгрия, в течение веков Сменилось сколько на тебе оков!) Османы выжгли городок дотла,

Лишь церковь бедствие пережила. Но вид пожарищ стольких и могил Ее, как плакальщицу, подкосил. Карниз ее все ниже нависал, Покамест мук не прекратил обвал. Из каменных обломков алтаря Построили обитель корчмаря. Питейный дом из божья дома? Что ж, И храм не вреден, и кабак хорош. Мы дух и плоть, так создал нас господь, И мы должны блюсти и дух и плоть. Пусть стал питейным домом божий дом, Угодным богу можно быть во всем. А чистых сердцем между пьяных рож Я видел больше, чем среди святош. Во время оно, старая корчма, Какая здесь царила кутерьма! Я строю мысленно тебя опять И всех гостей могу пересчитать. Вот странник подмастерье взял стакан. Вот шайка жуликов и атаман. Вот с бородой, в очках, торгаш еврей. Вот медник серб с товаром у дверей. А вот недоучившийся студент С красавицей шинкаркой в вихре лент. Его сознанье заворожено, И в голову ударило вино. А муж? Где муж? Где старый? На копне Храпит, забывши обо всем во сне. Он спит опять, на этот раз в земле, И с ним все те, кто был навеселе: Жена красавица, и грамотей, И полная гостиная гостей. Они давно истлели, и от стен, Ютивших их, остался только тлен.

Боролась долго с временем корчма И старилась, как старятся дома. Как головной платок с ее волос, С нее однажды ветер крышу снес. Она пред ним готова в ноги пасть, Чтоб не показывал над нею власть. Но все перемешалось, все в былом, Оконный выем и дверной пролом. И только к небу поднята труба, Почти как умирающей мольба. Засыпан погреб, снят с колодца вал, Столбы и раму кто-то разобрал, Но цел журавль, на нем сидит орел, Он круч искал — и этот шест нашел. Он сел и мерит взглядом небосклон И размышляет о чреде времен. Пылает небо, — так любовь пылка У солнца к детищу солончака. Да вот она: глаза вперила в синь Фатаморгана, марево пустынь.

Салксентмартон, 1845

ПЕРЕМЕНА

Теперь не то, что было прежде. Изменчиво года бегут. Теперь и прежде — двое братьев, А встретятся — не узнают.

Носил я сердце на ладони И всем охотно предлагал, Просить меня не приходилось, — Я сердце щедро раздавал.

Теперь же, если сердце просят, Отказываю, прочь гоня, И вру спокойно всем просящим, Что нету сердца у меня.

Я прежде, в девушек влюбляясь, Ждал чистоты от них, чудес, Я думал, что они бесплотны, Почти как ангелы с небес.

Теперь я знаю, что подобны Все девушки чертям в аду, И если я одной не н у ж е н, — Не плачу, я других найду!

Отчизну я любил, как солнце, Пылающее в вышине. Не то теперь. Она луною Холодной тускло светит мне.

Когда-то, если был обижен, Хотел покончить я с собой, Теперь, наперекор обидам, Весь мир готов я звать на бой.

Я был послушной мягкой глиной, — Любой меня рукой проткнет. Стал мрамором, — стреляй, и пуля Отскочит и тебя убьет.

Любил красавиц светлокудрых, И день, и белое вино, Теперь люблю я ночь, смуглянок, И пью лишь красное одно.

Салксентмартон, 1845

НА ГОРЕ СИЖУ Я...

На горе сижу я, вниз с горы гляжу, Как со стога сена аист на межу. Под горою речка не спеша течет, Словно дней моих не радующий ход.

Сил нет больше мыкать горе да тоску. Радости не знал я на своем веку. Если б мир слезами залил я кругом. Радость в нем была бы малым островком.

Завывает ветер осени сырой На горе и в поле, в поле под горой. По душе мне осень, я люблю, когда Умирает лето, веют холода.

Пестрая пичужка в ветках не свистит. Желтый лист с шуршаньем с ветки вниз летит. Он летит и наземь падает кружась, Пасть бы с ним мне тоже замертво сейчас!

Чем я после смерти стану, как умру? Мне бы стать хотелось деревом в бору! Я б лесною чащей был от света скрыт, Был бы скрыт от света и его обид.

Деревом хотел бы стать я, но вдвойне Мне бы стать хотелось чащею в огне! Я лесным пожаром целый мир бы сжег, Чтобы досаждать мне больше он не мог.

Пешт, 1845

ЛЕХЕЛ

Любой влюбленный взор свой остановит Из многих звезд лишь только на одной. И для поэта тоже существует Из всех героев лишь один герой: Кто Толди увлекается, кто — Контом... Так кто же тот, что страсть мою зажег? Кто этот витязь? — Лехел, заставлявший Дрожать весь мир, трубя в свой турий рог.

Вот был герой! Вот рог был! Смерть героя Была как гром. И только лишь сейчас Геройской смерти эхо громовое Возникло в песне, что пою для вас. Вы, яссы, куны, слушайте, внемлите: Я говорю, пришел сегодня срок Узнать, как умер Лехел, заставлявший Дрожать весь мир, трубя в свой турий рог.

Какой точильный камень самый лучший? Месть! Точит месть мадьярские клинки! А что грозней, чем ураган могучий? Месть! Ринулись мадьярские полки Так яростно в немецкие пределы, Что даже вихрь догнать бы их не мог. И вел то войско Лехел, заставлявший Дрожать весь мир, трубя в свой турий рог.

Но зря, мадьяры, сабли вы точили! Владыки сговорились против вас! Не выиграть борьбы такой! В могиле Вся ваша слава с вами улеглась. То был неповторимый праздник смерти, А уцелевших поглотил острог.

Попал туда и Лехел, заставлявший Дрожать весь мир, трубя в свой турий рог.

И прогремел тогда немецкий кайзер: «Повесим всех разбойников мы здесь! Эй, лес сухой, не думал ты, сознайся, Что снова посчастливится расцвесть? Ты расцветешь. Тебя украсит Лехел, Как самый замечательный цветок! Вперед же ты, о Лехел, заставлявший Дрожать весь мир, трубя в свой турий рог.»

Герой ответил: «Пусть по божьей воле Я здесь венком повисну на столбе, Хоть немец ты, а все ж с предсмертной просьбой Я, император, обращусь к тебе. В рог потрубить позволь мне перед смертью, Чтоб попрощаться я с друзьями мог!» Вот что промолвил Лехел, заставлявший Дрожать весь мир, трубя в свой турий рог.

И затрубил в таком великом гневе, Что пал владыка немцев, оглушен... Прошло с тех пор уже столетий девять, А и поныне не очнулся он. И не очнется больше... В Ясберене Хранится тот слегка щербатый рог. Победоносный даже в пораженье, В могилу Лехел кайзера увлек.

Пешт, 1845

ИСТОЧНИК И РЕКА

Как будто колокольчика язык, Ручей лепечет, полный благозвучья, В дни юности моей была певуча Моя душа, как плещущий родник.

Она была как зеркало ключа. В ней отражалось солнце с небосвода, И звезды и луна гляделись в воду, И билось сердце, рыбкой хлопоча.

Большой рекою стал ручей с тех пор. Пропал покой, и песнь его пропала. Не может отразиться в пене шквала Полночных звезд мерцающий собор.

О небо, отвернись куда-нибудь! Себя ты не узнаешь в отраженье. Волнами взбудоражено теченье, Со дна его всплыла речная муть.

И на воде кровавое пятно. Откуда эта кровь? Лесой удильной, Крючком, в поток закинутым насильно, Как рыбка, сердце, ты обагрено.

Пешт, 1845

ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО

«Знаешь ты это колечко, Старый мой друг ювелир?» «Как же не знать, господин мой, Если я сам его лил!

Знаю, для девочки милой Ты мне его заказал. Вскоре ты девочку эту Своею женою назвал.»

«Все миновало, недолго Верной она мне была: Клятву нарушив, другому Сердце она отдала.

Взял я колечко обратно — Ей ведь оно ни к чему, Мне же милей всех сокровищ, И место нашел я ему.

Старый мой друг, из колечка Пулю отлей мне; ружье Я заряжу этой пулей И выстрелю в сердце свое.»

Пешт, 1845

20 - I. 305

МОРУ ЙОКАИ

За что ты полюбил меня? Я столько ненависти видел! За что тебя я полюбил? Я столько в жизни ненавидел! Мой друг, люблю тебя... Нет, нет, не друг! Не друг! Прости, что так назвал тебя неловко, Ведь слово «друг» звучит в наш век издевкой, Оно пустой и глупый звук,

Темнеет небо надо мной, Все ближе тьма, все день короче... Настанет скоро ночь моя, Но без боязни жду я ночи. Ведь чем темнее ночь, Тем пламень звезд светлей. Мне сердце шепчет: «Ясною звездою Сиять ты будешь вечно надо мною Во тьме моих пустых ночей.»

Нет, я не верю никому. Где взять доверье? Не устанут Мне люди лгать. Уж столько раз За жизнь мою я был обманут, Доверья рухнул храм, И средь его руин Лишь ты, как уцелевшая колонна, Один стоишь упорно, непреклонно, Меня не предал ты один.

Я знаю: если от меня Весь мир сурово отвернется, И если даже с уст его Проклятье грозное сорвется, — Ты будешь и тогда Меня благословлять. И если мир, ручищей став огромной, Меня пихнет со злобой неуемной, — Меня ты будешь обнимать.

Обыкновенья мира мне Известны хорошо, поверьте: Швырять камнями будет он Со всех сторон в меня до смерти. Но злые палачи, Когда я лягу в гроб, Придут ко мне, побитому камнями, И теми же кровавыми руками Возложат лавры мне на лоб.

Да, мир в насмешку над собой Так щедро лавры расточает. К чему мне лавровый венец? Он только темя обжигает. Меня недолго жечь Он будет. Ты придешь, Свое лицо ты надо мною склонишь, Слезу на этот жаркий лавр уронишь И жар его слезой зальешь.

Пешт. 1845

20* 307

КОРОНА ПУСТЫНИ

Пустыня, словно темя У старца короля: Травинки-волосинки Едва родит земля.

Зеленою короной На дряхлой голове Дуб высится. Столетья Шумят в его листве.

Легла бродяжка-тучка На скалы перед ним И молвила устало: «Давай поговорим.

Поведай, дуб высокий, Что в жизни пережил!» И вот о чем с бродяжкой Тот дуб заговорил:

«На романтических горах, вдали Мои счастливцы пращуры цвели. Могла ветвями небеса достать Красавица лесная — наша мать. И вот в нее влюбился горный вихрь. Но мать сказала: «Ты мне не жених!» И он решил — вот подлость какова! — Ей мстить и мстить, пока она жива! Так он клялся. А я висел среди Других семян у мамы на груди. И вот сорвал он всю семью семян, Тот мстительный и страшный ураган; И злобствовал он, семячки гоня...

...Пустыня эта приняла меня. Я вырос здесь. И множество веков Я пережил. Вот мой удел каков. Жизнь долгая тягуча и скучна: Взгляну вокруг — везде печаль одна. Гляжу кругом и не могу понять, Где братья бедные мои, где мать? Порой приходят странник, пилигрим, Я, чем могу, помочь стараюсь им. Тот, кто приходит в знойный летний день, Здесь получает благостную тень, А кто зимой придет под сень мою, Тому я хворост для костра даю, А кто охвачен скорбью мировой — Тот вещается под моей листвой. На этом кончу. Тучка, убедись, Насколько небогата эта жизнь! Уж поскорее бы покончить с ней! Ведь даже вихрь — он всех на свете злей, О, этот вихрь — мой самый лютый враг, Со мною он не справится никак. Напор веков я выдержал, герой! Но знаешь ли, кто справится со мной? Червь, жалкий червь, здесь, в собственной груди!

Обидно же! Сама ты посуди! О боже! Что же ты, создатель наш, Поблагородней смерти мне не дашь?»

Так плакал дуб. А тучка Лежала между скал, Сочувственно внимая Всему, что дуб шептал.

Разжалобилась тучка И молнию взяла, И, в дуб ее метнувши, Сожгла его дотла.

Пешт. 1845

но почему?..

Но почему же всех мерзавцев Не можем мы предать петле? Быть может, потому лишь только, Что не найдется сучьев столько Для виселиц на всей земле!

О, сколько на земле мерзавцев! Клянусь: когда бы сволочь вся В дождя бы капли превратилась — Дней сорок бы ненастье длилось, Потоп бы новый начался!

Пешт, 1845

К ДЮЛЬДЕЙСКИМ ЮНОШАМ

Один у венгров настоящий флаг — Мы за него стоим! Безверные юнцы, зачем же вы, зачем Покинули его, зачем расстались с ним?

(Стыд и позор! Ведь лев в норе лисы Не может обитать...) Как вы посмели флаг родной страны На никудышную тряпицу променять?

И впрямь вы в лисью нору забрались. Да, в лисью! Так и есть! Весьма нетрудно это доказать: Достаточно того, что там попов не счесть!

С попом и с хитростью в один клубок Предательство сплелось, — Где ходит этот в юбке мужичок, Там адский смрад стоит, царят там грех и злость,

Умен был тот, кто создал для попов Коричневый наряд. Носить им белое нельзя. Они его Темнейшею душой тотчас же омрачат.

Темны у них одежда и душа. Их породила ночь. Они повсюду там, где рабства мрак, Свобода их страшит, и свет их гонит прочь.

Ведь где свобода — и отчизна там! Так что ж, безумцы, что ж Столь рано отреклись вы от святынь? Ведь юноши вы все же, молодежь!

Дрянь-времена! Червь до сих пор точил Лишь старый, дряхлый ствол; Вы молоды еще — незрелые плоды, — Но, видимо, червяк и в вас уже вошел!

Что ствол червивый ждет? Тот ствол сгниет! К чему трухлявый лес! А нас, быть может, срубят и сожгут, Но пламень наших душ достигнет до небес!

Пешт, 1845

я СПЛЮ...

Я сплю, но будто и не спится мне, Я бодрствую, но что-то снится мне. Дробит свой свет свеча унылая, Как будто где-то над могилою Дрожат огни — гниенья спутники, И я не смею протянуть руки, Чтоб их поймать... Я без движения Лежу в постели. Привидения Встают вокруг меня ужасные, Их отогнать стремлюсь напрасно я: Зажмурюсь, но о них же думаю. Что за чудовища угрюмые! Вот из канавы встал кладбищенской Мертвец, грызя свой посох нищенский. И зубы у него ломаются, И кровью давится, и мается, А все ж грызет в ожесточении... Вот на скамейке для сечения Лежит цыган... секут, дерут его, Летит от истязанья лютого С худого тела кожа клочьями, Рычит он псом, молчать невмочь ему... А там? Что это? Башня строится Иль великан в могиле роется? Нет, не в могиле он копается!

Колодец роет он. Валяется Близ призрака ведро огромное, Чтоб черпать крови влагу темную. А вот мальчишка обезглавленный Кричит судье: «Ты вор отъявленный!» И голову он отсеченную Швырнул судье в стекло оконное. Вот виселица. А повешено — Дитя! А мать хохочет бешено: «Ой, дитятко, ты ноги свесило!» Вцепилась в них и пляшет весело, Вот девушку я вижу. Снится мне: Спят жабы под ее ресницами, И страшен нос ее, оседланный Кровавой крысою ободранной, А волосы — как черви длинные. В объятия полузменные Безрукий человек берет е е . . . Так, лихорадочно работая, Родит мое воображение Неистребимые видения. Мир спит. Я бодрствую с опаскою И в темноте зубами лязгаю.

Пешт, 1845

мои сны

По временам вот так случается: Мне снятся ужасы великие — Один кошмарный сон кончается, Другой таращит очи дикие.

Героев зла я вижу в пурпуре, Идут они, земли владетели, Под их стопами рассыпаются Растоптанные добродетели.

Я вижу лица бледно-желтые, Как лунный лик во время холода. Ну что ж! Лицо вот это каждое Луною было в ночи голода.

Блестящих видел лиц немало я, Благополучием сверкающих, А на сапожках — шпоры... желтые, Совсем как лица голодающих.

И видел сильного мужчину я, Своим же детищем убитого. А что жена? Рыдает? Мечется? О жертве тягостной скорбит она?

А! Что жена! Что ей печалиться? Супруг в бреду предсмертном мается — С любовником в соседней комнате Она сейчас уж наслаждается.

Труп похоронен. Ночью темною Там, в склепе, вся родня шевелится, Срывает с трупа драгоценности, И мертвеца одеждой делится.

Я вижу страны разоренные, Где ал закат над эшафотами, И блещет на мече палаческом Кровь, пролитая патриотами. Я вижу страны покоренные. Уже не слышится ни вздоха там. Умолкли стоны, заглушенные Насмешливым тиранским хохотом.

Вот каковы мои видения! Но то, чем полны сновидения, Не вызывает удивления: Ведь это — яви отражение.

Мир страшный! Долго ль он продержится? Уж поскорей низверглось свыше бы То тело мощное, небесное, Что землю из орбиты вышибет!

Пешт, 1845

ВСТРЕЧА В ПУШТЕ

Дремлет пушта, вод озерных глаже. По дороге в барском экипаже Кто-то едет так, что не угнаться — Будто молнии в упряжке мчатся. Просто чудо — жеребцов четверка! Гладок путь — ни ямки, ни пригорка, Ровен он, как будто половица... Что же вдруг пришлось остановиться? Может, что-то в сбруе порвалося, Либо в грязь заехали колеса? Вовсе нет! Ни то и ни другое!

Это — пушты детище родное, Это — пушты грозный повелитель, Появился молодой грабитель. Он прицелился из пистолета, И стоит поэтому карета. Слышит вдруг бетяр какой-то щебет, Видно — птица! Но она — не в небе, А в карете, видимо, таится И чего-то, видимо, боится. Вот так птица! Дама молодая! Прямо как картиночка живая! «Смилуйтесь!» — щебечет эта птаха И замолкла, замерла от страха. Смотрит парень взором восхищенным, Говорит с приветливым поклоном: «Вы меня, сударыня, не бойтесь! Я не задержу вас! Успокойтесь! Лишь одну мне милость подарите: Ласково в глаза мне посмотрите!» Дама с боязливою отвагой Ласково взглянула на бродягу, Тот шагает ближе, просит снова: «Сделайте, прошу, еще одно вы: Руку вашу мне вы протяните, Я пожму ее! Вы разрешите? О, спасибо! И еще с такою К вам я обратился бы мольбою: Лишь один вы поцелуй мне дайте!» Лишь один... а после уезжайте... Заалелась! Что с ней? Застыдилась? Сердится? О, лишь бы не сердилась! «Я уж лучше откажусь от просьбы, Чтоб расстаться в ссоре не пришлось бы! Коль насильно поцелуй дается, Он плодом незрелым остается!

Что ж, сударыня! Здоровы будьте И на веки вечные забудьте Бедного разбойника, который...» Он не кончил, дал коню он шпоры, Прыгнул конь, помчался, будто птица, Чтоб до ночи не остановиться.

Пешт, 1846

зимняя ночь

Дик зимний мрак. Снежинки это вьются? Быть может, это помыслы безумца? А может быть, несутся снежной ночью Моей души мерцающие клочья?

А полночь близится. Я жду ее. Пусть трое Восстанут призраков передо мною — Святая троица, владычившая мною. Их имена: Любовь, Надежда, Вера...

Они мертвы. Убиты. Я в их помощь Давно не верю. Но, однако, в полночь Все трое вылетают из могилы, Чтоб вновь напомнить то, что прежде было.

Вихрь тучи рвет. Гляжу в морозный воздух. Вот взор мой затерялся где-то в звездах, И так багряно лики их трепещут, Как будто тысячи кровинок блещут.

Кто лжет, что звезд кровавых не бывает? Ведь на земле так много убивают! Кровинки Авелей мерцают в небе где-то, Земля, мошенница, бормочет: «Звезды это!»

Безумец вихрь, ты, воя, треплешь тучи, Хватая тучи, мне слепишь ты очи И норовишь мне в волосы вцепиться... Ах, вырви, лучше вырви мое сердце!

Как бьется сердце! Слушаю, печален, Как будто камни рушатся с развалин, — Так молоток стучит по крышке гроба, И все для погребения готово.

О грудь моя, о грудь моя — гробница, Где заживо схороненное сердце! О, заживо схороненное сердце, Кто знает, кто, как должен я томиться!

Вот замер вихрь, и месяц меркнет где-то, И где-то блещет мирный луч рассвета. Пора домой! Теперь я лечь мечтаю... Ни мир, ни свет не нужен мне — я знаю!

Салксентмартон, 1845

СУМАСШЕДШИЙ

... Что пристаете? Живо вон отсюда! Я тороплюсь. Великий труд кончаю: Вью бич пылающий от солнечных лучей, Им размахнусь, вселенную бичуя. Они застонут, но захохочу я: Вы тешились, когда я плакал?

Xa-xa-xa! Жизнь такова. Мы стонем и смеемся, Покуда смерть не скажет: «Цыц!» И я умру однажды, ибо в воду Мне влили яду те, кто втихомолку Мое до капли выпили вино. И что же сделали мои убийцы, Чтоб скрыть злодейство? Кинулись, рыдая, На тело распростертое... Хотелось Вскочить и откусить им всем носы, Но передумал... Пусть, оставшись с носом, Задохнутся, вдыхая смрад мой трупный! Xa-xa-xa! И где ж меня зарыли? В африканской Пустыне! Это было мое счастье! Пришла и из могилы откопала Меня добросердечная гиена. Но даже и единственную эту Я благодетельницу одурачил: Она хотела сгрызть мне только ляжку, — Я вместо ляжки сердце ей подсунул Столь горькое, что сожрала — и сдохла! Xa-xa-xa! Ну, что же! С каждым человеколюбцем Так будет. Что такое человек? Есть мненье, будто люди — это корни Цветов, растущих где-то в небесах. Увы — ошибка! Человек — растенье, Чьи корни скрыты глубоко в аду! Мне это откровение преподал Один мудрец, безумец величайший, В том смысле, что от голоду пропал. А почему не убивал, не грабил? Xa-xa-xa! И для чего смеюсь я, как безумный?

Ведь плакать следует, а не смеяться, Оплакивая гнусный шар земной. Ведь даже бог очами туч рыдает, Скорбя о том, что землю сотворил. Но толку нет от этих слез небесных, — Они на землю падают затем, Чтоб человечество на них топталось. И от небесных слез осталось Что? Только... грязь! Xa-xa-xa! О небо! Старый отслуживший воин, Бреди с медалью солнца на груди! Иди, бреди, в лохмотья туч укутан... Вот так солдат в отставку увольняют: Блестит на ветхом обмундированье Она — медаль за службу и увечья. Xa-xa-xa! А как это понять по-человечьи, Коль перепелка свищет: «пить-палать!»? О! Это значит: Избегайте женщин! Ведь женщина всегда влечет мужчину, Как море реку. А с какою целью? Ну, разумеется, чтоб поглотить! Зверь — женщина! Красивый и опасный, Прекрасный и опасный зверь! Отрава в золотом стакане — Вот что такое ты, любовь! Любви малейшая росинка Убийственнее океана, Который превратился в яд! Скажите, видели вы море, Которое вспахала буря, Чтоб сеять смерти семена?

Скажите, видели вы бурю?
Ответьте, видели вы вихрь?
Тот вихрь, тот смерч —
Он добрый пахарь:
В его руке из молний бич!
Плоды, созрев, срываются с деревьев...
Ты, шар земной, созрел уже! Пора!
Пора сорваться! Впрочем, жду до завтра,
Но если он не завтра — судный день,
Тогда до центра я земли дороюсь
И заложу такой заряд
Такого пороха туда,
Что все взлетит под небеса!
Ха-ха-ха!

Салксентмартон, 1846

НУ ЧТО ЖЕ, ЮНОСТЬ, ТЫ УХОДИШЬ?

Ну что же, юность, ты уходишь? Ступай! Не теплою слезой — Холодной, горестной улыбкой Навек прощаюсь я с тобой.

Мы не дружили. Как с собакой, Со мною обращалась ты. Меня ты била и гоняла Через канавы и кусты.

Порой кидала кость сухую Из жалости, но не любя. И мне лишь гордость запрещала Принять подачку от тебя.

21 — I. 321

Ступай же, лишь одно скажу я, Пускаясь нынче в новый путь: Иль дай забыть тебя навеки, Иль проклята навеки будь!

Салксентмартон, 1846

НА СМЕРТЬ ПЕТЕРА ВАЙДЫ

Когда ко сну клонилась ты, Природа, Клонилась поздней осенью ко сну, Ты попрощалась ли с любимым сыном, Ты попрощалась ли... о, знаешь, с кем? А если даже ты и попрощалась, Так знала ль, что прощаешься навеки? Ты зимним сном сегодня спишь, Природа, Ты спишь, Природа... Спится ли тебе, Приснилось ли то горе, что ударит Тебя, когда восстанешь ото сна? Проснешься ты, весна тебя разбудит, И самой лучшей песней соловей Восславит шумный праздник воскресенья. Но жил когда-то кто-то на земле, Кто лучше соловьев тебя прославил... Оглянешься и спросишь: «Где певец?» Могильный холм тебе ответом будет. И ты его навеки не забудь. Твой самый верный сын лежит в могиле, Благослови ее и украшай Весенними пветами полевыми. Ведь здесь, в отчизне этой, не найти Рук благородных, чтоб могилу эту Украсили, когда б забыла ты!

О, здесь, на родине, таких могил немало, В них люди лучшие погребены, Бродяжьи ветры над холодным прахом Терновником забвенья шелестят. Ты говоришь, что это обвиненье Касается лишь только дней былых, А не сегодняшнего дня... Ты скажешь, Что в сердце невозможно уместить Всех дорогих ему воспоминаний! Но неужели не достоин тот, Кто в сердце у себя носил отчизну, Остаться вечно в сердце у нее? Нет, он достоин памяти, достоин! И если вы однажды подойдете Вот к этому могильному холму, Хотя б слезинку уроните все же! Он столько слез когда-то иссушивший Лучами жаркими своей души, Тот человек одной слезы достоин! И вот, когда оплакивать певца Хотите вы, я проливаю слезы По славному, отважному бойцу За независимость страны родимой. В согбенные лихие времена Низкопоклонничать не захотел он, Не научился преклонять колен И голову свою предпочитал Склонять на камень бедности, презревши Зависимости бархатный диван. ...Пусть родина в лице твоем оплачет Вернейшего из сыновей природы, Ее певца... Но горше всех иных Вот эти слезы, ибо я оплакал Тебя — за независимость борца! Пецел, 1846

ТУЧИ

ПТИЦЫ

Птицы стремятся в отлет — Время идет К холодам. (Будущею весной птицы вернутся к нам.) Птицы летят и летят... И замечаешь одно, Только, пожалуй, одно, Если на птицу глядишь: Пьет она синюю высь Где-то у самых границ Яви и сна. Жизнь Мчится вольней и стремительней птиц, Но ведь не птица она, не возвратится она!

Салксентмартон, 1846

НЕ ПЛАЧУ Я

Не жалуюсь, не плачу больше я — И так понятна вам беда моя. В лицо взгляните мне. В чертах лица Прочтете все вы до конца. В глаза мои взгляните. Что в них есть — В потухших! — все вы можете прочесть: Проклятие довлеет надо мной, И я влачусь, печальный и больной.

хотел бы я

Хотел бы я покинуть мир блестящий — Он в темных пятнах весь! Уйти бы в чащу И никого там, никого не встретить, И слушать, как шумит в деревьях ветер, И слушать, как поют ручьи и птицы, И видеть, как по небу вереницей Бродяги-тучи тянутся куда-то... Смотреть бы на рассветы и закаты До той поры, когда и мне придется Однажды закатиться, точно солнцу.

Салксентмартон, 1846

жизнь не стоит даже столько...

Жизнь не стоит даже столько, Сколько битая кастрюлька, С дна которой старый нищий Слизывает крошки пищи.

Салксентмартон, 1846

ПРЕКРАСНЫЙ СИНИЙ ЛЕС БЫЛОГО...

Прекрасный синий лес былого давно остался за спиной. Грядущего посев зеленый — во всей красе передо мной. И все-таки с былым далеким я не расстанусь никогда, А будущего не достигну, хоть и вблизи оно всегда. И вот бреду я по дороге, склонивши голову на грудь, Здесь, в вечно длящемся сегодня... Какой глухой, унылый путь!

Салксентмартон, 1846

ДРУЗЬЯ

О да, имел друзей я милых! Зачем не умерли они? Я плакал бы на их могилах И ночи целые, и дни. И целый сад бы там возрос Под ливнем слез. Теперь, изверившись в друзьях, Лишь вздохом бы я проводил их, И был бы вздох так горек мой, Что высох бы цветок любой На их могилах!

Салксентмартон, 1846

О, НАШИ НАДЕЖДЫ...

О, наши надежды, прекрасные птицы! Все выше их вольная стая стремится, Куда и орлы подымаются редко — В простор поднебесный, и чистый, и ясный... Действительность, этот охотник бесстрастный, Стреляет в них метко!

Я С МИЛОЙ ДЕВУШКОЙ ПРОЩАЛСЯ...

Я с милой девушкой прощался, Томила грусть. С великой болью оторвался От нежных уст. Случилось то давным-давно, Как будто бы сто лет прошло, И я теперь уже не чую Великой горечи потерь, Но эту сладость поцелуя Я ощущаю и теперь.

Салксентмартон, 1846

ПАМЯТЬ

О память — Кораблекрушенья щепы! Их вынес из пучины шторм свирепый, Их выбросило на берег волненье!

Салксентмартон, 1846

ГДЕ В ГОЛУБОМ ТУМАНЕ НЕБЕСА...

Где в голубом тумане небеса, Шпиль сельской колокольни поднялся. Есть в той деревне белый дом, Глаза смуглянки блещут в нем. О, эта девушка!.. Там, у нее Во взоре, Стоцветной радугой и счастье все мое, И горе!

Салксентмартон, 1846

ТЫ КО ВСЕМУ СПОКОЙНО ОТНОСИСЬ...

«Ты ко всему спокойно относись!» — Так учит тот, Кого безумный мир мыслителем зовет. Мой не таков девиз. Хочу страдать и радоваться я. Не уподобится душа моя Потоку, что бессмысленно унес И лепестки весенних роз — Дары девической руки, И осени дары — сухие стебельки, Те, Что в осенней никнут темноте.

Салксентмартон, 1846

Я НАД ЭТОЙ ПУШТОЮ...

Я над этой пуштою унылою Встал, как изваянье над могилою. А в могильной тишине покоится Пушта, будто в саване покойница. Вдалеке косарь с косою возится, — Правит, видно... Звона не доносится... Только вижу: движется рука.

Вот и он теперь издалека, Чувствуя, что на него гляжу, На меня уставил очи праздные. Даже бровью я не повожу: Не одно ведь думаем, а разное.

Салксентмартон, 1846

О, КАК ТЕМНЫ ГЛАЗА ТВОИ!..

О, как темны Глаза твои!.. Но если Взглянешь На меня — Они сверкнут, Как в ночь грозы Блестит Секира палача.

Салксентмартон, 1846

ТАКОЙ БЫ ВИХРЬ ВДРУГ НАЧАЛСЯ...

Такой бы вихрь вдруг начался, Чтоб раскололо небеса И вышвырнуло шар земной Сквозь щель вот эту в мир иной!

все изменилось на земле!

Все изменилось на земле! Философ ездил на осле Когда-то, древле, а теперь Ослы обычно Мчат верхом, А мудрецы идут пешком,

Салксентмартон, 1846

ЧТО СЛАВА?

Что слава? Радуга в глазах, Луч, преломившийся в слезах.

Салксентмартон, 1846

ЛЮДЕЙ НЕМАЛО ЗНАЮ Я...

Людей немало знаю я,
Что полюбить себя лишь в силах,
А есть иные — любят милых
Гораздо больше, чем себя,
Но их и обижают все же
И горько сожалеют позже,
Что слезы выжали из глаз,
За взгляд которых, за сиянье
Готовы все существованье

Отдать, пожертвовать тотчас. Вот настоящее страданье! О, лучше б помереть давно! О, лопни, сердце! А оно Не лопается — в наказанье!

Салксентмартон, 1846

ПЕЧАЛЬ

Печаль — это целое море, А радость — жемчужина в нем, Которую часто — о горе! — Калечим, пока извлечем!

Салксентмартон, 1846

СВЕЧА МОЯ...

Свеча моя чадит, мерцая, А я шагаю Взад и вперед... И трубку я курю, И на виденья прошлого смотрю... Колеблются на стенах тени дыма, А я вот так, один, невозмутимо, Не устаю по комнате шагать, Курить, молчать, о дружбе размышлять...

КУДА МЫ ДЕНЕМСЯ?

Куда мы денемся? Сократ, От палача принявший яд, И тот, кто подал чашу с ядом, Неужто оказались рядом? Не может быть! А если — да? Жаль, что нельзя взглянуть туда!

Салксентмартон, 1846

НЕРЕДКО ПОМЕЧТАТЬ О ТОМ...

Нередко помечтать о том Испытываю я желанье: Вот рухнуло бы мирозданье, И точно так, как ныне снег с дождем, Все звезды сыпались бы градом Таким вот звездным водопадом!

Салксентмартон, 1846

ЧТО ЕЛА ТЫ, ЗЕМЛЯ?

Что ела ты, земля, — ответь на мой вопрос, — Что столько крови пьешь и столько пьешь ты слез?

О, УЛЫБАЙТЕСЬ...

О, улыбайтесь, улыбайтесь мне Вы, девушки! И я под вашим взглядом Забуду, что случалось сплошь и рядом Обманутым по вашей быть вине. На сердце девушки взгляни издалека: Ну, прямо — небеса, где незаметно тучек; Но ближе приглядись — коварная река, В которую звезде опасно бросить лучик. Кто с небом спутает речную глубину. Кто ищет в ней звезду, тот и пойдет ко дну!

Салксентмартон, 1846

И ЕСЛИ КТО-ТО ИЗ МОГИЛ...

И если кто-то из могил Сердца покойников возьмет, Их вместе свалит и зажжет, — Кто знает, сколь бы пестрым был И многоцветным пламень тот!

Салксентмартон, 1846

ты, юность...

Ты, юность, — вихрь! В руках твоих Цветы! И ты Швыряешь их, С разбега нам чело венчаешь

И через миг Цветы срываешь! И нет тебя! Умчалась, скрылась, И мы вздыхаем в скорбный час: Да вправду ль ты была у нас? А может быть, ты нам приснилась?

Салксентмартон, 1846

ТАК, ЗНАЧИТ, ВЫ — МОИ ДРУЗЬЯ?

Так, значит, вы — мои друзья? Все может быть. Но нынче я Могу ответить только так: Когда мой день сойдет во мрак, Тогда не бросьте вы меня! Ведь дружбы истинной лучи, Невидимые в блеске дня, Как светлячки горят в ночи!

Салксентмартон, 1846

ПЛУГ ВСЮ ЗЕМЛЮ ВЗРОЕТ...

Плуг всю землю взроет, вспашет, Но разгладит борона, — Вспашет старость лица наши, Не разгладит их она.

МНЕ КАЖЕТСЯ, НЕ ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕК...

Мне кажется: не только человек — Все в мире старится, всему свой век. Вот солнце в декабре, оно не старец, что ли? Как будто поневоле Он еле-еле Поднялся в поздний час с постели, Кой-как взошел на небосвод, Зло глянул вниз и прочь идет... В конечном счете мир дождется, Что вовсе одряхлеет солнце, И обрастет оно седой Лучисто-белой бородой!

Салксентмартон, 1846

НЕ ПОГРЯЗНЕТ В СКВЕРНЕ РОД ЛЮДСКОЙ!

Не погрязнет в скверне род людской! С самого начала он такой, Злой такой он и упрямый сроду! Ведь иначе для людского роду Было бы выдумывать не надо Рая, бога, дьявола и ада — Сотен этих сказок, для того, Чтобы чем-то обуздать его!

О ВЫ, КТО К СОЛНЦУ ПОДНЯЛИСЬ...

О вы, кто к солнцу поднялись без страха Из мглы ничтожного земного праха, Изъеденного всякими червями, Вы, души мощные, с могучими крылами, Что ж карликовый мир вопит, что вы ничтожны? А впрочем, этот крик понять, конечно, можно, Коль вспомним мы о том, что горные дубравы Нам кажутся с низин ничтожными, как травы!

Салксентмартон, 1846

СМОТРИТЕ!

Смотрите!
Летит ураган на врага.
Конь-буря несет его вскачь. Облака
Клубятся, как знамя. А вместо древка
Колеблется молний зигзаг огневой.
Вздымает его урагана рука.
«На битву, на битву!» — призыв громовой
Трубит
Гром небесный.

О вихрь,
Величавые башни ты валишь,
Из горной дубравы
Дубы вырываешь;
Дубы, что на кручах стояли веками,
Мгновенно уносишь ты прочь, ураган!
Но, вихрь-великан,
И своими руками

Ни горя, ни скорби Из сердца людского Усильем упорным Не вырвешь ты с корнем!

Салксентмартон, 1846

ЗВЕЗДЫ

Я, звезды, обожаю вас! Я ваш поклонник настоящий, Я пел о вас уже не раз И буду петь как можно чаще! А почему? Ваш свет небесный Мне говорит, что есть чудесный Еще какой-то мир иной. И я доволен: в самом деле, Хоть надо мной Есть мир веселья!

Салксентмартон, 1846

ЧЕМ КОНЧИТ ШАР ЗЕМНОЙ?

Чем кончит шар земной? Застынет? Загорится? Мне кажется, он должен льдом покрыться, — Его оледенит сердец студеных лед! Они везде! Я потерял им счет!

Салксентмартон, 1846

22—I. 337

СМОЮТ КОГДА-НИБУДЬ?..

Смоют когда-нибудь дочиста Слезы всего человечества Грязь со всего человечества? Вот что узнать мне хочется!

Салксентмартон, 1846

О ДУХ! ТЫ ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ ПЛОТИ...

О дух! Ты возлюбленный плоти, и оба Пойдете вы вместе, как должно, до гроба? А может быть, просто приятель, — кто знает! И сделаешь так, как обычно друзья, — Сбежишь в безопасные ныне края, Увидев, что друг погибает?

Салксентмартон, 1846

БРЕННОСТЬ

О бренность — вот владыка всех владык! Владеет миром он, а этот мир велик. Куда б владыка тот ногою ни ступил, Куда бы ни взглянул, На что ни наступил — Все рушится и гибнет до конца, Валяются повсюду в беспорядке Корон растоптанных ничтожные остатки, Увядшие цветы, разбитые сердца.

ЧТО ЖДЕТ МЕНЯ?

Что ждет меня? О, что меня постигнет? Подумаю — и в сердце вдруг сумятица. Оно рванется, затрепещет, прыгнет И головой отрубленной покатится.

Салксентмартон, 1846

СНЫ

О сны!

Нет лучшего в природе наслажденья! Нас в те края уводят сновиденья, Которых наяву найти мы не вольны! Бедняк во сне богат, И холод он, и голод забывает, В своем дворце он по коврам шагает, Одет в пурпуровый наряд. Король, покуда спит, Не судит, не воюет, не казнит, Объят покоем... Юнец, любви иссушен зноем, Во сне найдет к любимой путь, Придет — и к ней падет на грудь. А я во сне Неволи цепь крушу в родной моей стране!

КОГДА ОНИ ВДВОЕМ...

Когда они вдвоем владели всей землей, Один не захотел, чтоб рядом был другой, — Так с Авелем покончил Каин. Двое на свете останутся — Вновь друг на друга накинутся, Поспорят — кто из них хозяин! И тот, кто не падет в борьбе, Волчицу в жены возьмет себе. Быть может, от нее пойдет Людской не столь свирепый род!

Салксентмартон, 1846

СЕРДЦЕ

И вырежу я сердце, потому Что лишь мученьями обязан я ему. И в землю посажу, чтоб вырос лавр. Он тем достанется, кто храбр! Пусть увенчается им тот, Кто за свободу в бой пойдет!

Салксентмартон, 1846

О НОЧЬ НОЧЕЙ

О ночь ночей, ты в памяти моей! Как много призраков в тебе, о ночь ночей! Фантазии родят одна другую тут И, выросши в зверей, одна другую жрут. А в сердце буйствует горячечная кровь, Как в ведьмином котле волшебная вода.

Влечет меня нестись в круговорот миров Воображения падучая звезда. Отчаянье ко мне стучится для бесед. Безумие кричит: я твой сосед!

Салксентмартон, 1846

ЗАЧЕМ ЕЩЕ МНЕ ЖИТЬ...

Зачем еще мне жить на белом свете, Коль муки все успел я испытать? Я завершил свой путь. Ведь жалкий смертный Лишь для того родится, чтоб страдать. Я видел все, что можно здесь увидеть, Так для чего живу я, для чего? Я видел добродетели паденье И злобы вековое торжество.

Я слышал, как грохочут цепи рабства, Голодный стон в трущобах слышал я, И гиканье бесчинствующих слышал, И слышал я рулады соловья. В тысячелетьях давних это было, Еще тысячелетия пройдут — Все будет так! Все видел я, все знаю... Чего ж еще? Зачем живу я тут?

Но, может быть, не так уж все печально, И вижу я вокруг себя печаль Лишь потому, что мир я наблюдаю Сквозь черного отчаянья вуаль? Пусть даже так! Наказан я за это, И муки наказанья велики —

Злодеи ангелы горящими когтями Дерут меня, терзают на клочки!

Разбейся, сердце! Жизнь, умчись из тела! Земля, мои останки успокой. Могила, провались! Примчись, о буря, Могильный холм смети с меня долой! Умчи его! Сумей рассеять славу Ты вместе с пылью праха моего. Пусть все забудут, что существовало Проклятое такое существо!

Пешт. 1846

ЦВЕТКУ ЛЮБОМУ И ТРАВИНКЕ КАЖДОЙ...

Цветку любому и травинке каждой Сияет солнышко, блестя меж туч, А ты, любовь, ты — солнышко для сердца, Так что же мне ты не пошлешь свой луч? Нет девушки, нет у меня любимой, Нет девушки, мне шепчущей: «Приди! Холодный мир твою простудит душу, Приди, согрейся на моей груди».

Нет девушки, и мне никто не скажет: «Склонись ко мне усталой головой». Нет девушки. Меня побьют камнями И лоб никто не перевяжет мой. Я одинокий стебель виноградный, Клянущий безотрадное житье, Я листья потерял, и надо мною Угрюмых дум кружится воронье.

Так молодость пройдет, так жизнь промчится — В сиротстве, в одиночестве. Я жду Прихода смерти, и в ее объятья С похолодевшей кровью упаду. Когда же я умру, никто мой саван Горячею не окропит слезой, Никто цветка со вздохом не посадит На маленький могильный холмик мой.

Я под некрашеным крестом истлею, Чертополохом холмик зарастет, Никто чертополоха не затопчет, Никто к моей могиле не придет. О вихрь ночной! Лишь ты с печалью братской, Гудя, заплачешь надо мной в тиши. Да, с братскою печалью, потому что Ты верным братом был моей души.

Пешт, 1846

ВЛЮБЛЕННЫЙ ОКЕАН

На утесе девушка мечтала. Океан лежал внизу у ног. В ожиданье девушка сплетала Своему любимому венок.

Звездочка зажглась над океаном, — Океан на небо не взглянул, Влажным взором, синим и туманным, Поглядев на девушку, вздохнул:

«Я люблю тебя! Ты совершенна! Ты ко мне жестокою не будь.

Окунись в меня. К тебе блаженно Я прильну, твою целуя грудь.

Дай согласие на свадьбу нашу. Окунись, мне сердце веселя, Окунись, и я тебя украшу Лучше, чем невесту короля.

Жемчуга волна со дна достанет, Щедро их вплету я в твой убор. На тебя кто раз единый взглянет, У того погаснет дерзкий взор.

Чтоб ничьим ты не досталась взорам, Унесу тебя я вдаль, — вдали Есть восточный остров, на котором Собраны все радости земли.

Там ручьи, как радуги, сияют, Чистый воздух светел, как алмаз, Там луга зеленые сменяют Свой наряд цветочный каждый час.

Светлая, как день, там ночь струится, Там зима милей, чем вёсны тут, Там летят снежинки, словно птицы, Там снежинки слаще птиц поют.

Опустись, красавица, на лоно Вод моих, моею стань женой, Неразлучен буду я, влюбленный, На восточном острове с тобой.

Только сядь в челнок — и унесешься! Как тебя я укачаю в нем! Ты задремлешь тихо — и проснешься На прекрасном острове моем.»

Так шептал ей океан. Но шёпот Был невнятен ей. Не слыша слов, Девушка не разгадала ропот Однозвучных пенистых валов.

Вот венок готов, вот появился, Наконец, любимый. Океан, Юношу увидев, возмутился, Расшумелся, гневом обуян.

Хорошо еще, что остального Он не разглядел в тоске своей Под покровом полога ночного, Под навесом сумрачных ветвей.

А наутро юноша счастливый Плыл под парусом на корабле. Океан, спокойный, молчаливый, Нес его к неведомой земле.

«Ты плыви, — он говорил, — далеко. Навсегда я разлучаю вас. Часом смерти страшной и жестокой Будет, помни, возвращенья час.

Чем от милой дальше уплываешь, Тем ты мною бережней храним, Но вернуться вздумаешь — узнаешь, Как перечить замыслам моим.»

И опять стояла, как когда-то, Девушка на гребне черных скал, И венок разорванный, измятый На кудрях неубранных лежал.

Взором опечаленным блуждала По волнам, но парус не нашла. Взгляд ее метался, как усталый Голубок, летящий от орла.

«Был он здесь, — и вот уехал, сгинул, Сгинул, не вернулся до сих пор. Обманул и предал. Он покинул Нас двоих — меня и мой позор!»

Плакала она. Все величавей, Все грозней взор океана был, Наконец во всей своей державе Спящие он волны разбудил.

Он волнами, бури повелитель, На корабль, летящий вдаль, плеснул, И погиб корабль, и соблазнитель С кораблем в пучине потонул.

Океан сказал: «Промчался мимо Счастья час, простись навеки с ним. Разлюбил любимую любимый, Я ж люблю, хотя и не любим.

Жить не стоит. Так не спорь со мною. Я тебе объятия простер, Смело в них кидайся, я укрою Вас двоих — тебя и твой позор!»

Стали внятны речи ей, что были Смутны и неясны до сих пор. И валы, шумя, похоронили Девушку — и с ней ее позор.

Салксентмартон, 1846

В ЛЕСУ

Брожу среди дубов По чаще темной. Под ними тьма цветов Пестреет скромно.

Пьянит дыханье смол, Щебечут птицы. С жужжаньем туча пчел В цветах роится.

Не дышится цветам, Молчат вершины. Чарует птичий гам И шум пчелиный.

Быть может, вправду спят Дубы и клены? Я тоже сном объят, Как эти кроны.

Любуюсь сквозь листы Водой потока, Бегущей с высоты Струей широкой.

Гонясь быстрей стрелы За тенью тучи, Теченье мчит валы Воды кипучей.

Я тоже гнался вслед Душой ребенка, По молодости лет, Мечтам вдогонку.

Но я забыл, что шел Под эти сени, Чтоб средь жужжанья пчел Найти забвенье.

Салксентмартон, 1846

КАК НА ЛЕТНЕМ НЕБЕ...

Как на летнем небе бродят Облака в извечной смене, Так приходят и уходят Наши чувства и влеченья. Что их гонит и откуда? Время их пускает в ход, Время двигает их груду Ветром вечности вперед.

Облака любви и страсти — В громе, молниях и ливне. Тучи дружбы — дней ненастья Бесконечных заунывней.

Если ж, к радости природы, Солнца луч на миг блеснет, Вновь обложит непогода Облаками небосвод.

Туча может быть и белой, Но ложится черной тенью. Доживу ль, чтоб поредело В небе их нагроможденье? Чтоб в нахлынувшем мгновенно Блеске солнечных лучей Стали облака, как стены Сказочного замка фей?

Но когда-нибудь зардеют Облака любви и дружбы, Тут и время подоспеет Сослужить одну мне службу. В этот час к моей кровати Кликните духовника: Солнце только на закате Зажигает облака.

Салксентмартон, 1846

БЕЛАЯ АКАЦИЯ...

Белая акация Пышно расцветает. В синем платье девушка Дождь пережидает. Льется чистый дождик,

Мокрая дорога... Я киваю нежно Девушке с порога:

«Заходи, голубка, — Домик недалеко, Пережди ненастье, Сядь на ларь высокий. Подсажу тебя я, Если ты не сладишь, Если ж будет жестко — На колени сядешь...

Салксентмартон, 1846

ЗВОН ВЕЧЕРНИЙ С КОЛОКОЛЬНИ...

Звон вечерний с колокольни Отзвучал. Кто там ходит, кто там бродит, Кто стучал? Я один брожу деревней. Тишина... Сон зову к себе напрасно — Нету сна...

Вышел месяц, вышли звезды В небеса... Словно взор девичий, блещет Их краса. Тень отбросили деревья: Кончен день. Больше нечего им делать — Скучно, лень...

Дом. Два аиста на крыше, А под ней Голоса я чьи-то слышу У дверей: Белокур он, а невеста Посмуглей. В шубу он ее закутал Потеплей

Я прошел — они не видят, Отпер дверь... Боже мой, счастливей пары Нет теперь! Не завистлив я, но все же Лучше б мне Обнимать смуглянку ночью В тишине...

Салксентмартон, 1846

МИРОНЕНАВИСТНИЧЕСТВО

Господь небесный, дьяволы и ад! Что землю ждет? Ведь под любым кустом Гнездится злобный человекоед — Такая мизантропия кругом.

О мироненавистники! Они Проклятий камни мечут круглый год. Как будто гниль сквозь гробовую щель, Их мироненавистничество прет.

Случалось ли вам, судари, любить, Чтоб в ненависть такую нынче впасть?

Молились вы за счастие людей, Чтоб вправе быть их всех теперь проклясть?

Дарили человечеству сердца, А люди зверски растерзали их? Нет! Миру не дарили вы сердец, Поскольку не имели таковых!

Их нет у вас! А вот карманы есть, Есть животы, охота их набить. Поэтому сердиты вы на мир И все кругом готовы истребить!

Я тоже ненавидел. Повод был... Но, подлецы, когда я встретил вас, От ваших байронических гримас Вся ненависть моя оборвалась!

И чем настойчивей хотите вы Жизнь охулить, на ней поставить крест, Тем более мне нравится она, Я вижу в ней все больше светлых мест.

Ведь в самом деле этот мир красив, И каждый год весна красна для всех. И есть красавицы в любом селе, И рядом с горем вечно льется смех.

А как смешна сама печаль! Она Смешна и в торжестве своих побед; Чернит она белейшие сердца. А черный волос красит в белый цвет!

Пешт, 1846

СУДЬБА, ПРОСТОР МНЕ ДАЙ!..

Судьба, простор мне дай! Так хочется Хоть что-то сделать для людей, Чтоб это пламя благородное Не тлело зря в груди моей!

Огонь недаром в жилах мечется, И сердце яростно стучит, — Мольбой за счастье человечества Любой удар его звучит.

О, если бы не разговаривать, А действовать пора пришла, — Пусть даже и Голгофа новая Наградой будет за дела!

Погибнуть ради человечества! Какая радостная смерть! Во много раз прекрасней это, Чем в сладострастии хмелеть.

О, дай, судьба, мне подтверждение, Что будет смерть моя такой, — И крест для своего распятия Воздвигну собственной рукой.

Пешт, 1846

мои песни

Часто я, задумавшись, мечтаю, — А о чем, пожалуй, сам не знаю. И витаю над родной страною И над всей поверхностью земною, — И такая песня вдруг родится, Лунный луч как будто серебрится.

Чем мечтать, задуматься бы лучше О грядущих дней благополучье... Но к чему? И так заботы много! Лучше уж надеяться на бога — Пусть хранит! И тут в душе родится Песня, беззаботная, как птица.

Вот спешу я на свиданье с милой, — Все заботы я зарыл в могилу, В очи милой погружу я взоры, Точно звезды в тихие озера. И готова в розу превратиться Песня, что в душе моей родится.

Я любим! Вскипай, вино, в бокале! Разлюбила? Выпьем в знак печали! Вы согласны: если пахнет хмелем, Значит, дело кончится весельем! И когда иду я веселиться, Песня-радуга в душе моей родится.

Вот в руках у нас сверкают чаши, Но в цепях рука отчизны нашей. И чем звон бокалов веселее, Тем оковы эти тяжелее. Песня-туча в этот миг родится, Черная, в душе моей гнездится.

Что ж вы рабство терпите такое? Цепи сбрось, народ, своей рукою! Не спадут они по божьей воле! Ржа сгрызет их — это ждете, что ли? Песнь моя, что в этот миг родится, В молнию готова превратиться!

Пешт. 1846

Я САМ СЕБЯ В БЕЗЛЮДИЕ СОСЛАЛ...

Я сам себя в безлюдие сослал, В уединенье я нашел покой, Но одинок в изгнании не стал: Воспоминания туда пришли со мной, Воспоминаний мир так траурно-угрюм, Что со своей оси сорваться может ум!

В тиши я оглядел внимательно судьбу Вселенной и свою. Темна судьба, темна! Темна над нами ночь, в ней мрачно, как в гробу, И Промысла рука во мраке не видна. Идем туда-сюда, куда мечты ведут, Споткнувшись, падаем — чему ж дивиться тут?

Признаться, эта мысль мне принесла покой, Одним движением обиды все смела И, словно палочкой взмахнувши колдовской, Мой дух из тайников глубоких извлекла, Из темных тайников, в которых был он скрыт, В которых прятался от всех людских обид.

355

Мой примиренный дух весь как оливы ветвь, Все раны я свои, все горести забыл. Вот, мир, моя рука, прими ее, приветь, Ты не был бы так плох, когда б счастливей был; Несчастен ты, судьба так жалостна твоя, А тех, кто жалок мне, не ненавижу я.

Демшед, 1846

АНТАЛУ ВАРАДИ

Дуэль была? Ты жив или убит? Коль ты застрелен — сообщи об этом, Чтоб я сейчас же мог помчаться в Пешт И страшно мстить за смерть твою, дружище! Ну, ладно. Шутки в сторону! Всерьез Я говорю, не нравится мне очень, Что из-за всяких глупостей готов Ты жизнь свою на карту ставить. Ты думаешь, что вроде бороды Душа и тело? Думаешь, что если Ты будешь сбрит, так вырастешь опять? Нет, ошибаешься! Пойми, что жизнь — подметка, И если ту подметку износить, Так никогда уж не поставить новой. И надобно старательно беречь Такую драгоценную подметку, Которую небесный чеботарь, Вот этот самый рок каменносердый, Не будет дважды ставить никому! ...И, может быть, еще ты полагаешь, Что у меня друзей — как в небе звезд? И коль одна звезда сорвется с неба, Так даже бровью я не поведу?

Ты знаешь хорошо, как вас немного, Таких вот верных, искренних друзей, Жар сердца поддержать во мне способных! Не уменьшай их малого числа! А Ида? Ида! Что же будет с нею, С прекрасной этой девушкой твоей, Когда она расстанется с тобою? Ведь у нее лишь только ты один! Ты — мир ее! Ужель ты столь жесток? Что этот мир обрушишь на нее? И есть еще одно: страна родная! Ты позабыл? Как можно позабыть Все то, о чем мы с пламенным восторгом Так воодушевленно говорим? Кто знает, что грядущее сулит нам, Но лишь оно сулит нам что-нибудь! Мы родине понадобиться можем! Вот видишь, сколько нитей, милый друг, Тебя сейчас привязывают к миру, И ты не смеешь жизнью рисковать! Не образумился, так образумься! И наперед не будь таким глупцом Или, верней, отчаявшимся в жизни. Отчаиваться? Что за трусость, друг? Вот у меня есть большие причины К отчаянью... Но стыдно унывать! Я говорю: от пламени страданий Пусть сердце даже треснет, как фарфор. Но только пусть не тает, как сосулька. Нет! Если в Пешт приеду, так тебе Отчаянье такое покажу, Что и твои внучата помнить будут! Приеду к вам на ярмарку, приеду! И привезу товар я! Но не шерсть, Не кожу, не сукно... И полагаю,

Что мой товар пойдет не нарасхват. Эх! Ведь мадьяр — рачительный хозяин И то, что промотает он на псах Или на картах и тому подобном — То сэкономит на покупке книг. Ведь книги — это нечто вроде старых Фамильных брюк, сутажем окаймленных, И ментика с опушкой меховой... Еще прапрадед их приобретал — Праправнукам достанутся в наследство! О родина, не так несчастна ты, Какой на первый взгляд нам показалась: Духовные потребности тебя Не трогают. Потребностей немало Есть у тебя, а вот духовных — нет, От этого хранил тебя создатель! ... На ярмарку, как я уже сказал, Приеду непременно. Не узнаешь Меня ты вовсе! Изменился я — Меня сама природа изменила! Ведь для души она прекрасный врач. Я был ужасно болен там, у вас, На мертвом камне будапештских улиц, — Хандра с уныньем шлялись по пятам, Как две огромных, мрачных, скорбных тени, А деревенский воздух возродил! Бесчувственную душу пробудила Деревьев шелестящая листва, И меж ветвей ютяшиеся птицы. И мудро молчаливые цветы. И мира я уже не ненавижу, А только гневаюсь я на него За то, что столь труслив он, столь безгласен... Украли счастье, держат под замком, А мир не мстит тому, кто выкрал счастье...

Да! Мстить, как видно, и не хочет он За все тысячелетние страданья! Но начал верить я, что близок час, Что славных дней расцвет блестящий близок. Не нынче-завтра, а они восстанут — Народы мира, втоптанные в прах. Да! Прогремят восставшие народы: «В людей мы превратимся из рабов!» Вот будет день прекрасный, но кровавый! Таким и должен быть он, этот день! Был водяной поток, придет кровавый. Чтоб мир от грязи мог омыться весь, От грязи, что на нем налипла густо, — Потоп кровавый нужен! И когда Он схлынет, то земля, в крови умывшись, Великолепна станет и чиста, И будут жить на ней иные люди — Богоподобен станет человек!

Демшед, 1846

ЧЕРНОГЛАЗОЙ МОЛОДИЦЕ

Заглянул я в очи, в очи молодицы, И теперь не вижу, что кругом творится... Ой, господь-создатель, да твое ль созданье Этих глаз прекрасных черное сиянье!

Ведь ослеп я вовсе от такого взгляда, А идти куда-то все-таки мне надо. А идти наощупь, знаю, не сумею — Попаду в канаву и сверну я шею!

Но иду я все ж е... Встань передо мною! А уж упаду я, так перед тобою! Только раз единый взять тебя в объятья, А потом и руки дам свои отнять я!

Я тебе не нужен? Ты меня покинешь? Кто тебя обнимет? Ты кого обнимешь? Есть такой? Ну, ладно... Знаю это, чую... Упаду в канаву, шею сворочу я.

Пецел, 1846

Я ЛИШЬ ТЕПЕРЬ УЗНАЛ...

Я лишь теперь узнал, что сердцем Я добр, и честен, и хорош. Ведь сердца лучше и добрее, Пожалуй, в мире не найдешь.

Я думал, для меня вовеки Уж не взойдет веселый день, А вот опять чардаш танцую, Сдвигаю шляпу набекрень.

Цветку мое подобно сердце, И червь не подточил корней. Оно под осень умирает, Весной — цветет еще пышней.

Пешт, 1846

СГОРАЕТ СЕРДЦЕ ОТ ЛЮБВИ...

Сгорает сердце от любви, Не любит — замерзает. Кругом беда! Из двух невзгод Что тяжелей? Бог знает!

Пешт. 1846

РАБСТВО

(Отрывок)

Как весел мир! Он вечно веселится, Он вечно пляшет, вечно возбужден. Но попытайтесь истины добиться, Действительно ли радуется он? Какое там! Не верю я ни крошки! В отчаянье еще мы веселей! Мы потому так громко бьем в ладошки, Чтобы не слышать звон своих цепей. Мир — узник! Руки, ноги цепь сковала. Сковала душу бы... да вот души не стало.

Пешт. 1846

люблю я...

Люблю я, как никто, пожалуй, Еще на свете не любил. Но не земному идеалу Я это чувство посвятил.

Одну изгнанницу-богиню Люблю, превозношу и чту.

Люблю свободу, но доныне Во сне лишь вижу, как мечту.

Зато во сне я постоянно Встречаюсь с милою своей. Сегодня посреди поляны Я ночью объяснялся с ней.

Я стал пред нею на колени И, ей изливши чувств поток, Нагнулся, чтобы в заключенье Сорвать на память ей цветок.

Но тут палач ударил сзади, Скатилась голова моя, — Взамен цветка своей отраде Ее поднес с поклоном я.

Пешт, 1946

НАРОД

За плуг держась одной рукою, Другой — он меч берет. Народ наш бедный, добрый — вот он! Всю жизнь свою вот так и льет он И кровь свою, и пот.

А что за это достается? Одежда и еда! Земля тот дар ничтожно малый Производила бы, пожалуй, И без его труда. Народ с врагами бъется люто. За что ж он в бой идет? За родину? Забавно, право! Ведь родина — лишь там, где право, А прав лишен народ!

Пешт, 1846

НА ХЕВЕЩСКОЙ РАВНИНЕ

Бледнеющие Матры Степная даль туманит. Садящееся солнце. Их синий лоб румянит.

Снега в огне заката Подобны синеглазой Красавице в вуали Из розового газа.

Телеги тарахтенье, Пощелкиванье плети, И ни души, ни звука На пелом белом свете.

Садится солнце. Свежесть Сменяет дня удушье. Вдали на горизонте Горит костер пастуший.

Костер ли это, или Звезда на самом деле, Сошедшая на землю Послушать плач свирели? Взошла луна, бледнее, Чем в гробовых покровах Умершая невеста В объятьях жениховых.

Она, быть может, вправду Тень мертвой нареченной, На крыльях духа к небу Из гроба вознесенной?

Как вид ее печален! Я от лучей унылых, Меня привороживших, Глаз отвести не в силах.

Как вид ее печален! В нее глаза вперяя, Я самый страшный в жизни Свой час припоминаю.

Не знаю, что со мною: Луна ли виновата, — Но хочется мне плакать, Как плакал я когда-то.

Пешт, 1846

СОЛОВЬИ И ЖАВОРОНКИ

Эй вы, поклонники луны, Вы, песнопевцы старины! Ведь сметена Вся старина Смертельною волной событий!

А вы? Когда ж вы разорите Свое гнездо среди руин, Где все вы на мотив один Кричите, как слепые совы! О хор нестройный, бестолковый!

И все-таки поют они. В глазах у них блестят огни. Что это? Вдохновенье? Слезы? Нет, это все — пустые позы! Лжевдохновение горит! Никто не поблагодарит За песнь, которую вы спели! Кто вы такие в самом деле? Толпа кладбищенских воров, Таскающая из гробов Тлен времени, чтоб этот тлен Перепродать, пустить в обмен На ветки лавра для венцов! А мне не нужен лавр такой — Он в плесени, он тленьем пахнет! Ведь прозябает род людской, Болеет всюду он и чахнет. Как в лихорадке белый свет, И вся земля, как лазарет. Что с напией? Она Больна! В беспамятстве лежит страна, Она беспомощна в бреду — В раю очнется иль в аду? Бела! Но небо никогда Не бросит сыновей своих — Оно врача пошлет для них,

Оно спешит на помощь, зная, Как бесконечна боль людская! И должен этот врач придти. Он, этот врач, уже в пути, О нем повсюду говорят, Он завтра встанет на пороге, Коль палачи не преградят Ему дороги!

К тебе несется песнь моя. И вдохновляешь ты меня, Ты душу радуешь мою, И за тебя я слезы лью, И жду я твоего прихода, Грядущее, великий врач Людского страждущего рода!

А вам, певцы могильной тени, Пора молчать, Пора молчать! Пусть эти ваши песнопенья Душе приносят исцеленье Иль душу будут вам терзать, Как соловьи, но соловьям Петь подобает по ночам. А близится уже рассвет! Не соловьиная, о нет, А жаворонка песнь нужна Всем людям в наши времена!

В НАДЬКАРОЕ

(7 сентября 1846 г.)

О Кёльчеи, здесь произнес ты Слова великие... А ныне Неужто люди не боятся Над этим местом надругаться, Так страшно осквернить святыню!

Вы не боитесь, что из гроба Восстанет призрак величавый, И будет разговор короткий: Чтоб вы замолкли — всех за глотки Возьмет он вас рукой костлявой!

Нет! Он могилы не покинет... Но, что бы вы ни говорили, — Я знаю: об отчизне нашей, В ужасной подлости погрязшей, Он горько плачет там, в могиле!

Ведь подхалимство, ведь лакейство, Приниженность — залог удачи! И что ни день — покорней всё вы! Коль быть собаками готовы, Так и скачите по-собачьи.

О боже! Всем илотам этим Ярмо на шею дай в награду, Тирана ниспошли им злого, Чтоб заковал он их в оковы И бил нагайкой без пощады.

Надькарой, 1846

КАНДАЛЫ

За вольность юноша боролся — И брошен, скованный, в тюрьму; И потрясает он цепями, И цепи говорят ему: «Звени, звени сильнее нами, Но в гневе проклинай не нас. Звени! Как молния, в тирана Наш звон ударит в грозный час!

Ужель тебе мы не знакомы? Когда за вольность шел ты в бой, Мечом в руке твоей мы были, Врага рубили мы с тобой. Так вот где встретил ты, страдалец, Свой верный меч на этот раз! Звени! Как молния, в тирана Наш звон ударит в грозный час!

Да, из меча превращены мы В оковы гнусною рукой. О горе! Мы томим в неволе Того, с кем шли за вольность в бой, И эта ржа — багрянец гнева, Стыда, что тайно гложет нас. Звени! Как молния, в тирана Наш звон ударит в грозный час!

Надькарой, 1846

НЕТ, БЫЛО ЛИШЬ МЕЧТОЙ, А НЕ ЛЮБОВЬЮ...

Нет, было лишь мечтой, а не любовью Все, что считал я прежде за любовь. Страдало сердце, исходило кровью, Но рубцевалось, заживало вновь, Кончались все душевные волненья, Как водится, с прошествием времен... А Эта страсть — поток в кипучей пене! Спасенья нет, сулит мне гибель он!

Я мчусь, подхвачен бешеным потоком, И чувствую, что нет пути назад... О, как влечет, о, до чего глубок он! Я утону! Звонарь, ударь в набат! Но кто ж спасет? Набатом зазвучало Лишь только сердце у меня в груди. Коль девушка спасать меня не стала, Так уж никто к волнам не подходи!

Моих предчувствий книга не вещала Об этом горе, о беде большой: О девушка, меня ты повстречала, Чтоб ослепить сияющей душой! Душа твоя — как солнце молодое, Затмений тенью не омрачено; Но грудь — как солнце без огня и зноя, Погасшее, остывшее давно!

Навеки отреклась в своей гордыне Ты от любви... Не дрогнул голос твой. А не боишься мстительной богини Ты, отвергая зов ее святой? Иль думаешь, что вовсе нет на свете Мужчин, достойных девичьей любви,

24 — I. 369

И промотают вертопрахи эти Сокровища душевные твои.

Но ведь возможность разочарованья Не повод для того, чтоб не любить. Пойми: живое испытать страданье Все ж лучше, чем безжизненно застыть. Иль ты не строишь дом из опасенья, Что вдруг — пожар? Зачем же строить зря? И так без крова терпишь дождь осенний И попадешь в объятья декабря.

Вздыхала ты. Я видел, видел это. О сердце девичье! В нем страсть живет. Но в панцирь льда умом оно одето, Вот как вулкан одет бывает в лед. Скажи, что — прав! И терпеливо стану Я ожидать прихода светлых дней, Ты, наконец, поверишь неустанной И необманной верности моей!

А вот сейчас, как вечность, время длится, И я как будто корабельщик тот, Который прямо к берегу стремится, — Увы, напрасно! — ветер повернет, И от земли, от близкого причала Корабль уходит снова вдаль и вдаль. Бессилен кормчий. Жажда обуяла... Но сладостна с тобой мне и печаль.

Ах, до того мучительно желанье, Как будто к ране поднесен огонь. Не надо увеличивать страданья, Ран раскаленным прутиком не тронь. Но каплю из колодца утешенья, Лишь капельку, прошу я уронить. Ну, урони! За все мои мученья Вознагради чуть слышным: «Может быть!»

Но нет, не ублажай меня грядущим — Не подаянье, а блаженство дай! Я притворялся терпеливо ждущим. Сегодня он мне дорог, — так и знай! — Конь нетерпенья, без дороги мчащий, К нему душа привязана моя. Нас дикий зверь подстерегает в чаще. Безумья зверь! Ему достанусь я!

О девушка! Верни меня ты свету, Отдай обратно самому себе! Нет, не отбрось, а сохрани вот эту Жизнь, целиком даримую тебе! Скажи: ее берешь ты без остатка! От слов твоих, быть может, рухнет твердь. И хорошо! Бог даст мне смертью сладкой Под тяжестью блаженства умереть!

Отвергнут я? Но все равно с тобою Мой дух, как листик с деревом, скреплен, И разве только лютою зимою, Безжизненный, тебя покинет он. Так — до конца! В каком бы отдаленье Ты ни была — везде с тобой и я! Ведь тьма, что ты своей считаешь тенью, Не что иное, как душа моя!

ДЕВОЧКА МОЯ, СМУГЛЯНКА...

Девочка моя, смуглянка, Ты — источник света, Ты — одна моя надежда! Коль надежда эта Ни при жизни, ни за гробом Не осуществится — Значит, вечно, бесконечно Буду я томиться!

Вот под ивою плакучей Встал на берегу я, И найти соседки лучшей В мире не могу я. Ветви той плакучей ивы Свесились в бессилье, Как моей души поникшей Сломанные крылья.

Осень. Отлетает птица. Эх, вот так бы в небо Из обители печали Улететь и мне бы! Но огромен край печали, Как любовь... Любви же, Ах, любви моей великой, Я границ не вижу!

Эрдед, 1846

РОЗАМИ МОЕЙ ЛЮБВИ

Розами моей любви Устланное ложе! Снова душу положу К твоему подножью. Укачает ли ее Ветерок пахучий, Или глубоко пронзит Длинный шип колючий?

Все равно, душа, усни, Утопая в розах, В сновиденья погрузись, Затеряйся в грезах. Слово мне во сне найди, Чтоб оно вместило Все, что рвется из груди С небывалой силой.

Надьбаня, 1846

ИЛЬ В КОСТЕР УПАЛ Я...

Иль в костер упал я, Иль влюблен — не знаю, Но душой и телом Как в огне пылаю.

Бледный, якраснею, — Люди, что же это? Отблеск ли заката, Пламень ли рассвета?

То и это вместе: Рядом заблистали И рассвет блаженства И закат печали.

Правда, я не первой Воспылал любовью, Но зато последней — Поклянусь хоть кровью.

Та любовь — как сокол: Ввысь со мной взовьется Или хищным клювом В сердце мне вопьется.

Надьбаня. 1846

я влюблен!

Я влюблен! Сказать, в кого? Грежу я одною Смуглой девочкой с большой, Светлою душою.

Блещет девичья душа Белизною снежной И лилейной чистотой, Бесконечно нежной.

Белая голубка ты, В образе которой Реет в небе дух святой Над земным простором. О голубка, о душа Той голубки белой, Ты меня благослови, Ясным взор мой сделай.

Если этих белых крыл Слышу шелестенье, Дай услышать голос твой И сердцебиенье!

Надьбаня, 1846

ДНЕЙ ОСЕННИХ ПРОЗЯБАНЬЕ...

Дней осенних прозябанье. Солнце прячется в тумане, Мелкий дождик сеет, Пасмурно и мрачно, И камин не греет В комнате невзрачной.

Окна, дверь прикрыл от стужи И не выхожу наружу. Примостился с краю У огня камина И перебираю Прошлых лет кручины.

А воспоминаний — кучи! Я сгребаю их, как сучья, К печке ворохами И сношу в вязанки, И бросаю в пламя Дней былых останки.

А от них-то дыму, дыму! Что же, это объяснимо. Но сырыми стали Ветки не от ливней, Ливших непрерывно, А от слез печали.

И сейчас в слезах ресницы, Если б вместе очутиться, Ты б улыбкой милой Тотчас втихомолку, Как платком из шелка, Их бы осушила.

Чеке, 1846

НАВИСАЮТ ОБЛАКА...

Нависают облака, На деревьях — ни листка, Дождь осенний льет и льет... Все же соловей поет.

Время к ночи, поздний час... Девочка, ты спишь сейчас Или слышишь, как и я, Грустный голос соловья?

Дождь осенний льет и льет, Соловей поет, поет. Если слушать голос тот — Сердце скорбью изойдет. Если, девочка, не спишь, Душу ты мою услышь: Это ведь любовь моя — Скорбный голос соловья.

Чеке, 1846

СНОВА ДУМАЮ И СНОВА...

Снова думаю и снова... Не сказала ты ни слова. Любишь — так скажи об этом, Нет — так что тянуть с ответом.

Видишь, как я полюбил! Пусть бы так господь хранил И тебя бы, и меня, Как верна любовь моя!

Больше, чем красу твою, — Душу я твою люблю; Так люблю, коль хочешь знать, Как меня любила мать.

Это мало, чтоб весной Веселились мы с тобой. Ни весною, ни зимой — Быть всю жизнь должны с тобой!

Лишь одно на небе солнце, Лишь одна луна зажжется. Бог один для мирозданья. У меня одно желанье: Чтоб делила ты со мной Жар священного объятья, Чтобы мог тебя назвать я Милой сладостной женой!

Чеке, 1846

ЛЮБИШЬ ТЫ ВЕСНУ...

Любишь ты весну, а я — Осень, сумрак, тени. День весенний — жизнь твоя. А моя — осенний.

Ты румяна, как весной Роза молодая. Луч осенний, спутник мой, Гаснет поникая.

Стоит сделать шаг один, Шаг один небрежный, — И в гостях я у седин, У зимы у снежной.

Если б я шагнул назад, Ты — вперед, — мы двое Об руку вошли бы в сад, В лето огневое.

В АЛЬБОМ БАРЫШНЕ Ю. С.

Облакам не объясняют: «На восток передвигайтесь, — Это родина рассвета, А рассвет бросает розы, Розы радости в лицо вам». Облака и без указки Тянут все равно к востоку, Подчиняясь безотчетно Тайному веленью духа. Облака к востоку тянут И, когда достигнут цели, Окунаются с разбега В красный океан восхода. После этого купанья Их уже не занимает: Долго жить или погибнуть И какие испытанья Ожидают их в дороге. Если вечером, быть может, Ветер их истреплет в клочья, Все равно на миг пред смертью Загорятся вновь их лица В память юности минувшей, Просиявшей на рассвете. Так я тоже перенесся На восток веленьем духа.

КАК ПРОКЛЯТЬЕ

Осенний туман беспросветною мглой Навис, как проклятье, над хмурой землей.

Но что ж этой мглы беспросветной темней? Лицо незнакомца, что движется в ней.

То юноша грустный на борзом коне. Куда ты, наездник? ответишь ли мне?

«А знал ли наш предок, куда он идет, Когда выходил он из райских ворот?

Кто знает, куда побредет человек, Когда он с любимой простился навек?»

И юноша едет, тоскою гоним, Туман позади, и туман перед ним.

Так пусто, как будто окрестность мертва, И два лишь предмета мерцают едва:

Шиповник, под инеем желтый слегка, Да слезы на бледном лице седока.

Безлюдье, угрюмый, сырой небосклон, И вздох одинокий, да гомон ворон.

ДА, ГРУДЬ МОЯ ПОХОЖА НА ЖИЛЬЕ...

Да, грудь моя похожа на жилье. Как стол накрытый — сердце в ней мое. Был на столе серебряный бокал, Поток веселья, пенясь, там сверкал. Жила там беззаботность, и она Бокал любила осушать до дна. И, опьянев, весь стол она потом Исписывала золотым пером, И слов ее, и мыслей пестрота Была пестрей павлиньего хвоста.

Но беззаботность — где она теперь? Ее, шалунью, выгнали за дверь. Могучий дух — любовь — изгнал ее. Любовь чужое заняла жилье. Вся в трауре, печальна и бледна, В моей груди живет она одна. Не постучась, туда она вошла И сбросила бокал мой со стола. И золотые стерла письмена, И начертала новые она. И все, любовь, что писано тобой, Чернее мрака ямы гробовой.

ВО СНЕ Я ВИДЕЛ МИР ЧУДЕС...

Во сне я видел мир чудес. Мечта моя была светла. Проснулся я, и сон исчез. Зачем меня ты подняла? Мне снилось счастие, представь, Которого не знает явь. Ты потревожила мой сон, Он прерван по твоей вине. О боже, боже, и во сне Я счастья должен быть лишен!

«Я не люблю тебя», — не раз Ты признавалась невзначай. Я сомневался, но сейчас Мне ясно все. Не повторяй. Мне ясно все в моей судьбе: Не вписан в сердце я тебе. Уйти? Остаться? Как ты зла! Остаться? Видеть холод твой И развлекать тебя тоской, Которую ты принесла?

Нет, это слишком. Ты не зверь, Не каменная, не из льда. Нам надо разорвать теперь, Расстаться надо навсегда. Как в бурю пыль, в чужой предел Я б вихрем от тебя летел, Но я отяжелел от слез. Удар согнул меня в дугу, И я подняться не могу, Как будто я к земле прирос.

Итак, прощай! О, горе мне! Как произнес я этот звук? Зачем, раздавшись в тишине, Меня не умертвил он вдруг? Прощай! Нет, не бывать тому. Дай руку я твою сожму, Чтоб всю слезами без числа И поцелуями покрыть, Хоть этою рукой ты нить Моей судьбы разорвала.

Что жарче? Слезы? Поцелуй? Сравни их горький жар, сличи. Гордиться можешь, торжествуй: Они, как лава, горячи. Как дышит пламенем вулкан, Они — со дна сердечных ран. Ты как гостей их добрых встреть. Как странники к святым местам — Они спешат к твоим рукам, Чтобы у цели умереть.

Прошу тебя... О, не страдай, Не бойся: речь не о любви, Речь о другом: не забывай И нити памяти не рви. И если только эту нить Ты будешь до тех пор хранить, Покамест новый человек Тебе не перевесит всей Минувшей верности моей, Меня ты не забудешь век.

Сказал ли я, чтоб никогда Ты больше не нашла друзей?

Могу ли я желать вреда Владычице души моей? Пусть жизнь тебе, наоборот, Не истощаясь, счастье шлет, И, ею пользуясь вполне, Срывай цветы, а в должный срок Брось, как увянувший венок, Воспоминанья обо мне.

Сатмар, 1846

КОГДА СОРВЕТ СУДЬБА...

Когда сорвет судьба Оковы с ног раба, Он долго на ногах Их чувствует обузу, — Так он, бедняк, привык К мучительному грузу.

Ты, сердце, много лет Терпело столько бед, Что, наконец, когда Сошла к тебе отрада, Ты радо, — но не так, Совсем не так, как надо.

О сердце, веселись! Гляди же, оглянись: Кому еще судьба Здесь выпала такая? Кто на земле достиг Еще такого рая?

Колто, 1846

ЦВЕТЫ БОЛЬНЫ...

Цветы больны, бедняжки, И мучит их тоска, Им жить осталось мало, — Уже зима близка.

Как старческие пряди, Печально пожелтев, Тихонько облетают Листы с ветвей дерев.

Вокруг себя гляжу я Напрасно, — даль пуста, Нигде я не увижу Зеленого куста.

Душа! Сейчас я вспомнил, Что куст зеленый — ты, Что осень не посмеет Сорвать твои листы,

И что тебя, как прежде, Украсит вновь и вновь Зелеными ветвями Счастливая любовь.

Колто, 1846

25—I. 385

ЖЕРЕБЦА ЛИХОГО

Жеребца лихого бью я, погоняю, И бока ему я шпорами терзаю. Он устал, бедняга, вся уздечка в пене. Все-таки спешу я... Что за нетерпенье?

Я гоним тревогой только лишь одною: Вдруг мою голубку разлучат со мною. Как стрела несется, нагоняя птицу, — Так и мысль об этом вслед за мною мчится.

Тише, тише, конь мой! В спешке толку мало, Да и мысль дурная от меня отстала. Где-то за терновник зацепилась, видно, На кусте повисла... Нет ее, не видно.

Полюбил когда-то терны синих глаз я, Почему-то с ними не нашел я счастья. Черных глаз кинжалы ныне мне дороже, Только сладить с ними помоги мне, боже!

Колто, 1846

НЕПРИЯТНО ЭТО УТРО...

Неприятно Это утро, Необъятна эта муть. Дождик льется, Будто хочет Сам в той мути утонуть. В это утро В хмуром доме Я да скука — двое нас. Отвратительная Гостья, Обману тебя сейчас!

Я с таинственной улыбкой Прошепчу: «Душа, лети Далеко На милый запад По воздушному пути!

К старикам Под кров родимый Ты, душа моя, лети, Прилети К моей любимой, Всех, кто мил мне, посети.

И обратно
Возвращайся
В час, когда сгустится мгла,
Как с цветочным
Сладким соком
Возвращается пчела!»

Колто. 1846

25* 387

МЕЧТАЮ О КРОВАВЫХ ДНЯХ...

Мечтаю о кровавых днях: Они разрушат все на свете, Они на старого руинах Мир сотворят, что нов и светел.

Звучала б лишь, о лишь звучала Труба борьбы, все громы множа. О, знака битвы, знака битвы Едва дождаться сердце может!

И вскакиваю я в восторге На жеребца, седла не чуя, В ряды бойцов скачу я с жаром, С свирепой радостью лечу я.

И если грудь пробьют мне пули, — Найду, кто рану забинтует, Кто будет боль моих ранений Лечить бальзамом поцелуев.

И есть кому — в плену ли буду — Придти в темницу, к изголовью, И осветить ее, как светом Звезды предутренней, — любовью.

На плахе если же умру я, Под боевой паду ль грозою, — Найдется, кто с груди пробитой Кровь смоет светлою слезою.

Беркес, 1846

ГРАФУ ШАНДОРУ ТЕЛЕКИ

Ты, изучая книгу рода, Обильем предков утомлен, — А я, по правде, и не знаю, Кем был мой дед, что делал он. В дворце на бархатных пеленках, В сиянье люстр рожден ты был, — А я родился на соломе, Светильник в хижине коптил. В карете мчишь ты на прогулку, Чудесны кони, кучер лих, — Я по-апостольски гуляю, Хожу я на своих двоих! Ты утопаешь в изобилье, Всё, всё спешат тебе подать, — А я сейчас вот сыт, но завтра, Быть может, буду голодать. Короче: ты — магнат, я — нищий! Но говорю тебе — гордись, Милейший граф, мой добрый тезка, Что мы с тобою обнялись: Не выпадет такого счастья Салонному пустому льву, Чтоб называл его я другом, Вот как тебя сейчас зову! К чему все это? Нет, не стану Вести твоих достоинств счет... Гордись хотя бы тем, что имя Твое в стихах моих живет!

Колто, 1846

НОЧЬ ЗВЕЗДНАЯ, НОЧЬ СВЕТЛОГОЛУБАЯ

В окне раскрытом блещет ночь без края, Ночь звездная, ночь светлоголубая. Безмерный мир простерся между ставен. Мой ангел красотою звездам равен.

Ночь звездная и ангел мой — два дива, Затмившие всё, чем земля красива. Красот я много видел средь скитаний, Но ни одной не встретил несказанней.

Бледнеет тонкий серп луны, и скоро Зайдет за синий выступ косогора. Как горя след забытый, незаметно Совсем исчез он в дымке предрассветной.

Уже почти над головой стожары, Достигло пенье петухов разгара, Проснулся день, и свежий ветер, вея, Легко мне обдувает лоб и шею.

Пора бы растянуться на кровати И от окна уйти. Но сон некстати. Зачем мне спать? Какой мне сон приснится, Который с жизнью наяву сравнится?

Колто, 1846

В АЛЬБОМ СУПРУГЕ ЯНОША КОВАЧА

Да! Бесхарактерность — вот язва века! А ведь характер, только он один, И сделал человека человеком, А без него мы — жалкие чурбашки, А если не чурбашки, — так зверье. О женщина, тебя я умоляю Двойной мольбой — от имени отчизны И человечества: когда детьми Благословит тебя господь всевышний, Характер чистый и неколебимый В них воспитай. И, можешь мне поверить, Все остальное к ним придет само!

Дебрецен, 1846

В АЛЬБОМ БАРЫШНЕ Р. Э.

Весною выбеги на волю. Послушай, как полно раздолье Вечерним лепетом ручья, Прохладой, полем, ароматом Цветов, угаснувшим закатом, Луною, пеньем соловья! Как звезды слушают с любовью Его ночное славословье, И сколько на земле добра! Вбирай его в себя и слушай, И, пропитав вселенной душу, Беги домой, спи до утра, — И пусть с тобою всё случится, Что в эту ночь тебе приснится.

Дебрецен, 1846

Я ДОМОЙ ВЕРНУЛСЯ...

Я домой вернулся, бросил Посох странника... А лиру В руки взял... Она молчала... Вот и снова зазвучала, Чтобы песню спел я миру.

Скорбные найду я струны, Пальцы этих струн коснутся, И от пальцев эти струны, А от струнных звуков сердце Содрогнутся, разорвутся.

Был я всюду, видел много, Но одно познал в печали: Что страна теряет силы, Что стоим мы у могилы, Что мадьяры измельчали.

Вся законность наша — рынок, Где и честь, и полномочья — Купишь все без исключенья За чины, за угощенье... Эй, отчизна, доброй ночи!

Не с высот падем мы в бездну, Чтобы утонуть в пучине, Как подстреленная птица... Можем ли с высот свалиться, Коль высот не знаем ныне?

Мы — как низменные черви Посреди дорожной пыли! Ведь достоинства людского

Не найдешь в нас никакого, — Как червей нас и давили!

Горе сыновьям отчизны! Горе тем, кто непослушны, Кто свою отчизну любит И не смотрит равнодушно, Как страну родную губят.

Пешт, 1846

ЧТО ОТ НАС ДАЛЕКО?

Что от нас далеко? Тиса. Что за Тисой? Хортобадь. В Хортобади есть девчушка, С ней бы век мне коротать.

О красавица девчушка, Ты в далекой стороне. Хоть бы знать, что иногда ты Вспоминаешь обо мне!

А меня воспоминанье, Утешитель мой и друг, Под руку берет частенько И к тебе уводит вдруг.

На холме твой замок, фея, Дом, глядящий в три окна На поля, где в синей Самош Ночью плавает луна. Сад запущенный близ дома, И на глади озерной Тень и мгла от ив плакучих — Все встает передо мной.

В том саду мы жизнью жили, Каждый час наш был цветком. День грядущий скрыт, как прошлый Настоящего венком.

Бьется ль также твое сердце, Так же, девочка моя, Как мое, когда о прошлом Сладко вспоминаю я.

Ждешь ли ты, как я, чтоб снова Счастья день пришел для нас, Верю: смотрит в эти дали Взор твоих прекрасных глаз.

Пешт, 1846

КУСТ ЗАДРОЖАЛ...

Куст задрожал оттого, Что птичка задела листы. Сердце дрожит оттого, Что мне припомнилась ты, Снова припомнилась ты — Девочка с нежной душой, Самый большой алмаз В этой вселенной большой. Полон до берегов Наш многоводный Дунай, Сердце мое любовью Пенится через край. Любишь ли ты меня? Как я люблю тебя! Сильней, чем отец твой и мать Могут любить тебя.

Прежде — счастливое время! — Прежде меня ты любила. То было теплой весною, Нынче зима наступила. Если не любишь меня — Благослови тебя бог! Если ты любишь — стократно Благослови тебя бог!

Пешт, 1846

ДУША БЕССМЕРТНА

Что душа бессмертна — знаю! Но не где-нибудь на небе, А вот здесь, на этом свете, По земле она блуждает.

Между прочим вспоминаю: Кассием я звался в Риме, В Альпах был Вильгельмом Теллем И Камиллом Демуленом Был в Париже, — и возможно, Здесь я тоже кем-то стану!

Пешт, 1846

ВЕНГЕРСКАЯ НАЦИЯ

Обойдите земли этой Богом созданной планеты, Не отыщете вы наций, Что с венгерскою сравнятся. Как с ней быть, что делать с нею? Презирать ли, сожалея? Край же, рассуждая строго, Как букет на шляпе бога. Дивный край, подобье сада, Глазу и душе отрада. А богатство! Ветру бросив Океан своих колосьев, Зыблется и золотится На полях ее пшеница. А сокровищ сколько щедрых В рудниках и горных недрах! То добро, что там таится, И во сне вам не приснится. Но народ средь нив богатых Ходит сиротой в заплатах, Терпит голод, униженье И идет к уничтоженью. Перлы мудрости бесплодно Прячутся в душе народной, Если же из тьмы дремучей Их наверх выносит случай, Никого они не тронут И в грязи безвестно тонут. Или горькая судьбина Их уносит на чужбину В глубь хранилищ заграничных И трудов иноязычных. И когда мы там свой гений

Открываем в изумленье, Рады мы, что это чудо Перешло туда отсюда. Вот та гордость, смысл которой Равен горькому позору, И которой, как величьем, Все мы в нос друг другу тычем. Чем хотите тешьте сердце, Но не гордостью венгерца. Вот уже тысячелетье Обжили мы земли эти. И когда бы нас не стало. По каким чертам анналы Сохранят векам известье О венгерцах в этом месте? Что внесли мы за событья В ход всемирного развитья? Чем мы можем на странице Летописи похвалиться? Вот что скажут летописцы: «Здесь селилось возле Тисы Племя, сотни поколений, В вечной трусости и лени». Родина! На наше имя Брось два-три луча, и ими Вновь зажги под мутью ржавой Чести блеск и доброй славы!

Пешт, 1846

ОДНО МЕНЯ ТРЕВОЖИТ...

Одно меня тревожит: неужели Среди подушек я умру в постели; Увяну тихо, как цветок, точимый Какой-то тлею, еле различимой; Истаю, как свеча средь комнаты пустой... Нет, господи, хочу кончины не такой! Пусть буду я, как дуб, а смерть — как молний пламя; Пусть буря налетит и вывернет с корнями; Пусть буду, как утес, низвергнут я с высот Грозой, которая все в мире потрясет От недр земных до небосвода! Когда невольники-народы Терпеть не пожелают боле Постыдного ярма неволи И выступят на поле брани Под красным знаменем восстанья, И гневом воспылают лица. И на знаменах загорится Святой девиз: «Свобода мировая!»; Когда от края и до края С востока к западу раздается трубный глас — И при последнем издыханье тираны ринутся на нас, — Пусть упаду тогда я, Пусть хлынет кровь младая, Из сердца моего пускай она польется! И если с уст моих крик радости сорвется, Пускай его поглотит канонада! Я упаду! Жалеть меня не надо! К победе, завоеванной скача, Меня растопчут кони сгоряча. ... Настанет день великих похорон, — И мой найдется прах, и собран будет он,

И унесен под траурное пенье В сопровожденье траурных знамен К могиле братской всех сынов народа, Погибших за тебя, всемирная свобода!

Пешт, 1846

ЛЮБОВЬ И СВОБОДА...

Любовь и свобода — Вот все, что мне надо! Любовь ценою смерти я Добыть готов, За вольность я пожертвую Тобой, любовь!

Пешт, 1847

МУЖЧИНА, БУДЬ МУЖЧИНОЙ...

Мужчина, будь мужчиной, А куклой — никогда, Которую швыряет Судьба туда-сюда! Отважных не пугает Судьбы собачий лай, — Так, значит, не сдавайся, Навстречу ей шагай!

Мужчина, будь мужчиной! Не любит слов герой. Дела красноречивей Всех Демосфенов! Строй, Круши, ломай и смело Гони врагов своих, А сделав свое дело, Исчезни, словно вихрь!

Мужчина, будь мужчиной! Ты прав — так будь готов, Отстаивая правду, Пролить за это кровь! И лучше сотню раз ты От жизни откажись, Чем от себя! В бесчестье К чему тебе и жизнь!

Мужчина, будь мужчиной! Ведь не мужчина тот, Кто за богатства мира Свободу отдает! Презренны — кто за блага Мирские продались! «С котомкой, но на воле!» — Пусть будет твой девиз.

Мужчина, будь мужчиной! Отважен будь в борьбе. И ни судьба, ни люди Не повредят тебе! Будь словно дуб, который, Попав под ураган, Хоть выворочен с корнем, А не согнул свой стан!

Пешт, 1847

КУТЯКАПАРО

Бог весть где шинок затерян. Ошибется каждый, Кто здесь утолить намерен Голод или жажду. Пить захочешь на ночлеге — Проклянешь с досады Ноя, спасшего в ковчеге Ветку винограда.

Длинный узкий стол в трактире Поперек каморки
Так и рухнет, растопыря
Хилые подпорки.
Вдоль стола по стенке криво
Лавка протянулась,
Но не от гостей наплыва,
А от лет согнулась.

Тут же рядом край постели; Свежесть одеяла Никого еще доселе Спать не побуждала. Как у сгорбленной торговки, У кирпичной печи Трещины на облицовке И вдавились плечи.

Сам корчмарь молчит, ни звука Не издаст годами. Рот дан чудаку, чтоб скуку Выражать зевками. Деметер угрюм и жалок, А жена — на славу.

Меж былых провинциалок Почиталась павой.

Но лишенья потрепали Бедную корчмаршу, Хоть пяти десятков краля И никак не старше. Взбиты волосы растрепы, Словно от погони, И лицо страшней циклопа — Пугало воронье.

Все ворчит, что власти строги, Что буянов стаю И воров с большой дороги Истребили в крае. В золотые дни разбоя Был барыш солидный. А теперь житье какое? Пятака не видно.

Так идут дела в питейной В полусне и дреме, Чередой одноколейной Во дворе И в доме. Лишь одно окно в светлице, Да и то разбито. Календарною страницей Скважина прикрыта.

Я был крошкой без штанишек В день, когда на пасхе Ливень смыл с корчмы излишек Извести и краски. Но, наверное, в отплату

За ее пропажу, На простенках чертенята Выведены сажей.

Вместо вывески над зданьем Обруч с тонкой жердью, Словно висельник, качаньем Говорит о смерти. Сам корчмарь от прежней славь Сохранил немного: Заспанного волкодава Дома у порога.

Какова корчмы картина, Такова и местность. Лишь холмы грядой пустынной Бороздят окрестность. На песчаных их вершинах, Где лишь ветры косят, Несколько кустов бузинных Ягоды приносят.

Здесь колоколов далекий Отзвук умирает. Залетевшая сорока В страхе улетает. Даже солнце дышит грустью И глядит унылей На корчму и захолустье Из-за тучи пыли.

В ста шагах от поворота Статуя святого; На плечо повесил кто-то Ей мешок холщовый.

26* 403

Это словно увещанье: «Не мечтай о многом! Не дождешься подаянья, Проходи-ка с богом!»

Пешт, 1847

ГРУСТНАЯ НОЧЬ

Вот опять я бодрствую средь ночи — Мысль баюкаю, уснуть она не хочет. Что с отчизной будет, что — со мною? Ведь и так сомнений много в жизни, Что ж на плечи взял еще одно я? Ты томишь меня, любовь к отчизне!

Видно — такова судьба поэта! Ведь как будто в океане где-то С бурями он борется все время, А выходит на берег скиталец — Вновь тревога: что же будет с теми, Кто на кораблях еще остались?

Эх, отец, зачем послал учиться? Лучше б мне за плугом волочиться! Фея книг прелестна, но жестока: Глянешь в книгу — фея схватит душу И на звезды вознесет высоко, И не спустит, а столкнет, обрушит!

Чем склоняться к этим самым книгам, Глянь на солнце и ослепнешь мигом. Ну, а книга, коль сидеть над нею, Дальнозоркость сообщает оку:

Все на свете кажется крупнее И милей... коль смотришь издалека.

Ах, остаться, ах, остаться мне бы Земледельцем, как велело небо, Не была бы вот такой тяжелой Эта ночь, что бесконечно длится, Сны да грезы с песнею веселой Надо мной летали бы, как птицы!

Был бы пахарем иль стадо пас я, Где-то в пуште я нашел бы счастье, Шло бы с колокольчиками стадо, Я в кусты залег бы, где прохлада... Свищет флейта — вот и сердце радо, Слушателей вовсе и не надо!

В воскресенье можно нарядиться, Поджидает пастуха девица; Хороша она, трудолюбива И свежа, как веточка весною, С ней проводит день пастух счастливо, — Вот и верит в счастье мировое!

Пешт, 1847

ДВОРЕЦ И ХИЖИНА

О замок, чем гордишься ты? Ты чванен, как владелец твой, Который всю свою ничтожность Скрыл под алмазной мишурой. А если мишуру срываем мы С кафтана, с шляпы, с голенищ, —

Воистину неузнаваемый Стоит владетель, духом нищ.

А как возвысился ничтожный? Как раздобыл он силу, власть? О, так же, как и ястреб птичку, Чьей кровью он напьется всласть. Мчит ястреб, горлинку преследуя, А где-то в гнездышке птенец Ждет мать свою, еще не ведая, Что ей пришел уже конец!

Дворец! Все то, чем ты богат, Разбоем приобретено. Но не гордись богатством этим, — Дни сочтены твои давно! Надеюсь, что увижу скоро я Твои руины, исполин, А также черепа, которые Покоятся среди руин.

А ты поблизости дворца, О хижина, бедна ты столь, Что прячешься среди деревьев От скромности. Но ты позволь, Непритязательная хижина, Войти в тебя. Ведь наконец Под этим кровом и увижу я Пыланье трепетных сердец.

Свят небогатый сей очаг! Я преступил через порог. Не под соломенным ли кровом Порой рождается пророк? Спаситель вышел в мир из хижины,

Из хижин вышли мудрецы, И все ж забиты и обижены Вы, хижин скромные жильцы!

Не бойся, бедный, добрый люд! Все ближе он, счастливый час. Страдали встарь вы, бъетесь ныне, Зато грядущее — для вас! Да! Преклоню свои колени я, Вошедши в скромное жилье. О, дайте мне благословение, А я вам подарю — свое!

Пешт. 1847

ПЕСНЯ СОБАК

Воет вихорь зимний В облачные дали, Близнецы метелей — Дождь со снегом валят.

Нет забот нам — угол В кухне есть согретый, Господин наш добрый Дал нам место это.

О еде забот нет, — Ест хозяин сладко, На столе хозяйском Есть всегда остатки.

Плеть — вот это правда — Свистнет — так поплачешь!

Но хоть свистнет больно — Кость крепка собачья.

Господин, смягчившись, Подзовет поближе, Господина ноги Мы в восторге лижем!

Пешт. 1847

ПЕСНЯ ВОЛКОВ

Воет вихорь зимний В облачные дали, Близнецы метелей — Дождь со снегом валят.

Горькая пустыня — В ней нам век кружиться, В ней куста нет даже, Где б нам приютиться.

Здесь свирепый холод, Голод в брюхе жадный, — Эти два тирана Мучат беспощадно.

Есть еще и третий: Ружья с сильным боем, Белый снег мы кровью Нашей красной моем. Хоть прострелен бок наш, Мерзнем днем голодным, Пусть в нужде мы вечной, Но зато свободны!

Пешт, 1847

ПОЭТАМ XIX ВЕКА

Не для пустой забавы пой В угоду суетному миру! Готовься к подвигу, поэт, Когда берешь святую лиру. И если хочешь воспевать Свою лишь радость и страданья, Не оскверняй заветных струн, — Нужны ль тогда твои созданья?

В пустыне знойной страждем мы, Как Моисей с его народом, — За божьим огненным столпом Он шел по землям и по водам. А ныне огненным столпом Поэт людей ведет в пустыне. Господь поэту повелел Вести их к новой Палестине.

Иди же, если ты поэт, С народом сквозь огонь и воду! Проклятье всем, кто, кинув стяг, Изменит своему народу! Проклятье всем, кто отстает! Проклятье трусости и лени, И тем, кто, бросив свой народ, Ушел искать прохладной тени! Пророки лживые твердят, Что мы пришли в предел желанный, Что здесь окончен долгий путь И мы — в земле обетованной. Ложь! Говорю вам: это ложь! Не миллионы ль страждут ныне И терпят голод, жажду, зной, Скитаясь в огненной пустыне?

Когда любой сумеет брать От счастья полными горстями, Когда за стол закона все Придут почетными гостями И солнце мысли, воссияв, Над каждым домом загорится, Мы скажем: вот он, Ханаан, Пришла пора остановиться!

Но до прихода новых дней Не будет нам успокоенья. Быть может, не оплатит жизнь Нам эти битвы и боренья, Но смерти кроткий поцелуй Смежит нам взор, и благосклонно Она на ложе из цветов Опустит нас в земное лоно.

Пешт, 1847

ЭТЕЛЬКЕ ЭГРЕНИИ

Так это — дочь твоя? Не верю, Габор, нет! Нет, не могла она родиться у людей. Воображение, и то лишь иногда, Способно создавать таких прекрасных фей.

Шекспир, один Шекспир, любимец твой Шекспир Подобный образ мог в счастливый миг создать, Лишь муза дивная, влюбленная в тебя, Могла такую дочь тебе в подарок дать.

Я на красавицу с отрадою смотрю, Боясь задеть ее случайно как-нибудь, И с опасеньем приближаюсь к ней, — Поверь, страшусь ее своим дыханьем сдуть.

Она, воздушная, так радостно легка, Что слышишь о таких лишь в сказках да стихах, Живут подобные, должно быть, существа Вблизи горы Олимп в ветвях и ручейках.

Когда ж она глядит в лицо мое... Мой друг, Вели ей не смотреть! Ее глаза томят! О, если б знали вы, что вспоминаю я, Когда ловлю ее лучистый кроткий взгляд.

Когда она глядит, припоминаю я Те детские мои невинные года. — Все, что я потерял, еще могу вернуть, Лишь детства не верну я больше никогда.

О, как тот счастлив муж, как счастлива жена, Что девочке сказать имеют право: дочь;

Но во сто крат еще счастливей, кто ее Любимой назовет, ведя из дома прочь.

Вот будет счастие — назвать ее своей! Когда она, родясь, вступила в бытие, Господь унес с небес ярчайшую из звезд И ту звезду вложил, как сердце, в грудь ее.

Пешт, 1847

СВЯТАЯ МОГИЛА

В дальней, дальней дали, В той стране, откуда Птицы к нам несутся И куда обратно Эти птичьи стаи Осенью вернутся.

На песке у моря Высится святая Скорбная могила, И кустарник дикий Тень свою бросает На нее уныло.

Только дикий кустик Стелет тень, как траур, Над героем этим, Что гремел когда-то, Но теперь безмолвен Целое столетье. Там, в своей отчизне, Он свободы ради Дольше всех сражался. Все уж отступились; Брошенный судьбою, Он один остался.

Он ушел в изгнанье, Чтоб своей трусливой Нации не видеть, Чтоб ее не видеть, Не предать проклятью, Не возненавидеть!

А отсюда с болью Он смотрел, как тучи Над отчизной встали И огнем заката (Иль стыдом, быть может) В небесах пылали.

Сидя здесь, на скалах, Слушал он, как в море Клокотали воды, Думая, что слышит Голос пробужденья Своего народа.

Ждал, и ждал, и ждал он Вести, что отчизна Вновь освободилась. Одного дождался: Вместо этой вести Смерть к нему явилась.

Дома это имя Чуть не позабылось. В нынешние годы Помнит его только Лишь поэт — светильник Сладостной свободы.

Пешт. 1847

ИДИ СЮДА...

Иди сюда! Давай-ка потолкуем! Авось меня одаришь поцелуем, А то — двумя! Чего уж там скупиться? Вдруг поцелуй да в грошик превратится!

Иди сюда! Сказал тебе — иди же! Ведь я насквозь тебя, голубка, вижу. Не лицемерь! Не надо притворяться, Ведь все я знаю! Любишь целоваться!

Что? Ты не знаешь в поцелуях толка? Я научу! Узнать в них толк недолго, Я растолкую, как за дело взяться, — Ведь с детских лет я мастер целоваться!

Да! С детства был я мастер целоваться, Любил я за девчонками гоняться. Девчонки в школе, я — вблизи, на страже, Как выйдут — расцелую их тотчас же! Так дай же алый ротик! Сделай милость, Ты видишь: мать твоя в сарае скрылась. Пусть ищет яйца! Будет час копаться! Успеем досыта нацеловаться!

Пешт. 1847

ЯНОШУ АРАНЮ

«Толди» написавшему — душу шлю свою. Как тебя я обнял бы, как пожал бы руку!.. Друг поэт, поэму я читал твою, Каждому внимая с наслажденьем звуку.

Если же душой моей обожжешься ты, — Сам ее зажег ты, сам виновен в этом. Но откуда взял ты столько красоты, Что в твоей поэме блещет щедрым светом?

Кто ты, появившийся сразу, как вулкан, Вставший неожиданно, как со дна морского? Всем другим от лавров только листик дан, А тебе по праву — весь венок лавровый.

И кому обязан ты этим мастерством? Был учитель? В школе ты учился годы? Ни при чем учитель, школа ни при чем, — Вижу, ты учился у самой природы.

Песнь твоя простая — как колокол степной, Колокол, пленивший сердце чистотою. Он звучит над степью, надо всей страной, Не тревожим шумной суетой мирскою.

Только тот народный подлинный поэт, Кто народ небесной насыщает манной. Ведь народ не часто видит солнца свет Сквозь густые тучи, сквозь покров туманный.

И никто бедняге труд не облегчит. Значит, нам, поэтам, петь народу надо. Пусть же утешеньем наша песнь звучит, Пусть на ложе жестком будут сны усладой.

Вот о чем я думал, встретившись с тобой На горе поэзии гордой, величавой. То, что было начато не бесславно мной, Дорогой товариш, продолжай со славой.

Пешт, 1847

ТРИ СЫНА

Сын коня седлает, едет вон из дому, А отец и молвит сыну дорогому: «Не езжай, мой старший, расседлай гнедого, Не покинь отца ты старого, больного».

Старший сын ответил: «Нет, отец, поеду, Завоюю славу, одержу победу». И в седло вскочил он, вставил в стремя ногу, На войну помчался, в дальнюю дорогу.

Скачет конь обратно, не везет героя, Стал и ржет, копытом шумно землю роя. Где его хозяин? Пал на бранном поле. Голову срубили, на кол накололи. Сын коня седлает, едет вон из дому, А отец и молвит своему второму: «Не езжай, мой мальчик, расседлай гнедого, Не покинь отца ты старого, больного».

Средний сын ответил: «Нет, отец, поеду — За бесценным кладом по чужому следу». И в седло вскочил он, вставил в стремя ногу, В темный лес помчался, душу вверив богу.

Скачет конь обратно, не везет героя, Стал и ржет, копытом шумно землю роя. Где хозяин? Грабил, жил ночной добычей, И властям обиден стал его обычай.

Раз он пил в трактире, тут его схватили И в тюрьму швырнули, на цепь посадили. А в тюрьме-то сыро, — взмокло все на воре. Чтоб скорей он высох, был повешен вскоре.

Тут отец и молвит своему меньшому: «Сын, седлай гнедого, уезжай из дому! Следуй братьям: славу или клад ищи ты, Кинь отца больного, сын мой, без защиты!»

Младший сын ответил: «Нет, отец, не надо! Не хочу я славы, не ищу я клада. Никуда не двинусь из родного края, Разлучить нас может лишь земля сырая».

Так сказал и слово он сдержал: не славу И не клад, но счастье добыл он по праву. И с отцом он вместе спит в одной могиле, И цветы надгробный холмик осенили.

Пешт, 1847

ВЕНГЕРЕЦ Я!

Венгерец я! На свете нет страны, Что с Венгрией возлюбленной сравнится. Природой все богатства ей даны, В ней целый мир, прекрасный мир таится. Все есть у нас: громады снежных гор, Что из-за туч глядят на Каспий дальный, Степей ковыльных ветровой простор, Бескрайный, бесконечный, безначальный.

Венгерец я! Мне дан суровый нрав, — Так на басах сурова наша скрипка. Забыл я смех, от горьких дней устав, И на губах — лишь редкий гость улыбка. В веселый час я горько слезы лью, Не веря в улыбнувшееся счастье, Но смехом я скрываю скорбь мою, Мне ненавистны жалость и участье.

Венгерец я! За морем прошлых дней Я, гордый, вижу скалы вековые — Деянья славной родины моей, Твои победы, Венгрия, былые. Европу сотрясала наша речь, Мы были не последними на свете. Дрожали все, узнав венгерский меч, Как молнией напуганные дети.

Венгерец я! Но что моя страна! Лишь призрак жалкий славного былого! На свет боится выглянуть она: Покажется — и исчезает снова. Мы ходим все, пригнувшись до земли, Мы прячемся, боясь чужого взора,

И нас родные братья облекли В одежды униженья и позора.

Венгерец я! Но стыд лицо мне жжет, Венгерцем быть мне тягостно и стыдно! Для всех блистает солнцем небосвод, И лишь у нас еще зари не видно. Но я не изменю стране родной, Хотя бы мир взамен мне обещали! Всю душу — ей! Все силы — ей одной, Сто тысяч раз любимой в дни печали.

Пешт, 1847

ЖИЗНЬ ГОРЬКА, СЛАДКА ЛЮБОВЬ

Я всегда хочу добра другим, Но всегда обижен и гоним. Одеяло рвут на мне, в подушку Мне шипы суют, срывая злость, А потом хохочут и с издевкой Спрашивают, хорошо ль спалось. Жизнь горька, лишь ты, любовь, сладка, Капни, подсласти питье слегка.

Сердце — лира; и, по ней скача, Горе струны треплет сгоряча, И нестройно громыхает лира, Как набат, ревущий на ветру, Редко входят два-три чистых звука В ту шальную, дикую игру. Жизнь горька, лишь ты, любовь, сладка, Капни, подсласти питье слегка.

27* 419

Знаю я, что только ты, любовь, Душу треснувшую склеишь вновь. Ты как дуб; отчаянья потоки Этот дуб ветвистый не зальют, И мои изгнанницы-надежды На его ветвях найдут приют. Жизнь горька, лишь ты, любовь, сладка, Капни, подсласти питье слегка.

Я — как солнце осени. Любя, Девушка, смотрю я на тебя. Нет во мне былой весенней силы, Но едва я на тебя взгляну, Как твой милый, твой прелестный облик Мне напоминает про весну. Жизнь горька, лишь ты, любовь, сладка, Капни, подсласти питье слегка.

Пешт, 1847

ТИСА

Пал на землю сумрак пеленой, Тихо плещет Тиса предо мной. Резвый Тур, что к матери ребенок, К ней стремится, говорлив и звонок.

Средь размытых берегов река Катится, прозрачна, широка, Не сломает солнца луч волною, Не рассеет пеной кружевною.

И лучи на рдяной глади вод Завели, как феи, хоровод, И звенят невидимые хоры, И бряцают крохотные шпоры.

И ковром по самый край земли Золотые травы залегли. А поля просторны и широки, И на них снопы — что в книге строки.

Дальше, величавый и немой, Дремлет лес, внизу окутан тьмой, Только кроны от зари багровы, Будто кровь струится из дубровы.

С берега склонились над водой Ивы да орешник молодой, А в просвете рдеет сквозь верхушки Тусклый шпиль в далекой деревушке.

Словно память о златых часах, Плыли тучки, рдея в небесах. Сквозь туман мечтательные взоры Мне кидали Мармароша горы.

Все молчало. Замерла вода, Лишь свистела птица иногда. Как комар, вдали, не уставая, Мельница жужжала луговая.

К берегу напротив из села Девушка с кувшином подошла, На меня взглянула, наклонилась, Зачерпнула, быстро удалилась.

Я молчал, не двигаясь во мгле, Будто вдруг прикованный к земле, Заглядясь в темнеющие воды, Опьяненный красотой природы.

О природа, с языком твоим Наш язык могучий несравним, Ты молчишь, но речи бессловесной Внемлет слух, как музыке чудесной.

Я добрался к ночи в хутора, Ужинал плодами у костра, Ярким жаром ветви трепетали, Долго мы с друзьями толковали.

«Но скажите, — молвил я друзьям, — Чем же Тиса досадила вам, Почему всегда она в ответе? Ведь покорней нет реки на свете.»

Через три или четыре дня Поднял на заре набат меня, Крик: «Снесло! Прорвало! Горе, горе!» Глянув в окна, я увидел — море.

Тиса будто цепи сорвала, Всю плотину в щепки разнесла, Разлилась, не ведая предела, Проглотить весь мир она хотела.

Пешт, 1847

ТУЧИ

Ах, был бы я птицей летучей, Я в тучах бы вечно летал, А был бы художником, — тучи, Одни только тучи писал.

Люблю их. Слежу в ожиданье За ними и шлю им привет. Пройдут, я скажу: «До свиданья», — И долго смотрю им вослед.

Плывут по дороге небесной Мои дорогие друзья, Меня они знают, известна Им каждая дума моя.

Нередко я видел когда-то, Как плыли они на закат И спали в объятьях заката, Как дети невинные спят.

Я видел их в гневе. Могучи, Нависнув стеной грозовой, Как дерзкие воины, тучи Ветра вызывали на бой.

Я видел: забрызганный кровью, Встал месяц, как мальчик больной, И тучи сошлись к изголовью — Сестер перепуганных рой.

Я все повидал их обличья И всех полюбил их давно,

Их нежность, и скорбь, и величье Навеки мне милы равно.

За что ж я поток их суровый Принять в свою душу готов? За то, что всегда они новы И стары во веки веков.

За то, что на странниц летучих Похожи порою глаза: В глазах у меня, как и в тучах, И молния есть, и слеза.

Пешт. 1847

В РЯСЕ ХОДИТ КАПУЦИН...

В рясе ходит капуцин Быть святым обязан, — До девиц и молодиц Путь ему заказан.

Носит школьник пальтецо... Хоть и скачет сердце, — Близ девиц и молодиц Молод он вертеться.

Ходит в ментике гусар, Дудка зазвучала, — От девиц и молодиц Он бежит к капралу.

Беззаботный пастушок В драной шубе ходит, — Близ девиц и молодиц Он всю жизнь проводит.

Пешт, 1847

ВЕНГЕРСКИМ ЮНОШАМ

Где цветов не видно, там плодов не будет. Не цветы вы разве, молодые люди? Горе, горе саду... Это для отчизны наказанье божье, Что с такой бесцветной, серой молодежью Нянчиться ей надо!

Я сольюсь душою с тучей грозовою, Пролечу я низко над родной страною, — Тихо... Тьма настала. Если б эта туча молнии метала, Многих бы венгерских юношей не стало, Многих бы не стало,

Ибо права жизни вы не заслужили... Ваши предки — звезды, вы же вроде пыли, Сеетесь сквозь сито. И не дай создатель, чтоб страна родная Вас к себе на помощь позвала! Я знаю — Вы ей не защита!

Сердце — нараспашку. Вечно настежь дверцы! Широко раскрыли вы чертоги сердца Для гуляк беспечных, Чтоб кому угодно место доставалось,

А патриотизму места не осталось В залах бесконечных.

Лишь порой найдется уголок единый, Где любовь к отчизне виснет паутиной Вдалеке от свету. Но корысть не дремлет: «Что за грязь, смотрите!» Вот и эти рвете тоненькие нити По ее совету!

До чего ж вы слабы! Настоящей славе Предпочли вы ныне жалкого тщеславья Пламень преходящий. Ведь сиянью солнца, пламенному свету Предпочли вы тусклой лампочки вот этой Язычок коптящий!

О любовь к отчизне, ты, любовь святая, Как тебя прославить! Право, я не знаю, Где перо такое, Где мне взять такого пламенного жара, Чтобы мог я снова каждого мадьяра Превратить в героя!

О язычники! Рабы! Вас жду давно я: Обмакну я в сердце лезвие стальное. И своею кровью Окроплю вас щедро. Эта кровь, быть может, Истинную правду вам познать поможет. Окрещу вас вновь я!

Пешт, 1847

BETEP

Сегодня ветерком, чуть слышным, легким, нежным, На крыльях я лечу в зеленые поля. Бутонам скромным я шепчу и напеваю: «Пора проснуться вам, уже цветет земля. Я буду вас любить, я буду вам защитой, Раскройте лепестки, о девушки весны!» И целомудренно с них падают покровы, И я на их груди, забывшись, вижу сны.

Но завтра, вновь рожден, я грозным вихрем стану, И в страхе куст согнется предо мной. Дыханьем яростным, как острой саблей, срежу Поблекшую листву, рожденную весной. Коварно я шепну цветам, дрожащим в страхе: «О легковерные, пора увянуть вам!» И к осени на грудь они головки склонят, Я ж злобно рассмеюсь, взлетая к облакам.

Сегодня кроток я. Подобно светлой речке, По воздуху плыву я в тишине немой. Лишь пчелка чувствует мое прикосновенье, Когда, усталая, летит с полей домой. Она изнемогла под непосильной ношей, Той ношей сладкою, что превратится в мед. И бережно беру пчелу в свои ладони И облегчаю ей медлительный полет.

Но завтра поутру ревущим ураганом На диком жеребце промчусь я по волнам И, гневно океан схватив за чуб зеленый, Ему, как шалуну учитель, взбучку дам. Над морем пролечу и, если встречу судно, Я вырву паруса, залью его волной И мачтой напишу на закипевшей пене, Что в гавани ему не отдыхать родной!

Пешт, 1847

КО МНЕ СТУЧИТСЯ СТАРАЯ БЕДА

Иных краев посланница, опять Ко мне стучится старая беда И говорит мне: «Собирайся в путь, Ты в землю скоро ляжешь навсегда». Я слаб и болен. Силы все бегут, Как армия, разбитая в бою. Быть может, кровь, отхлынув от лица, В последний раз согрела грудь мою.

Зачем ты, смерть, колеблешься? Зачем Не уведешь меня под темный свод? Или сама боишься ты меня И только хочешь напугать?.. Но тот, Кто против жизни смело шел, как я, Без страха, смерть, глядит в лицо твое. Жизнь — краткий отдых в длительной борьбе, Смерть — краткая борьба и забытье.

Ведь, правда, было б жаль меня? О да, В моей груди — неспетых песен рой. То — семена, из них расцвел бы лес И тень скитальцу дал бы в летний зной. Я только пел, а где ж дела мои? Мы пишем красным праздничные дни.

Но праздников не знала жизнь моя, Пролью же кровь, и да придут они.

Иль не дожить до радости такой? Ужели прежде, чем исторгну меч И в грохот битвы ринусь на коне, В сырую землю суждено мне лечь! О, если надо умереть тотчас, Приди, весна, приди, моя любовь, Чтобы еще раз увидать меня, Чтоб я хоть раз тебя увидел вновь.

Ускорь шаги, прекрасная весна, Поторопи свой радостный приход! Когда без солнца жизнь моя прошла, Хоть в смертный час пусть солнце мне блеснет! Приди же, гостья, принеси цветы! Земля теперь — холодный, грустный прах. И если жизнь провел я без цветов, Пускай хоть мертвый буду спать в цветах.

Пешт, 1847

ОТ ИМЕНИ НАРОДА

Народ пока что просит... Просит вас! Но страшен он, восставший на борьбу. Тогда народ не просит, а берет! Вы Дёрдя Дожи помните судьбу? Его сожгли на раскаленном троне, Но дух живет. Огонь огня не тронет! И берегитесь пламень тот тревожить — Он всех вас может уничтожить!

Когда-то только есть хотел народ, Тогда он был почти как дикий зверь, Но вот очеловечился народ... Так как же быть без прав ему теперь? Права ему людские! Уничтожим Клеймо бесправья на созданье божьем! А тем, кто ныне за порядок старый, Не избежать господней кары!

Кто вы такие, чтоб иметь права, Которых не имеет весь народ? Отцы добыли родину для вас! Не на нее ль народный льется пот? Вы говорите: золотые копи! Но что ж молчите вы о рудокопе, Что роет землю и дробит породу? Ведь это же — рука народа!

«Отчизна — наша, наши и права!» — Вы гордо заявляете сейчас, А что с отчизной будет в грозный час, Когда враги набросятся на вас? Но разве можно спрашивать... Простите! Геройство ваше, дёрские событья Забыл! Пора бы памятник поставить, Чтоб Дёр, позор и бегство славить!

Права народу! Дайте их скорей, Во имя мира, если мир вам мил! Поймите: рухнет родина моя, Как без подпор, без новых, свежих сил! Сорвали конституции вы розу, А все шипы швырнули вы народу. Хоть лепесток народу подарите, А... часть шипов себе возьмите!

Народ пока что просит... Скоро вы Узнаете, как страшен он в борьбе! Восстав, не просит, а хватает он! О Дёрдя Дожи вспомните судьбе: Его сожгли на раскаленном троне, Но дух живет. Огонь огня не тронет! И берегитесь пламень тот тревожить — Он всех вас может уничтожить!

Пешт, 1847

ЛИШЬ ВОЙНА...

Лишь война была мечтою Лучшей в моей жизни, Та война, где за свободу Сердце кровью брызнет.

Есть одна святая в мире — Лишь пред ней с любовью Нам клинками рыть могилы, Истекать нам кровью.

Имя той святой — свобода! Все безумцы были Те, кто слепо за другое Жизни положили!

Мир, мир, мир, но не тирана Прихотью надменной, — Мир, добытый лишь свободы Силою священной.

А когда на свете будет Мир всеобщий, дружный, Вот тогда на дно морское Мы швырнем оружье!

Но до той поры — к оружью! Будем храбро биться, Хоть до светопреставленья Та война продлится.

Пешт, 1847

ДВА ВЗДОХА

В старом Кечкемете, В городском остроге Два печальных парня Ждут зари в тревоге.

Завтра в эту пору — Как часы-то мчатся! — Завтра в эту пору В петле им качаться.

Ужин их не тронут, Сыт печалью каждый, Им уж не погибнуть С голода иль жажды.

Перед ними яства И вино в бутыли. Но вино согрелось, Кушанья остыли.

Так сидят два парня, Будто возле гроба, Не ведут беседы, Лишь вздыхают оба.

«Ты кому, приятель, Вздох послал унылый?» «Вздох послал унылый Я подруге милой.

Той, что мне шептала: «Любый мой, единый!» Посылаю душу В час перед кончиной.

Никому на свете До меня нет дела, Но она весь мир мне Заменить сумела.

Мать мою могила Унесла сырая. Милая мне стала Точно мать вторая.

Будь ты ей подмогой, Боже справедливый! Чтобы слез не знала, Чтоб была счастливой!

Ну, а ты вздыхаешь, Друг мой, отчего же?» «По своей голубке Я вздыхаю тоже.

28 — I. 433

По голубке? Что я? По змее неверной! Для нее пошел я По дороге скверной.

Мать-старушку бросил, Убежал из дому. А моя зазноба, Глядь, ушла к другому

Пусть любую кару Ей господь назначит, Пусть не знает счастья, До могилы плачет.

Пусть ей слезы выжгут В сердце след кровавый, Пусть ее отравят Смертною отравой».

Пешт, 1847

ЧЕМ ЛЮБОВЬ БЫЛА МНЕ?

Сердце не из камня. Чем любовь была мне? Полным слез водоворотом, Легкой лодкой, утлым ботом. Грусть стояла у кормила, В парусах разлука ныла.

Сердце не из камня. Чем любовь была мне? Темным лесом, страшной чащей, Полной нечисти рычащей, Воем волчьих стай заблудших, Шорохом мышей летучих.

Сердце не из камня. Чем любовь была мне? Глупой мальчика забавой, Ловлей бабочки вертлявой. Он — к цветку, она — с купавы, Он за ней — и бух в канаву!

Сердце не из камня. Чем любовь была мне? Палачом моих мечтаний, Увозящим на рыдване Бедный труп мой с эшафота За тюремные ворота.

Сердце не из камня. Чем любовь была мне? Щелкающим реполовом На гнезде в кусте терновом. Разорит гроза жилище, — Он другое вьет, почище.

Пешт, 1847

СКИНЬ, ПАСТУХ, ОВЧИНУ...

Скинь, пастух, овчину, леший! Воробьев пугать повешу. Видишь, налегке, без шубы, Как реке-резвушке любо!

28* 435

Разлилась и всею грудью Жмется к мельничной запруде. Потому что в эту белость Сверху небо загляделось.

Где синичек пересуды? Соловьи взялись откуда? Где да что — мне горя мало, — Пели б в роще, как бывало.

Первый лист, как пух бесперый, На орехе у забора. Будут крылья — от желанной Улететь не смей с поляны.

Эй, куда, куда, знакомка? К лавочнику за тесемкой? Вон, бери их, даровые Ленты — версты луговые.

Пешт, 1847

CBETA!

И в шахте Все же лампочки сияют; И ночь темна, Но звезды в ней горят; В людской груди Нет ни звезды, ни лампы — Там ни единый лучик не горит Ты, жалкий ум, Себя провозгласивший Яснейшим светочем!

Уж если это — так, Ты озари, хотя б на шаг единый, Нас окружающую темноту! Я не прошу тебя, Чтоб освещал ты Иного мира замогильный мрак, Не спрашиваю — кем я буду дальше, Скажи мне только: что я есть сейчас И для чего я существую? Живет ли человек лишь себялюбьем, Сам по себе является он миром, Иль, может быть, он лишь одно звено В цепи, что человечеством зовется? И жить ли нам для радостей своих, Иль плакать вместе с миром скорбным? И подсчитаем — сколько было тех, Кто кровь сосали из чужих сердец И кары никакой не понесли, И сколько было тех, кто проливали За счастье ближних кровь своих сердец И все-таки остались без награды? Но — все равно! Кто жертвует собой, Тот жертвует не в чаянье награды, А чтоб своим товарищам помочь. Поможет ли? Вот в чем вопрос вопросов, Лишь в этом, а не в «быть или не быть?» Поможет миру тот, кто ради мира Собою жертвует? Придет ли этот день, Который добрые стараются приблизить, А зпые — Хотят, чтоб этот день и не пришел Дождемся ли всеобщего мы счастья, И что такое счастье, наконец? Ведь всяк в своем находит это счастье,

Иль не нашел его еще никто? Быть может, То, что мы считаем счастьем — Мильоны интересов — Это Лишь масса лучиков отдельных Светила нового, которое еще — За горизонтом, но взойдет однажды! О. если б это вправду было так, И мир имел бы цель, И к этой цели Шел — и дошел бы рано или поздно! Но, может быть, цветет и отцветает, Как дерево, вот этот самый мир? Иль он волна, которая встает И рушится, Иль, может быть, он — камень, Который, брошен, наземь упадет? Иль мир как путник, что взошел на гору, Достиг вершины, Снова вниз бредет. Вверх-вниз, вверх-вниз! Все это длится вечно. Как страшно! Тот, кто это не постиг, Еще не знает, что такое холод, Он никогда еще не леденел От этой мысли леденисто-скользкой, Которая сосулькою ползет Нам по груди, и сдавливает горло, И душит нас... Ведь даже и змея В сравнении с такой ужасной мыслью Покажется нам солнечным лучом!

Пешт, 1847

СОЛДАТСКАЯ ЖИЗНЬ

Ну-ка, сброшу лапти эти Не страшны мне палки, плети! Сапоги надеть хочу я, Саблю острую схвачу я... Слышишь музыки раскаты? Завербуемся в солдаты! Ха-ха-ха!

Правильно! Умен весьма ты, Что решил идти в солдаты. Жизнь солдата золотая! Уж поверь мне. Я-то знаю! Слышишь музыки раскаты? Поступай, дружок, в солдаты! Ха-ха-ха!

Верь: солдату бед не ведать — Есть что выпить, пообедать. Как не быть? Ведь за пять дней Два крайцара, горсть грошей Слышишь музыки раскаты? Поступай, дружок, в солдаты! Ха-ха-ха!

В караул ходить не часто: Сходишь раз в три дня и — баста Зябнешь? Дунь на пятерню — Не захочешь и к огню Слышишь музыки раскаты? Поступай, дружок, в солдаты! Ха-ха-ха!

Не бери ты щетки в руки, Чтоб себе почистить брюки, — Выбьет пыль из них капрал Так, чтоб зад твой засверкал! Слышишь музыки раскаты? Поступай, дружок, в солдаты! Xa-xa-xa

А любовь-то? А заботы? Убежать охота? Что ты! Цап! Назад ведут сквозь с т р о й, — Хочешь — падай, хочешь — стой! Слышишь музыки раскаты? Поступай, дружок, в солдаты! Ха-ха-ха!

А отслужишь, отпускную До того дадут большую, Чтоб под ней бы ты и спал Вместо всяких одеял! Слышишь музыки раскаты? Поступай, дружок, в солдаты! Ха-ха-ха!

Пешт, 1847

ЛЮБОВЬ

В лодочку воображенья Сядьте, милые мои, Весело переплывайте Озеро моей любви! Всем, кого любил когда-то И кого сейчас люблю, Эту самую ладью Моего воображенья Я сегодня подаю.

Вот они, явились толпы Женщин, девушек прелестных! Вижу хорошо знакомых

И почти что неизвестных. Верно! Их любил я тоже, И они душой владели, И нельзя мне отрекаться, Ибо начал я влюбляться Чуть не с самой колыбели!

Вот оно что значит мудрость! Было ясно мне, дитяти, То, о чем иные старцы Не имеют и понятья: Знал я, что лучи живые Посылает только солнце, Но оно горит не в небе, А пылает в нашем сердце, И «любовь» оно зовется!

Эй, искатели сокровищ, Бросьте! Уверяю вас: Больше всех алмазов мира Стоит пара чудных глаз. И напрасно, честолюбцы, Вы, в стремленье быть известней, Проливать готовы кровь! Роза юная прелестней Целых лавровых лесов!

Пусть скупец считает злато! Я бы лишь одно хранил: Поцелуи, что когда-то От любимых получил. Пусть одними лишь цветами

Мне судьба украсит шляпу, Больших лавров не ищу! Даже те, что я имею, Если надо — возвращу!

Секешфехервар, 1847

ЦВЕТЫ

Любуюсь, обходя поля, Цветами средь густой травы. Цветы мои, мои цветы, Прекрасны несказанно вы. Как мальчик девочки, Дичусь Я вашей дивной красоты. Я завещаю на моей Могиле посадить цветы.

Присаживаюсь я к цветку, И вот, беседою согрет, Я признаюсь ему в любви И жду, что скажет он в ответ. Он понял все, но он молчит Под видом ложной немоты. Я завещаю на моей Могиле посадить цветы.

Как знать, быть может, аромат Цветка и есть его язык? Он обращается к душе, И ставит нашу мысль в тупик. Но мир существ вообразим Лишенных этой глухоты.

Я завещаю на моей Могиле посадить цветы.

Да, верно, запах — это звук, И я услышу песнь цветов, Когда спадет с меня в гробу Глушащий эту песнь покров. Не дух я буду обонять, А слушать музыку мечты. Я завещаю на моей Могиле посадить цветы.

Могилу будет овевать Их, ставший благозвучьем, дух И усыпительно ласкать Мне колыбельной песнью слух. Я буду спать, и вновь весна Расплавит снежные пласты. Я завещаю на моей Могиле посадить цветы.

Пешт. 1847

Я ТЕБЯ СТАРАЛСЯ НАВСЕГДА ЗАБЫТЬ...

Я тебя старался Навсегда забыть, Почему ж в мечтах ты Продолжаешь жить? Почему встаешь ты Вновь передо мной, — С черными глазами, С черною косой?

Почему душа мне Эта дорога, Что сверкает, словно Радуги дуга? Почему так трудно Бросить, улететь? Почему не рвется Колдовская сеть? Почему я помню Светлый образ твой, Почему он вьется Вечно надо мной? Залетит, как птица, В сердце отдохнуть И тотчас стремится Снова упорхнуть. Послана ты злою Дивною звездой, Что суда уводит В море за собой; За звездою злою Вдаль плывут суда И в водоворотах Гибнут без следа. Для чего я снова Встретился с тобой, Если ты исчезла, Словно сон ночной? Дерзкая надежда Мне твердит опять, Что тебя могу я Снова повстречать, Но твоих объятий Ночью в тишине Даже и надежда

Не сулит уж мне. В чащу безотрадную Мрачных дум войдя И из чащи выхода Так и не найдя, Крылья легкомыслия Я надел тайком, Легким и неверным Стал я мотыльком, Отдался веселой Солнечной судьбе, Но меня настигла Память о тебе, Оторвала крылья, Унесла их вдаль... И меня терзает Прежняя печаль, Как тюремщик узника, Что сбежал, удрал, Но, внезапно пойманный, Вновь в тюрьму попал. И ко мне на душу Цепь легла опять. Кто протянет руку, Чтобы цепь сорвать? Протяни мне руку! Все забыла ты? Нет, скажи, что любишь, Как любила ты. Ты меня, родная, Вырви из цепей, Душу на свободу Выпусти скорей. Коль и впрямь ты любишь, Как должна любить,

Обо всей вселенной Ты должна забыть, — Я тебе — вселенная, Ты мне — божество, И вовек не надо нам Больше ничего. Если словно буря Нашей страсти пыл И бороться с бурей Не хватает сил. Если ты мне будешь, Милая, верна, — Знай, нам и разлука Станет не страшна, Потому что даже В злой разлуки час С завистью счастливцы Поглядят на нас.

Пешт, 1847

СУД

Я дочитал до конца летопись рода людского... Что же такое — она, наша история? Кровь Так и сочится из скал, скрытых в тумане былого, И до сегодняшних дней льется сильней и сильней. Не иссякает поток. И не мечтайте об этом: Крови реке суждено в море кровавое впасть. Близятся страшные дни, дни катастроф небывалых, Нынешний мир я сравню с той гробовой тишиной, Что наступает на миг после сверкания молний, Прежде чем с мрачных небес грянет удар громовой. Вижу завесу твою, глубокотайное Завтра!

Факел предвиденья взяв, я, при волшебном огне Вижу, что скрыто за той непроницаемой тканью. Одновременно меня ужас и радость берут. Страх побежден навсегда. С радостью неудержимой Вижу я бога войны. Вновь он доспехи надел, Меч он сжимает в руке, и на коня он садится, Мчится по миру всему, и на решительный бой Он собирает людей... Знаю: возникнут два стана. Будто бы нации две — нация добрых и злых. Будут бороться они. Тот, кто терпел пораженья — Добрый — тогда победит, он победит, наконец! Эта победа его в море кровавом потонет, Но — все равно Этот суд и обещал нам господь Через пророков своих... А вслед за судилищем этим Станет вся жизнь на земле вечным блаженством

полна.

Ради блаженства тогда в небо лететь не придется, Ибо на землю сюда к нам низойдут небеса!

Пешт. 1847

ПЕРВАЯ КЛЯТВА

Я был еще ребенком, мальчуганом, Пятнадцать лет мне было. Я учился. Учение влачил я, как оковы, Чей звон меня томил с утра до ночи И даже пробуждал меня от сна. Как я мечтал стряхнуть оковы эти! Любой ценой мечтал я их стряхнуть! Уж и тогда любил тебя я с той же Необычайной, пламенною страстью, Как и теперь, священная Свобода! И размышлял я: «Как сорвать оковы?»

Приехали актеры. Я решил К бродячей труппе присоединиться, Уехать с ней. Пусть спутниками будут Скорбь матери, проклятия отца, Пусть что угодно, только стать свободным И независимость завоевать! И я ушел бы с труппой, но проведал Учитель про мятежное желанье, И он поймал меня перед побегом, И посадил тотчас же под замок. И был я пленником, покуда труппа Не убралась от города подальше. Мольбы, рыданья — все напрасно было, И было больно уж не потому, Что стать актером я лишился счастья, А потому, что силою меня Заставили остаться! Принужденье Жгло душу мне. И пламень тот не гас, А разгорался, как огонь бенгальский, И первую я клятву произнес. В моей тюрьме великую святую Провозгласил я клятву, что одно Отныне будет главной целью жизни: Борьба с насилием и с принужденьем! Я чту поныне клятвы этой святость. И пусть карает всемогущий бог Меня на этом свете и за гробом, Коль эту клятву я дерзну забыть!

Пешт. 1847

О ТЕРПЕНИИ

Терпение, ты добродетель Ослов и ласковых ягнят! Тебе мне выучиться, что ли? А, впрочем, провались ты в ад!

Коль шляешься ты, словно нищий, И там и тут, в дома стучась, Так у моих дверей не клянчи, А уходи-ка лучше с глаз!

И если мир ты завоюешь, Так все ж триумфа своего Победно высечь не надейся На камне сердца моего!

Терпение, ты та мякина, Которую — сказать смешно! — Подсунули тупому миру Обманщики, пожрав зерно!

Ты — как кастрюлька, из которой Сметану выжрал хищный кот. И вот дуреха-повариха Стоит теперь, разинув рот!

Терпение... Не знаю, кто ты, Но, ненавистное, прочь с глаз! Ведь где бы ты ни появилось, Там счастье кончится тотчас!

Земля могла бы быть счастливой, Коль не было б тебя на ней,

А чем ты больше процветаешь, Тем мы несчастней и бедней.

Прочь уходи, проклятье жизни! Немедля возвращайся в ад! Кто выплюнул тебя на землю, Пускай сглотнет тебя назад.

Пешт, 1847

В АЛЬБОМ А. Ф.

Нам сберегло священное писанье Сказ о кувшине с маслом дорогим... И пьют, и льют, — напрасные старанья: Таинственный сосуд неистощим.

Как наслажденья жизни, масло это. И над скупым смеюсь я дураком, Который робко, хоть и нет запрета, Касается услады языком.

Ну а мудрец, тот, затаив дыханье, Глотает жадно, не в ущерб другим. Зачем ему обуздывать желанья? Ведь все равно сосуд неистощим.

Пешт. 1847

ГЕРОИ В ДЕРЮГЕ

И я бы мог стихотворенья, Позолотив, посеребрив, Рядить в цветное оперенье Красивых слов и звонких рифм.

Нет! Стих мой не субтильный франтик, И вовсе не стремится он, Душист, кудряв, в перчатках бальных, Ища забав, вбежать в салон.

Клинки не блещут, смолкли пушки, Сном ржавым спят сейчас они, Но бой идет. Не штык, не пушка — Идеи бьются в наши дни.

И я участвую в сраженье. Я — командир, а мой отряд — Мои стихи: в них что ни рифма И что ни слово, то — солдат!

Пускай в дерюге, а герой, — Они дерутся до конца! Ведь не мундиры, а отвага Есть украшение бойца.

Меня переживет ли песня — Такой вопрос не задаю, Но знаю — иногда солдату Бывает нужно пасть в бою.

Да будут святы эти книги! Пусть это — кладбище идей, Но кладбище, где спят герои, За счастье павшие людей!

Пешт, 1847

ЗЕЛЬД МАРЦИ

Четыре флигеля без крыши в этом зданье, И «виселица» — зданию названье. Здесь с карканьем лишь воронью метаться, — Где молодец был, равный Зельду Марци?

Во рту коня гнедого сталь литая, Конь сталь грызет, — летят лишь искры тая. На том коне Зельд Марци красовался Клочком огня, что по ветру метался.

Где взял рубашку и штаны такие, Что в скачке раздуваются, лихие? То полотно — работа баб пригожих За красный рот, за поцелуй хороший.

Все без ума от парня девки были: Когда б меня, как Марци, так любили! Куда б ни шел он, словно в церкви звоны, — То звон сердец бесчисленных влюбленных.

На сапогах из кордована красных Зачем же шпоры? Служит конь прекрасно. Не для коня те шпоры, — в блеске глянца Он к сапогам их привязал для танцев.

Он, не учася, родился танцором, Танцуй, как он, — не будет то позором. В корчме — он слышит — музыка играет, Он, как мадьяр, не пляшет, а летает.

В лесах баконьских он не знал досуга, Где лишь воришки прятались с испуга И, под кустом дрожа, как под рогожей, Выскакивая, грабили прохожих.

Как Хортобадь, силен был Марци станом, Как Хортобадь, король пустынь, — титаном. Чтоб путник видел всей беды рожденье, Он за сто метров шел с предупрежденьем.

И богачу приказывал он грозно: «Отдай кошель, пока еще не поздно!» И бедняку он говорил нестрого: «Вот мой кошель, иди спокойно с богом!»

О пушта, пушта, пушта Федьвернеки! Причиной ты, что Марци сгиб навеки. Без крыши зданье стало ложем тесным, Вороний гомон — похоронной песней.

Пешт, 1847

СТОИТ МНЕ...

Стоит мне о милой замечтаться, Как в цветы все мысли обратятся. Из пристрастья к этим-то растеньям, Занят я весь день их разведеньем. Солнце, заходя, исходит кровью. Горы все лиловей и лиловей, А любимая недостижимей Даже этих гор в лиловом дыме.

Солнце ходит на закат с восхода. Я б ходил не так по небосводу: Я ходил бы с запада к востоку К самой лучшей девушке далекой.

И вечерняя звезда сегодня Льет свой свет щедрее и свободней, И в наряде праздничном, пожалуй, Оттого лишь, что тебя видала.

О, когда же я тебя увижу, Сяду пред тобой, лицо приближу, Загляну в глаза и их закрою, Небо, небо ты мое седьмое!

Пешт, 1847

ОГОНЬ

Не хочу я гнить, как ива На болотных кочках где-то, А хочу сгореть от молний, Словно дуб в разгаре лета.

Я огня хочу. Водою Пусть лягушки насладятся Да плохие виршеплеты, Что для кваканья родятся.

Ты, огонь, моя стихия! Мерзнуть мне пришлось немало, Часто я страдал от стужи, Но душа всегда пылала.

Девушка, ответь мне страстью На порывы страсти жгучей! Если ж холода напустишь, Уходи отсюда лучше!

Эй, корчмарь, вина! Но если Ты водой его разбавил, Радуйся, что брошу чашу На пол, а не в лоб твой, дьявол!

Пламя хмеля, пламя страсти — Только так вот жить и можно, И — еще забыл одно я! — Жить без песен невозможно!

Пойте песню огневую! Пусть он голоса лишится — Тот певец, который пламя Влить нам в души не стремится!

Не хочу я гнить, как ива На болотных кочках где-то, А хочу сгореть от молний, Словно дуб в разгаре лета.

Пешт, 1847

МОЕ ЛУЧШЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ

Я множество стихотворений Писал, но славу принесет Мне стих, которым буду Вене Однажды мстить за наш народ.

О! Слово «смерть» клинком горящим Впишу я в тысячи сердец! Вот это будет настоящим Стихотвореньем наконец.

Эрмихайфальва, 1847

ЭРДЕД, 17 МАЯ 1847 ГОДА

Да, я вчера немало перенес. Услышать многое вчера пришлось. Обидчика я своего терплю Лишь оттого, что дочь его люблю.

Скажи вот так мне кто-нибудь другой, — Я отомстил бы, вызвал бы на бой, И пал бы он на поле, запятнав Своей багровой кровью зелень трав.

Пусть он меня бранил бы одного, Но сердцу моему больней всего, Что, понося меня и мне грубя, Он оскорбляет также и тебя.

Тебе пришлось немало пережить За то, что ты посмела полюбить.

Ну, потерпи немного, мой дружок! Прерву твои страданья, дай мне срок!

Как только станешь ты моей женой, Еще одной счастливицы такой Во всей вселенной больше не найдешь! В рай позовут, — и то ты не пойдешь!

Эрдед, 1847

ЛИШЬ ТЫ ОДНА...

Лишь ты одна мою умеешь душу Сопровождать в полетах на вершины, Лишь я один из всех мужчин вселенной Могу постичь твоей души глубины. Мы были предназначены друг другу Со дня творения. Не рвется нить. Навек связал всевышний наши души, И человеку их не разлучить.

На нас идут свирепо в наступленье, Но ржавчина неправый меч съедает И с легкостью удар его коварный Любви волшебный прутик отражает. Любовь — герой, она своей отвагой Кого угодно может победить, Навек связал всевышний наши души, И человеку их не разлучить.

Мы любим светлой, огненной любовью, И оба мы равно чисты сердцами, — Ты от рожденья, у меня ж на сердце Все пятна выжгло страсти пламя.

Зачем же нам огонь любви священный, Достойный даже алтаря, тушить? Навек связал всевышний наши души, И человеку их не разлучить.

Я вечно твой, и ты моя навеки, Не испугают нас ничьи угрозы, Вдвоем пойдем до смерти, наступая Порой на тернии, порой на розы. Так, радуясь вдвоем, вдвоем печалясь, Мы до могилы вместе будем жить. Навек связал всевышний наши души, И человеку их не разлучить.

Эрдед, 1847

пыль стольом...

Пыль столбом клубит, земля гудит, трясется, Шалый конь с упавшим всадником несется. Если бы упал седок, и горя б мало, — В стремени одна нога его застряла. Жеребец земли не слышит под собою, А наездник оземь бъется головою. Черными кудрями пыль метет густую, Заливает кровью алой мостовую.

Я как этот всадник. Бешенство страданья Тащит за собой меня, как на аркане. Ослепленьем гнева я на землю сброшен. Мозг мой вытек вон, и череп мой раскрошен. Поделом! Была мрачней земного шара Эта голова, рождавшая кошмары.

Ничего не зрело в голове отпетой. В эту местность солнце не бросало света.

Я любил тебя, как сам господь, наверно, Сделавший тебя прекрасною безмерно. Верности звездой среди ночного мрака Ты сияла в виде путевого знака. А теперь туман закрыл твое сиянье. Звездочка моя, как ты бледна в тумане! Я твоей руки просил напрасно. Разом Строгий твой отец ответил мне отказом.

Изгнан я от вас, как из ограды рая. Только твой отец — не ангел, дорогая. Э, не унывай, лиха беда начало, — Я добьюсь тебя во что бы то ни стало. Унесу тебя, как солнце — пар росистый, И как ветер — розы лепесток душистый. Я и уношу тебя с собой в разлуку, Словно лев стрелу, попавшую из лука.

Эрдед, 1847

В РУДНИКЕ

Сажень на две тысячи, должно быть, Я спустился. В недрах этой вечной древней ночи Мрак сгустился. Лампы луч со страхом смотрит в очи Этой вечной и суровой ночи, Как глядит на ястреба голубка.

До цветов отсюда так далеко И до света. Вероятно, адские владенья Близко где-то. А быть может, я уж в преисподней, Ибо он как дома, враг господний, Всюду там, где золото родится.

Сатана, дух шахты, царь сокровищ, За меня ты Сколько дашь, коль сердце променяю На дукаты? Мы сторгуемся. Изволь явиться! Нынче я решил к тебе спуститься, — А другого раза не дождешься!

Звал напрасно! Дьявол, царь сокровищ, Не услышал, Из груди утесов каменистых Он не вышел. Что ж он не явился? Понял он, что я над ним глумился, Что мое не продается сердце!

Нет, мое не продается сердце — Не торгуйся, брось трудиться! Сердце то в сокровищнице сильных Не вместится, А раздам я сердце по дорогам Да по бедным хижинам убогим — Просто так его раздам я, даром!

Надъбаня 1847

НАКОНЕЦ НАЗВАТЬ МОЕЮ...

Наконец назвать моею Юлишку я нынче мог. Да, моя, и пусть об этом Знают люди, знает бог!

У меня сегодня радость, Но и грусть со мной моя. Плакать мне или смеяться — До сих пор не знаю я.

Неужели я тот самый, Кто так мучился, страдал, У кого давно на сердце Груз отчаянья лежал?

Неужели я тот самый, Тот счастливый человек, Кто теперь, конечно, будет Всех счастливее вовек?

Пусть листва скорей желтеет, Отцветают розы пусть, Осень станет мне весною — Я ведь осенью женюсь...

Но в грядущее не смею Я взглянуть — оно горит Ярким пламенем, как солнце, И глаза мои слепит.

Лучше в прошлое я гляну... Нет, не солнцу, а луне Это прошлое подобно И сияет кротко мне.

День, что я провел у милой, Драгоценен и велик. По блаженству он — как вечность, А по скорости — как миг.

Я привлек ее тихонько, Я к себе ее привлек И коснулся поцелуем Вспыхнувших горячих щек.

На устах моих остался Пламень от девичьих щек, И в груди моей бушует Солнца огненный поток.

Даже холода могилы Не страшусь отныне я — Знаю, это пламя будет И в могиле греть меня.

Сатмар, 1847

В МАЙТЕНЬСКОЙ СТЕПИ

Я с милой разлучен, однако до сих пор Ни на мгновение не забывал о ней, И шла ее любовь со мною, как звезда, Сопровождавшая восточных трех царей.

Но здесь оставь меня, звезда моя, любовь, Сюда я не хочу вести тебя с собой,

А не уйдешь, лицо твое завешу я, Чтоб не глядела ты. Здесь был когда-то бой.

Здесь был священный бой, священный потому, Что за свободу тут сражались храбрецы. О вольность-сирота! Из честных рук твоих Изменой выбили оружье подлецы.

Герои славные, сражавшиеся здесь, Теперь в изгнании, вдали. А палачи, Предавшие свое отечество, теперь Большие господа... О сердце, трепещи!

Весна. В разгаре день. И солнце славно жжет; Белея, облачка по небесам плывут. То стая лебедей иль души храбрецов, Что в праведном бою отважно пали тут?

Безмолвие вокруг. Я в думы погружен. Так что же медлю я? Помедлить мне пришлось, Чтоб выполнить свой долг: слезу я уронил И клятву страшную сурово произнес.

Майтень, 1847

ЛАЦИ АРАНЮ

Здравствуй, Лаци! Слушай, братец, Потолкуем пять минут. Ну, иди, коли зовут. Да живей, одним прыжком На колено сядь верхом! Ты уселся? Ну так вот, Сказочку послушай, Да закрой покрепче рот, И открой-ка уши. В эти розовые дверцы Сказка легкая впорхнет. Долетит она до сердца И до разума дойдет. Для тебя, мой шустрый Лаци, Расскажу я сказку вкратце.

* * *

Жил да был когда-то Человек усатый. Взял он новое ведро, Светлое, как серебро, И спустил его туда, Где во тьме блестит вода, Где на дне колодца Видеть звезды иногда Людям удастся. Вот летит ведро на дно, Стукаясь о бревна, А воротится оно Медленно и ровно. Но куда с ведром пойдет Человек усатый — Поливать свой огород? Иль во дворик у ворот, Где живут телята? Нет, с дубинкой и ведром Он выходит в поле, Озирается кругом... Клад он ищет, что ли? Ходит он вперед-назад,

Вглядываясь зорко, И находит он не клад, А простую норку. Вот и суслик — шустрый вор. Что таскает зерна. Под землей в одной из нор Скрылся он проворно. Но злодея от суда Не избавит норка. Ливнем хлынула вода В норку из ведерка. Терпит суслик и молчит В погребе глубоком, А вода течет, журчит Грозовым потоком. До краев полна нора. Перед входом лужа... Значит, суслику пора Выходить наружу. До костей промок зверек У себя в подвале И пустился наутек... Тут его поймали! Взяв за шиворот зверька, Держит суслика рука. Стой, проказник юркий! Не уйдешь ты никуда. В три ручья бежит вода У тебя со шкурки. Понесу тебя домой. Полно вырываться!.. Этот суслик озорной — Ты, мой милый Лаци!

Салонта, 1847

КАК ЖИЗНЬ ХОРОША!

Я ль бродил по земле, Точно призрак ночной, Жизнь мою называл И проклятой, и злой? Этих слов, возмужав, Устыдилась душа. Как прекрасна земля И как жизнь хороша!

Буйной юности вихрь Прошумел и исчез, Улыбается мне Взор лазурный небес И ласкает, как мать Своего малыша. Как прекрасна земля И как жизнь хороша!

Что ни день, что ни год, В сердце меньше забот. И теперь, точно сад, Мое сердце цветет, Соловьями звеня, Ветерками шурша, — Как прекрасна земля И как жизнь хороша!

Я доверчивость гнал, — Вновь нахлынула вдруг, Обвила, обняла Мое сердце, как друг, Что прошел долгий путь, На свиданье спеша, —

Как прекрасна земля И как жизнь хороша!

Дорогие друзья, Подходите ко мне! Подозрительность, прочь! В ад ступай к сатане! Прочь! Я верил тебе, Против дружбы греша! Как прекрасна земля И как жизнь хороша!

А как вспомню о ней, Черноглазой моей, Той, что солнца светлей, Той, что жизни милей, Что явилась, как сон, Тихим счастьем дыша, — Так прекрасна земля И так жизнь хороша!

Салонта, 1847

ТЕТЯ ШАРИ

На пороге тетка прикорнула. Тетя Шари не встает со стула. Тетя Шари на пороге спальной Шьет в очках свой саван погребальный. А давно ли малого ребенка Звали братья Шаринькой-сестренкой?

Лоб в морщинах, словно эти складки Бывших фалд на платье отпечатки. Все на ней сидит теперь уныло,

30* 467

Словно лиф напялили на вилы. А давно ли малого ребенка Звали братья Шаринькой-сестренкой?

В волосах у ней зима. Я стыну, Погляжу лишь на ее седины. И торчит пучок косицы вдовьей, Как на крыше аиста гнездовье. А давно ли малого ребенка Звали братья Шаринькой-сестренкой?

Глубоко ее глаза ввалились, Словно в дом с чужбины возвратились, И мигают исподлобья слепо, Как лампадки из-под свода склепа. А давно ли малого ребенка Звали братья Шаринькой-сестренкой?

Грудь плоска, как каменные плиты. Сердца не слыхать из-под гранита. Сердце есть, но так устало бьется, Что на слух уже не отдается. А давно ли малого ребенка Звали братья Шаринькой-сестренкой?

Сумасбродка-молодость мгновенно Расточает клад свой драгоценный, Но приходит старости проклятье Предъявлять ее долги к оплате. А давно ли малого ребенка Звали братья Шаринькой-сестренкой?

Салонта, 1847

ИСКАЛЕЧЕННАЯ БАШНЯ

Над степью башня высится одна, В минувший век уводит мысль она.

Гордится башня славой прошлых дней, — Священный знак тогла сиял на ней.

То было знамя вольности святой, И ветер колыхал его степной.

Вились призывно алые крыла, И шли под знамя все, в ком кровь была.

Шли воины со всех концов страны, В сверкающий доспех облачены.

И был в их взорах мужества огонь, Сверкал он ярче их мечей и бронь.

«Исторгнут меч, и клятву мы даем: Умрем в бою иль цепи разобьем!»

Тот гордый клич гремел в тиши ночей, И гром был эхом пламенных речей.

С тех пор ушло в забвенье много лет, На старой башне больше стяга нет.

Былой свободы знамя пало в прах. Бойцы свободы спят в немых гробах.

Свободными они сражаться шли И смерть в сраженье рабству предпочли.

И башня их стоит теперь одна. Не нынче завтра рухнет и она.

Развалина, сухой, гнилой скелет. В ее стенах дыханья жизни нет.

Лишь мертвый век среди камней лежит, Безмолвием, как саваном, покрыт.

Салонта, 1847

СТАЛ БЫ Я ТЕЧЕНЬЕМ...

Стал бы я теченьем Горного потока, Что спадает бурно Со скалы высокой. Только пусть любимая Рыбкой серебристой Вольно плещется в струе, Трепетной и чистой.

Стал бы темным лесом У реки широкой, Бился бы ночами, С бурею жестокой. Только пусть любимая В чаще приютится И в ветвях зеленых песни Распевает птицей.

Стал бы старым замком На горе отвесной, И манила б гибель Радостью чудесной. Только пусть любимая Хмелем-повиликой Заструится по руинам Средь природы дикой.

Стал бы я лачугой, Спрятанной в ущельи, Чтоб дожди струились По стенам сквозь щели. Только пусть любимая В уголке заветном День и ночь пылает ярко Очагом приветным.

Стал бы тучей грозной, Что висит над кручей, На куски разъята Молнией гремучей. Только пусть любимая В сумерках не тает И вокруг печальной тучи Пурпуром блистает.

Салонта, 1847

АИСТ

На свете много птиц, по-разному их славят, По-разному хулят. Одним всего милей красивый голос птицы, Другим — ее наряд. Моя — бедна, как я, не знает звучных песен, Не блещет красотой:

Наполовину бел, наполовину черен Убор ее простой.

Чудесный аист мой! В семье друзей пернатых Он многих мне милей, Крылатое дитя моей земли прекрасной, Моих родных степей. Быть может, аиста лишь оттого люблю я, Что вырос вместе с ним, Что забавлял меня, еще младенца в люльке, Он шелканьем своим.

Со мной делил он жизнь. Когда, бывало, с поля, Подняв веселый шум, Мальчишки вечером в деревню гнали стадо, Мечтательно-угрюм, Я уходил грустить под камышовым стогом, Часами наблюдать, Как дети моего любимца просят пищи, Как пробуют летать.

И там я размышлял, досуг мой коротая, В сгущающейся мгле: Зачем, бескрылые, всю жизнь обречены мы Влачиться по земле? Любая даль земли ногам людей доступна, Простор любых широт. Но не в земную даль — в небесные высоты Мечта меня зовет.

Взлететь бы к солнцу, ввысь, и поглядеть В лазурные поля, [умчавшись Как в шляпе, сотканной из воздуха и света, Красуется земля. Когда же, всё в крови, закатывалось солнце,

Тьмой ночи сражено, Я думал: верно всем, кто людям свет приносит, Погибнуть суждено.

Радушной осени ждут не дождутся дети, Она идет, как мать, С корзиной, полною плодов и винограда, Питомцев угощать. И только я врага в ней чувствовал: на что мне Подарки сентября, Когда мой лучший друг, мой аист, улетает За дальние моря!

Следил я, как шумят, летят, несутся стаи Неведомо куда. Не так ли ныне я слежу, как жизнь и юность Уходят навсегда! Чернели на домах покинутые гнезда, Сквозь слезы я глядел, И мне предчувствие, подобно ветру, пело: Таков и твой удел!

Когда ж весною вдруг земля освобождалась От шубы снеговой И надевала вновь свой доломан зеленый С цветами и травой, О, и моя душа, ликуя, надевала Свой праздничный наряд. Я за околицу бежал, чтоб видеть первым, Как аисты летят.

Но детство минуло, и юность удалая Грозой пришла ко мне. Вот у кого земля горела под ногами! На диком скакуне,

Поводья опустив, любил я вольно мчаться Один в глуши степей.

И, подкатав штаны, за мною гнался ветер... Но конь мой был быстрей.

О степь, люблю тебя! Лишь ты душе приносишь Свободу и простор.

Среди твоих равнин ничем не скован разум, Не ограничен взор.

Не тяготят меня безжизненные скалы, Как неотвязный сон.

Звенящий водопад на память не приводит Цепей унылый звон.

Иль некрасива степь? О нет, она прекрасна, Но надо знать ее.

Она, как девушка, стыдливо под вуалью Таит лицо свое.

Она решается, подняв вуаль, лишь другу Открыть свои черты,

И ты в смятении внезапно видишь фею Волшебной красоты.

Люблю я степь мою! Я всю ее объездил На огненном коне.

В глуши, где, хоть умри, следа людей не сыщешь, Скакать случалось мне.

Я спрыгивал с коня, над озером валялся В густой траве степной.

И как-то раз гляжу — и вижу: что за чудо! Мой аист предо мной.

Он прилетел ко мне; с тех пор мы полюбили Вдвоем в степи мечтать.

Я лежа созерцал вдали фатаморгану,

Он — озерную гладь. Так неразлучно с ним провел я детство, юность. Он был мне друг и брат. И я люблю его, хоть не поет он песен И прост его наряд.

О милый аист мой, ты все мое богатство, Все, что осталось мне От незабвенных дней, которые провел я В каком-то сладком сне. Пора прилета птиц! Зимой твержу, тоскуя: «Приди, скорей приди!» А осенью, мой друг, тебе вослед шепчу я: «Счастливого пути!»

Салонта, 1847

ДОРОГОЮ...

Дорогою — пустынные места. Ни деревца, ни травки, ни куста, Где б даль перекликалась с соловьем. Пустынные места в пути моем. И темный вечер в облака одет, И кажется, что звезд на свете нет. Но вот я карих глаз припомнил взгляд — И ожил я, и я дороге рад, И будто все другое, не узнать, — Мерещится такая благодать. И будто вдоль дорожной колеи Цветущие кусты и соловьи, И небо за чертой земных борозд Полно бесчисленных огромных звезд. Керешладань, 1847

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО АЛФЕЛЬДУ

Да, нечего сказать, поездка! Навис и давит небосвод, За шляпу туча задевает, Как из ведра за шею льет. Чтоб шубы не мочить, я отдал Ее за четверть табака. Я вымок до последней нитки И превращаюсь в судака.

Что за дорога, право! Едем По черной и густой квашне, Вполне готовой для печенья Ржаного хлеба сатане. Да не стегай коней, извозчик! Ведь не теряю я надежд, Что до пришествия второго Мы все-таки приедем в Пешт.

Я, Алфельд, так тебя прославил, И мне в награду этот мрак? Быть может, эта грязь и ливень Твоей признательности знак? Ты тянешься руками грязи К ободьям вязнущих колес, Чтобы обнять их на прощанье И окатить потоком слез?

Я тронут, Алфельд, что разлука Тебе тоскою душу ест И что в уныние такое Тебя приводит мой отъезд.

Но я бы радовался больше, Когда бы ты от слез не вспух, Цеплялся меньше за колеса И сдержан был со мной и сух.

Мезетур, 1847

ЛЮБЛЮ ЛИ Я ТЕБЯ?

«Люблю ли я тебя?» Справляйся И спрашивай, — ответ мой прям: «Люблю». Но как люблю, насколько, Я этого не знаю сам. Озер нагорных глубина Без измерения ясна.

Я вправе был бы дать присягу, Что мысль любая, шаг любой И каждое биенье сердца Наполнены одной тобой, И светоч верности моей За гробом вспыхнет не слабей.

Я б мог предать себя проклятью В том случае, когда б на миг Тебя забыть был в состоянье, Благословенье глаз моих! Пусть буду громом я убит! Пусть молния меня спалит!

Но горе тем, кто верен слову Из робкой верности божбе. И без взывания к святыням Я всю тебя ношу в себе.

Мне радость наполняет грудь, Как своды неба Млечный путь.

Что верен я тебе навеки, В том нет заслуги никакой. Ведь тот, кого ты полюбила, Не может думать о другой; Земля не сманит уж таких, Кто неба самого достиг.

Пешт. 1847

ПРОЩАЛЬНАЯ ЧАША

Минувшее, в последний раз вставай! В последний раз пусть плещет через край Вино и радость молодая наша. Да, наш венок теряет лепесток. Я — этот лепесток, а вы — венок. Так пусть прощальной будет эта чаша.

Все то, о чем просил я долго рок, Он дал мне наконец, и близок срок Моей женитьбы. Что на свете краше? Меня везде житейский вихрь носил, Но наконец я к пристани приплыл. Так пусть прощальной будет эта чаша.

Не стану сердце я лечить вином, Когда, как прежде, заведутся в нем Змееныши печали и запляшут. Смуглянка на губах несет мне мед, И я целую этот милый рот... Так пусть прощальной будет эта чаша.

До вечера останусь с вами я, Так наливайте мне полней, друзья, Пока светло. Я пью здоровье ваше! Да, завтра я уеду в край чужой, Лишь стул мой здесь останется пустой. Так пусть прощальной будет эта чаша.

Я вас настолько искренне люблю, Что тот же самый путь и вам сулю. Жена — она земли и неба краше. Так пусть господь пошлет вам благодать, Чтоб каждый мог и в свой черед сказать: Пускай прощальной будет эта чаша.

Пешт, 1847

ЗНАМЕНИТАЯ КРАСАВИЦА

Лишь о ней гремит молва, Песни в честь ее поются. Чуть посмотришь на нее — Набекрень мозги свернутся.

Бросит свой товар купец, И скупой — червонцев груду, И стихи свои — поэт, Чтоб за ней ходить повсюду.

Царь отдаст венец и трон, Чтоб назвать ее своею; Солнце бросит небеса И, как тень, пойдет за нею. Под лучами глаз ее Мертвый к жизни возвратится, И голодный станет сыт, И недужный исцелится.

Словом, звон пошел о ней, Прямо стало мне досадно! Что тут делать? — думал я И сказал: «Посмотрим, ладно!»

Ну и что же, посмотрел! Глупый мир, себе ты верен. В красоте ты смыслишь, мир, Сколько наш покойный мерин.

Слов нет, слов нет, хороша, Только, господи помилуй! Что тут славить, если в ней Сходства нет с моею милой!

Пешт, 1847

ЭЙ, ЧТО ЗА ГВАЛТ?

Эй, что за гвалт? Несется он откуда? Кто там еще тревожит мой покой? Пусть замолчат, а то придется худо — Учу косматых собственной рукой!

Взвод критиков готовится к сраженью! Какая-то затеяна возня. Оставьте это! А не то терпенье В конце концов оставит и меня! Иль времена минувшие забылись, И ваши спины больше не горят? Не вредно вспомнить, если ополчились! А, вспомнили? Подайтесь-ка назад!

Вы ж знаете: я грубоват бываю! Таков я есть! И что поделать тут: На вызов мужа саблей отвечаю, А на собаку подымаю кнут!

Пешт. 1847

ПРИДЕШЬ ЛИ?

Родилась звездой ты В небесах сиять, — Маленькой лампадкой Будешь озарять Тесную отчизну, Где тебя я жду. Девушка, придешь ли? «Юноша, приду!»

Слышишь ты, наверно, Как меня хулят И какою грязью Забросать хотят? Вдруг да это — правда, На мою беду! Девушка, придешь ли? «Юноша, приду!»

Что отец твой скажет, Потерявши дочь?

31 — I. 481

Канет сердце старца В холод, в злую ночь. Гнев его и ярость Как я отведу? Девушка, придешь ли? «Юноша, приду!»

Пешт. 1847

Я СОБРАЛ ПОЖИТКИ...

Я собрал пожитки и пошел в дорогу... Всяческих предчувствий было очень много. Все они туманно что-то предвещали, Мол. иши! Найдется! Что? О том — молчали. Мол, шагай покуда носят тебя ноги! А куда? Докуда? По какой дороге? Внутренним веленьям я повиновался, Отчий дом далеко позади остался. Отступил в былое, будто сновиденье Утренней порою после пробужденья. Мать с отцом, конечно, очень загрустили. Добрые соседи дом их навестили: «Полно, не тоскуйте по сынку такому! Этот самый Шандор лишь обуза дому! Буйно, нечестиво это ваше чадо! Зря и волноваться вам о нем не надо. Пусть живет как хочет — бродит, куролесит, А потом, дай боже, заберут, повесят! В жизни я не видел, чтоб на белом свете Скверные такие урождались дети!» После утешений этих вот и прочих Света не взвидали матушкины очи, Матушка к подушке головой припала

Обо мне, бродяге, горячо рыдала! А отец мой добрый скупо прослезился И потом внезапно бранью разразился, Пышною, как будто меховая шуба. Напоследок молвил он довольно грубо: «Все наше семейство блудный сын пятнает! Если не повесят — застрелю! Пусть знает!» До меня такие долетели речи, И с отцом родимым не искал я встречи, Ибо понимал я: то, что посулит он, Выполнит наверно! Нрав его испытан! Часто мне хотелось к старикам явиться, Но не мог на это я никак решиться, И когда уж только отыскал кой-что я — Две страны уж знают, что это такое! — Лишь тогда к отцу я в дом войти решился И, как всем известно, жизни не лишился. Нет! Великолепно был отцом я встречен, Никогда столь добр он не был и сердечен, И теперь, небось, он не кричит — я знаю! — Что его я имя доброе пятнаю. И соседи тоже... Добрые соседи, Коль придется к слову, говорят в беседе: «Шандора не троньте! Счастье он увидит! Мы, мол, предрекали: толк из парня выйдет!»

Пешт, 1847

муза и невеста

«Стучатся... Кто же это может быть? Кто? Девушка? Тогда прошу простить, Но не могу я девушку впустить! Боюсь, что к сплетням повод дам: Моя невеста от люлей Услышит, что, помолвлен с ней, Я принимал каких-то дам! Женюсь! Известно это вам?» И вот ответ... Звучит в нем грусть: «Но потому ведь я стучусь! Господь благословит тебя, Открой мне смело! Это я — Возлюбленная старая твоя!» «Возлюбленная старая? Скорей Уйди подальше от моих дверей. Я мерзко лгал, что я влюблен! Поверь: Соломы вспышкой, дымом без огня Та страсть была! Люблю я лишь теперь». «Нет, ты любил! Любил одну меня. Впусти меня! Ведь Муза я твоя, Иль, может быть, напрасно буду я Здесь даже и сейчас томится у дверей?» «Ах, Муза милая, голубка ты моя, Раз это ты — входи сюда скорей! Ко мне придти ты можешь, как домой, Моя единственная, ангел мой. Ведь до могилы мы с тобой Единой связаны судьбой. Ты восхитительное существо, Ты не бросала друга своего, Не изменяла даже и тогда, Когда со мной была одна нужда. Забыт был всеми юноша бедняк. Но не могла забыть его никак Ты, утешительница! Лишь с тобой Делил изгнанье юноша изгой. Нет, я не рву таких священных уз, И я ни на минуту не боюсь, Что в сердце радостном моем

Вам будет тесно с той, с другой, вдвоем! Уверен я, Что между вами не случится ссор, Ты и невеста милая моя — Вы вроде двух родных сестер. А родились вы в небе, вот ведь где — На самой расчудеснейшей звезде. И, дружбу меж собой храня, На крыльях, сотканных из радуги одной, Слетели в этот мир вы на заре весной И осчастливили меня.»

Пешт, 1847

У ЛЕСА ПТИЧЬЯ ТРЕЛЬ СВОЯ...

У леса — птичья трель своя,

У сада — мурава своя,

У неба — звездочка своя,

У парня — милая своя.

И луг цветет, и чиж поет, И девушка и небосвод Выходят вчетвером вперед В свой беззаботный хоровод.

Увянет цвет, звезда падет, И птица улетит в отлет, Но милый с милой — круглый год И всех счастливей в свой черед.

Пешт, 1847

У МИХАЯ ТОМПЫ

Нет, ты не ошибся: я перед тобою! Я перед тобою — телом и душою. Ты глазам не веришь? Взор твой колет, ранит. Знаешь что? Зажмурься! Видимо, придется Обратиться к сердцу. Сердце не обманет! Слышишь? Я-то слышу: сердце громко бьется!

Стук ты в дверь услышал... Что это такое? Что еще за дьявол не дает покоя? Ты меня увидел на пороге дома! И одно лишь только смею утверждать я: Так бы рад ты не был никому другому, Никого бы крепче не схватил в объятья!

Ну, ответь хоть словом! Или неохота? У меня-то мыслей в голове без счета. Я как тот голодный, что за стол садится, И глядит на яства, и не знает даже, За какое блюдо прежде ухватиться! Эх, о многом должен я узнать тотчас же!

Здесь, на новой службе, как тебе живется? Угождаешь богу? Это удается? Сад заглох? Конечно, зелень не обуза — И Пегас не сдохнет: будет сыт травою! Дружат меж собою библия и муза? Ладишь с Аполлоном и с Иеговою?

Ты, который стольким дал успокоенье, Собственного духа усмирил волненье? Выбрось же, дружище, червяка, что гложет Душу так нещадно, алчно, тайно, жадно! Мир и жизнь прекрасны! Верь мне: каждый может Смело брать у жизни все, что в ней отрадно!

Взять у жизни радость — это наше право, Но вредит нередко нам строптивость нрава! Детское упрямство: жаждать и томиться Только потому, что не мила посуда. Вздор! Мудрец согласен радости напиться Из какого хочешь чистого сосуда!

Ты примера хочешь? А пример — мы сами... Но — пора за дело! Благовестят в храме — Для богослуженья час настал урочный! С требником под мышкой шествуйте, почтенный! Я ж в саду останусь... Аромат цветочный Буду здесь вдыхать я, как глагол священный.

Храм мой — вся природа! Но иди же с богом! А когда вернешься — расскажу о многом: О светиле новом над родной страною В образе Гомера — Яноша Араня; Как я расставался со своей звездою И — какой священник нужен для венчанья.

Мы хотим венчаться у тебя, Михая! Но пора, дружище, речь я обрываю. Живо отправляйся! Ждут ведь прихожане, Звон уж прекратился там, на колокольне. «Отче наш» не кончи в бурном ликованье Песенкой моею, песенкой застольной!

Бейе, 1847

ЗАКАТ

Солнце, как поблекнувшая роза, Опускает свой померкший взгляд, И, бледнея, с грустною улыбкой Лепестки-лучи к земле летят...

Все вокруг безмолвием объято, Лишь вдали — вечерний тихий звон. Он как будто с неба к нам несется, Навевает тихий, сладкий сон.

И внимая звукам необычным, Очарован, околдован я . . . Знает бог, каким я полон чувством, Знает бог, где бродит мысль моя.

Диошдёр, 1847

ПАННИ ПАНЬО

Панни Паньо звать меня, И краснеть должна бы я За честное имя это — Да стыда давно уж нету!

Нету у таких, как я, Ни отчизны, ни жилья! Всем бетярам я подружка, Грудь моя — ворам подушка.

Я с бетярами дружу, Им помощницей служу — Тонет золото со звоном В сундуке моем бездонном.

Пить громиле подношу И с грабителем пляшу. Вот и музыка вам, воры: На степи закаркал ворон.

Ты вяжись ко мне, вяжись, Да в петле не окажись! На четверозубых вилах Чёрт моих развесил милых!

А сама помру я как? Где сожрет меня червяк? Опостылю всем я скоро, И помру я под забором.

Под забором я помру, И цыгане поутру Сунут в яму и зароют — Где собак всегда хоронят!

Горе мне, но, мать моя, Ты горюй сильней, чем я — Ты ответишь перед богом, Виновата ты во многом!

Сватал паренек меня, Он любил, любила я, Ты меня отговорила — Все несчастье в этом было.

Серенч, 1847

В МУНКАЧСКОЙ КРЕПОСТИ

В годы давние Илона Зрини Стяг свободы подымала тут, Но, увы, пристанище героев Ныне жалких узников приют. Кандалов унылое бряцанье, Каменная прочная стена... Без боязни я взойду на плаху, Но тюрьма... Ну, нет, тюрьма страшна.

С гордо поднятою головою Всё шагает узник молодой, В дальних далях что-то ищет взором, И за взором он летит мечтой. Это гость еще, должно быть, новый, И душа его не сожжена. Без боязни я взойду на плаху, Но тюрьма... Ну, нет, тюрьма страшна.

В каземате рядом — старый узник, Он уже не ищет ничего, Высохло и легким стало тело, — Цепи много тяжелей его. Сломлен он тюрьмой, и, как могила, Глубь пустых зрачков его темна. Без боязни я взойду на плаху, Но тюрьма... Ну, нет, тюрьма страшна.

Юный узник, будет лес зеленым В день, когда на волю выйдешь ты, Но ты сам засыпан будешь снегом Горестей своих и нищеты. Старый узник, тяжкие оковы Ты до вечного не сбросишь сна.

Без боязни я взойду на плаху, Но тюрьма... Ну, нет, тюрьма страшна.

Тихий стон из-под земли я слышу, Он пронзил мне сердце, как кинжал. Прочь отсюда! Я еще на воле, Но уже почти безумным стал. Черви там грызут и дух, и тело... Темная, сырая глубина... Без боязни я взойду на плаху, Но тюрьма... Ну, нет, тюрьма страшна.

Мункач, 1847

ЖАРКИЙ ПОЛДЕНЬ

Жаркий полдень. Изнывает нива. Солнце греет, греет не лениво. Жаркий полдень. Всех жара сковала. Свешивает пес язык устало.

Вот рядами парни сено косят. Это сено девушки уносят... Эх, и несладка в жару работа, — О другом им помечтать охота...

Лучше всех живет король счастливый Иль, пожалуй, тот пастух ленивый: Ведь король на троне отдыхает, А пастух у милых ног вздыхает.

Берегсас, 1847

Я ВИЖУ ДИВНЫЕ ЦВЕТЫ ВОСТОКА...

Я вижу дивные цветы востока — Природы восхитительный гарем. Как глаз, мигающий кому-то сбоку, В разрывы туч мигает солнце всем. Я вижу пальм таинственные чащи, Где ветер еле слышно шелестит И птицы голосят в листве дрожащей, Иль это хор поющих звезд звенит? С горы вдали я вижу остров синий, Укачанный морскою синевой. У нас здесь осень, там весна в долине И журавли летят над головой. Они летят в весну, и вслед за ними Летят желанья прошлых дней моих, И так как всё сегодня достижимей, Я там уже, я тех краев достиг. Я вижу ночи лунные, как в сказке. Жизнь спит, но мертвецы настороже: Вон пляшут духи, задевая в пляске За тополя на полевой меже. Нам эти привиденья не враждебны. Они в довольстве прожили свой век, Сошли по лунной лестнице волшебной И к милым в дом спустились на ночлег. Они сошли возлюбленных проведать, Чтоб поцелуй на них напечатлеть И дать во сне блаженство им изведать, Которое их ожидает впредь. Я вижу то, что недоступно глазу И что бывает ночью — дня ясней, И эту тьму чудес я вижу сразу В мечтательных глазах любви моей.

МЕЧ И ЦЕПЬ

Прилетел с небес на землю С разрешения господня Самый дивный божий ангел. Чтоб найти и полюбить Девушку, что всех прекрасней... И нашел, и полюбил. Еженошно ангел к деве Нисходил, переступая Со звезды и на звезду. И когда он достигал Самой ближней к нам звезды, Он на лебедя садился И летел на нем верхом К этой девушке прекрасной. А она ждала в саду, Так невинно улыбаясь, Что от девственной улыбки Все бутоны распускались И внезапно оживали Все увядшие цветы. Ангел с девушкой встречался, До рассвета шла беседа О святом и о прекрасном. Небожителю внимала Девушка, потупив очи. Но когда она однажды Эти очи подняла, Так был ангел очарован, Что упал он на колени, Умоляя: «Поцелуй!» И она не отказала... Боже! Что за поцелуй! Их уста соприкоснулись —

И мгновенно вся земля Вздрогнула от наслажденья, Как огромнейшее сердце, И на небосводе звезды Колокольчиками стали И волшебно зазвенели, И под этот звездный звон Начали цветы и феи, Как под музыку, плясать. А луна под жарким взглядом Зарумянившейся девы Так зарделась, заалела, Что порозовела ночь И от этого лобзанья Дева зачала и стала Матерью... Родился сын. И такие сыновья Могут зародиться только, Если небосвод в объятья Землю примет... Был рожден Меч! И этот меч — свобода!

* * *

А из мрака преисподней С разрешения господня Вылез самый злобный дьявол, Чтобы на земле найти Самую дрянную ведьму... И нашел, и полюбил. И земля исчадью ада Приглянулась пуще бездны, Еженощно дьявол с ведьмой Обязательно встречались В мрачном кратере вулкана.

...Огнешерстый, змеехвостый, С головою, как у жабы, С крыльями, как у дракона, Дикий черный жеребец Дьявола мчал на свиданье. Ведьма же в сопровожденье И нетопырей и сов На метелке подлетала К огнедышащей горе. И до пенья петухов Проходила ночь в беседе Богохульно-сквернословной. И сказал однажды чёрт: «Что-то зябну! Сядем ближе, К самой лаве, там, где пламя! Что-то зябну, что-то зябну! Обнимай меня, целуй!» И они поцеловались... Боже! Что за поцелуй! Их уста соприкоснулись — И мгновенно вся земля Зашипела и завыла. Будто смрада наглоталась; А вулкану стало тошно, И поток огня и павы Он извергнул к небесам. Все кругом воспламенилось. Только звезды и луна Взяли черные вуали И на лики натянули, Чтоб не видеть ничего. И от поцелуя чёрта Ведьма зачала и стала Матерью... Дочь родилась. И чудовища такие

Могут зародиться только, Если в блуд с кромешным адом Вступит грешная земля: Цепь неволи родилась, Рабство — вот кто эта цепь!

* * *

Могут ли они ужиться:
Это порожденье неба
С этим порожденьем ада —
Меч свободы с цепью рабства?
На земле меж ними длится
Вековечная борьба.
Меч, давно не отдыхая,
Затупился, стал щербатым,
Но не выдержать и цепи —
Рвется, рвется и она.
Подождем еще немного —
Доведется нам узнать,
Кто из них владыка мира,
Кто хозяин на земле!

Сатмар, 1847

ОТВЕТ НА ПИСЬМО МОЕЙ МИЛОЙ

Пришло, пришло желанное письмо! Его прочел я много раз, без счета И, бог весть, сколько раз еще прочту, Покамест буквы все и запятые Не прирастут так к сердцу моему, Как звезды к небу, вместе с ним составив Один поток сверкающих миров.

Письмо и в данный миг в моих руках. К нему я прижимаю губы, в страхе, Что, может быть, кощунство целовать Его листки, — так святы эти строки. О девочка, не знаешь ты сама, Кто ты и что. Позволь, тебе скажу я. Когда я из ущелья детских лет Взошел по склону к юности вершине, Открылся мне оттуда целый мир Безмерной красоты, огромный, пышный, Необозримый. У меня глаза От блеска разбежались. «Труд на славу!» Воскликнул я: «Но мастер где его, Создатель этого великолепья? Где ты, господь? Как мне тебя найти, Чтоб, пав перед тобою на колени, Воздать благодаренье и хвалу?» Затем на розыски послал я разум. Все дебри философии, всю ширь, Какую можно было, он обрыскал, И все скорей кометы облетел. Он побывал, где до него бывали, И там, куда впервые он ступал, И через много, много лет скитаний Вернулся с этих поисков ни с чем, Больной, усталый. Он блуждал напрасно. По счастью, тут я встретился с тобой. Я сразу воспылал к тебе любовью. Ты мне открыла душу, ото всех Таимую, и что же я увидел! Тот бог, которого я так искал, Шил у тебя в душе, ты оказалась Его жилищем! Знать мне не дано, Где был он раньше и где будет после, — Сейчас он с очевилностью в тебе.

32 — I. 497

За что мне выпало такое счастье Найти его в тебе? За жар, с каким Его искал я, как никто доныне? Быть может, да, но если даже нет, И милость эта мне не по заслугам, Теперь я эту радость заслужу. Я не могу остаться недостойным Того, что ты дана мне и что бог В тебе предстал мне и как бы открылся — И нет границ моей любви к тебе. С ней может исступленье лишь сравниться, С каким пред тем я ненавидел мир. Теперь вся эта ярость, став любовью, Как даль без туч, принадлежит тебе. Вот будущность моя. Распоряжайся Как хочешь ею. Вот мои мечты. Они — твой. Но это все — пустое. Есть многое, есть большее, есть всё. Желаешь — отрекусь от убеждений, Потребуешь — я честью поступлюсь И проживу всю жизнь с пятном позора, Которого стереть не сможет смерть. Но сам ведь слишком хорошо я знаю. Что ты не можешь этого хотеть. На имени того, кого ты любишь, Быть не должно позорного пятна. Ты будешь поощрять меня, напротив, Идти вперед по прежнему пути, Чтоб умер я таким, каким родился, — Открытым, независимым, прямым. Нет, имени, которое я создал, Не пожелаю сам я разрушать. Оно в наследство перейдет потомку; И хоть оно не очень велико, Но будет незапятнанным и чистым.

Оно бы выросло во много раз, Когда б ты тоже выступила гласно Союзницей моей. Ведь и тебя Укачивала в детстве муза славы. Но ты не знаешь сил своих, а свет Не верит тем, кто сам в себя не верит. Нет, нет, держись вдали от шума битв, Где лавры служат гробовым покровом Им в жертву принесенных нежных чувств. Держись вдали! В тени уединенья Ты будешь мне не менее мила, Чем в ослепительных лучах успеха Пред громко рукоплещущей толпой. Наоборот, сознанье, что, владея Способностями с целый океан, Ты блещешь только маленькой росинкой На розе скромности, всего ценней.

Сатмар, 1847

СОЛНЦА ЛУЧ ДАВНО ПОГАС...

Солнца луч давно погас, На траву ложатся росы. Всходит месяц в этот час, Мрак полночный лег на плесы...

Юлишка моя, а ты? Верно, молишься, родная? Двери крепко заперты. Обо мне молитвы, знаю!

Юлишка моя, а ты? Верно, спишь давно, родная?

32* 499

И во сне мои черты Видишь, Юлишка, я знаю!

Если не уснула ты И не молишься, родная, А мечтаешь, — те мечты Обо мне одном, я знаю!

Что же, думай обо мне, Думай, мой цветочек ясный... Словно звезды в вышине, Думы все твои прекрасны.

Звезд чудесных череда Уж не выдумка ли милой? Ты их выдумала, да, — В день, когда ты полюбила...

Сатмар, 1847

ПОКИНУТЫЙ ФЛАГ

Он осквернен, поруган, Тот флаг. В лохмотьях весь, Он реет над пустыней — Служу ему и здесь. Был ураган великий, Трепал его и бил, И рвал его, но все же Приметен образ божий И в скорби этих крыл!

Ряды бойцов редеют... Те, кто покинул флаг, Пред идолом склонились. Ну что же! Пусть и так. Ничтожеств нам не надо, — Пусть ласточки летят Туда, где мягче зимы — Орлы небес родимых Покинуть не хотят!

Какая колдовская
Во флаге этом власть!
Храбрейшие погибли,
За этот флаг борясь,
Здесь твой алтарь, бог правды!
Пускай от алтаря
Отпрянули иуды,
Но тут до смерти буду
Стоять на страже я!

Сатмар, 1847

НЕ СЕРДИСЬ, МОЯ ГОЛУБКА...

Не сердись, моя голубка, Говорю я дело. Хватит шуток! Эти шутки Слушать надоело!

Прежних, так и быть, не помню, — Что болтать о вздоре! Хоть другой уже давно бы Был с тобою в ссоре.

Чёрт побрал бы мое сердце С добротой в придачу!

Им одним принес я в жертву Счастье и удачу.

Был доверчив, как ребенок, Верил я любому. Но теперь, клянусь в том честью. Будет по-другому.

Посему — довольно шуток, Слушай с уваженьем: Я пришел с необычайно Важным предложеньем.

От тебя теперь нужна мне Лишь одна уступка: Сделай то, в чем отказала, — Поцелуй, голубка!

Сатмар, 1847

ПЯТОЕ АВГУСТА

Наконец-то, наконец-то! Я кольцо, кольцо надел И устами, и устами Я твоими овладел.

Пью я сладость, пью я сладость Поцелуя твоего — Для меня вся сладость жизни Превращается в него.

Ну, целуй! Никто не видит, А увидят — горя нет: Обрученным целоваться Отменяется запрет.

Дай мне губы, дай мне щеки, Дай мне лоб твой! Вот он, вот, Он горит от поцелуев, Как от солнца небосвод.

Пьян я. Мягкими руками Ты держать меня должна. Я уже не отличаю Поцелуев от вина.

Только боги на Олимпе Это пить могли вино — Я не бог, простой я смертный... Голову мутит оно!

Что за необыкновенный, К небесам несущий хмель! Исчезают где-то в бездне Очертанья всех земель.

Позади — бродячья стая Пестрокрылых облаков. Я лечу меж звезд, похожих На поющих соловьев.

Как поют они! Как сладко! Сладко! Я среди огня, Будто сотни тысяч молний Пляшут около меня.

Ну, а сердце? Что же с сердцем? Вот ведь, вот ведь в чем беда! Мальчик, берегись! От счастья Умирают иногда!

Эрдед, 1847

ПИСЬМО ЯНОШУ АРАНЮ

Что ты — скончался, любезный? Иль, может быть,
руки отсохли?
Янко мой, где ты? Забыл, что я существую?
Чёрт унес тебя, что ли? Месяц — ни слуху ни духу!
Если тебя приняла колыбель вечной жизни — мо-
гила,
Мир тебе, Янко! Приснись тебе сон бескручинный!
Пусть моя брань твой священный покой не трево-
жит!
Что ж ты молчишь? Почему опоздал ты с ответом?
Если отсохла рука — в аптеку ступай, постарайся,
Сын мой, поправиться и напиши мне немедля.
Если ж забыл меня, если ты друга забыл, непутевый,
Дьявол заешь тебя, — слышишь? — желаю от
чистого сердца.
В час, когда имя свое вписал ты огнем в мое сердце,
Знаешь ли, что ты содеял? Ты сталью на тверди
гранитной
Напечатлел, о изменник, вовеки бессмертные буквы!
Да, но я сам! Неужели на зыбком песке начертал я
Имя свое, — на песке, что ветер летучий развеет?
Что ж, и за это спасибо! Нет, лучше признаю,
что стих мой
Даже хромал иногда, но не верю, что другом по-
кинут.
Killi y 1.

Вот в чем беда: ты лентяй, ты такой же, как я, лежебока.

Сделай же милость, будь скромен и лень для меня уж оставь ты!

Видишь, она мне подходит (и здорово!!), ты не согласен?

Ну, если я попрошу! Я вижу: вскочил ты, Ручку за шиворот взял и суешь ее носом в чернила, Множество длинных борозд по невинной бумаге проводишь,

Сеешь в них разную дрянь, какие-то жалкие мысли... Лучше уж не писал бы, чем столько премудрости глупой

В письма совать и в мое злополучное бедное брюхо... Можно ль найти что-нибудь глупее, чем умные письма!

Я их ужасно боюсь. Не с того ли, что сам не умею Стряпать такие? — Возможно! А в истине слов моих, Янко,

Я поклянусь табаком, и блинами, и всем, что на свете Дорого мне и священно, — всеми святынями мира! Достопочтенная кумушка, я попрошу вас нижайше Мужа убить, а потом изругать, если этот мерзавец Даже теперь не ответит, после всего, что сказал я. Пусть отвечает подробно, — если ж о милости вашей Он лишь два слова напишет, бешено буду я злиться. Пусть не забудет он черного Лаци и беленькой Юлиш,

Деток прелестных. А как поживает, скажите, Сад, на котором так часто покоился взор мой, покуда Дух улетал далеко, любовь унося к моей милой? Что с обветшалою башней, которая после сражений Грустно молчит, перевив чело свое редкой травою, Словно грядущего ждет, под чьей исполинскою лапой

Рухнет она, как старик, у которого смерть беспо-
щадно
Вырвала нищенский посох Стоит ли на ней и
поныне
Аист печальный, уставясь глазами в далекое небо?
Да, обо всем напиши, обо всем, что любил я когда-то.
Много прекрасных земель с тех пор обошел я, но
ваша
Мне вспоминалась везде, хоть нечему в ней удив-
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ляться.
Время, что с вами провел я, сроднило меня с ней
навеки.
Много бродил я с тех пор вкруг высоких блестящих
палаццо,
Все в них огромно, и только души хозяев ничтож-
ны
И вспоминал я тогда вашу низкую кровлю; под нею
Все ведь мало, лишь велики прекрасные души хозяев.
Эх, что за дьявол! Чего я хвалю вас в глаза без
зазренья? —
Только теперь и заметил! Ведь ложь все то, что
сказал я,
Все бесстыдная ложь! Я взятку всучить вам задумал,
Чтоб чтоб меня господин нотариус к делу при-
ставил,
Место лесничего дал мне, а то свинопаса в деревне, —
Две превосходные должности, пусть мне поручит
любую.
Да, мой дружок, мне скоро придется налечь на
работу:
Я ведь женюсь — ты знаешь, и знаешь, что, как
ни богаты
Все поместья мои, дохода от них я не вижу.
В этом виновен мой прадед: он продал иль нет
— не купил их.
не купил их.

Значит, мне не на что шить, и, как ты понимаешь, нужна мне
Служба. Я кланяться выучусь, мило начну улы-
баться,
Буду примерно послушен, а лесть ползучего гада
Станет мне пищей (и жирной!) О нет, блудли-
вым собакам
Будь она пищей — не мне! При мысли об этом
Полные пламени тучи кровавый мой взор засти-
лают.
Сердце, бунтуя, беснуется, как жеребец разъярен-
ный,
Будто впервые пастух, его заарканив жестоко,
Тащит из табуна и за шею волочит в упряжке.
Бешеный, он не боится тяжестей, мышцам грозящих,
Нет! Лишь хомут ему страшен, стеснитель вольного
бега.
То, что он потеряет, не возместят ему кормом.
Дикой свободы дитя, соблазнится ль он пышной
попоной
Или сверкающей упряжью? Что ему пища и рос-
кошь!
Голод свой он утолит и убогой степною травою.
Пусть гроза его хлещет в широком раздолье под
небом,
Пусть кустарник терзает и рвет непокорную
гриву, —
Только б на воле ходить, состязаясь в ликующем беге
С огненным вихрем степным и с желтыми змеями
молний.
Да охранит вас творец! Я хотел бы душой весе-
литься
С вами, друзья дорогие, но ветер, быстро бегущий,
Мощно надул паруса моей фантазии буйной,
Поднят якорь на борт, и вольно бежит мое судно.

Берег исчез, и меня баюкают в гордых объятьях Волны бескрайного моря. Я слушаю туч грохотанье,

Гул нарастающей бури, я в нервы лиры впиваюсь, Пламенем диким поют мои иступленные губы Твой, урагану подобный, гимн, о святая свобода!

Сатмар, 1847

поэзия

Как ты унижена, поэзия святая! Растоптано достоинство твое Глупцами, что, стремясь тебя возвысить, Безмерно унижают каждый раз! Такие самозванные жрецы Повсюду проповедовать берутся, Что будто бы поэзия — чертог, Парадный зал, великолепный терем, Куда входить позволено лишь тем, Кто разодет по моде и любезен... О, замолчите! Правды ни на грош Нет в проповеди вашей, лжепророки! Поэзия не зал и не салон, Где избранное общество расселось, Как лук-порей в салатнице... О нет! Поэзия — такое это зданье, Куда войти свободно могут все, Кто хочет думать, чувствовать, молиться... Что знаете о храме вы таком? Поймите: это храм, в который можно Войти в лаптях и даже босиком!

МОЙ ПЕГАС

Мой Пегас, он не рысак английский, С тонкой шеей, с длинными ногами, И не жирный ломовик немецкий, Что идет медвежьими шагами.

Мой Пегас — венгерец чистокровный, — Вот какой я прелестью владею! Солнца луч на этой гладкой шерсти Поскользнется и сломает шею!

Рос мой конь не на заводе конском, А поймал я моего Пегаса На степном раздолье Киш-Куншага, — Там родился, там он вольно пасся!

Я седлом спины его не мучу: Клок кошмы подстелен и — чудесно! И Пегас безудержно несется, Ибо брат он молнии небесной!

Он стремится в степи Киш-Куншага, Потому что там рожден он где-то. Эх! Как только натяну я повод — Мчится конь, аж свист в ушах от ветра.

Вот деревня. Ну-ка, погарцуем Перед девичьим пчелиным роем. Попрошу цветок у самой милой, И — хай-ра! — вперед пора обоим!

Захочу — и за пределы мира Мы с Пегасом вырвемся мгновенно. В пене конь мой! Это — не усталость, Это — огнедышащая пена.

Никогда Пегас мой не устанет, Что ни час, то неустанней мчится. Так и надо мчаться, потому что Далека мечты моей граница.

Мчись, Пегас, скачи через овраги, Удержу не зная никакого, А противник встанет на дороге — Растопчи такого и сякого!

Сатмар, 1847

СНОВА СЛЕЗА!

Я думал, изгнан ты судьбою, Моих несчастий давний друг, — Но вновь глаза полны тобою, О светлый вестник темных мук!

Едва в лучах горячих счастья Согрелся я, вскипела кровь, — Как солнца нет, опять ненастье, И дождь из тучи хлынул вновь.

Совсем не хлынул дождь из тучи, — Одна слезинка, видит бог! Но капля та казалась жгучей, Чем самых горьких слез поток.

Любовь моя! Рыдал, бывало, Из-за тебя я много раз.

Народ мой гибнущий! Немало Я пролил слез в твой грозный час...

Но ни из-за любви палящей, Ни над сгорающей страной Не плакал горше я и слаще, Чем в этот поздний час ночной.

Как пламень ада негасимый, Жжет эта страшная слеза... Ах, чёрт возьми, невыносимо!.. Попал мне трубки дым в глаза!

Сатмар, 1847

В КАБАКЕ

Наш кабак одной стеною Покосился над рекою, Весь он виден был бы в ней, Будь немножко ночь светлей.

Ночь же больше все темнеет; Над рекой туман густеет; Весла убраны с челна; По деревне тишина.

В кабаке лишь крик и грохот, Бубен, скрипки, пляска, хохот. Спор кипит, поют, шумят; Только окна дребезжат. «Ну, красавица хозяйка! Подходи-ка, наливай-ка! Хорошо твое вино, Жаль, что есть у чарки дно.

Эй, цыган! Притих ты что-то; А вот мне плясать охота, Разутешь-ка плясовой! Деньги есть ведь за душой!»

Вдруг в окошко постучались: «Что вы там разбушевались? Барин вам велел сказать: Разошлись бы, — лег он спать!»

«Взяли б вас обоих черти! Пить и петь хочу до смерти, С плеч рубашку заложу, А уж вам не угожу!»

Но опять стучат в окошко: «Если б тише вы немножко! Очень матушка больна; Хоть заснула бы она».

И цыгану все кивают, Чарки молча допивают, Все за шапку — и домой... Всё притихло над рекой.

БРОДЯГА

Если денег нет в кармане, Нет и в брюхе ни черта! У меня в кармане пусто — Вот и в брюхе пустота.

Я на голод не в обиде, Хоть не ел уже два дня: Кто-нибудь на белом свете Пообедал за меня.

Завтра, завтра есть я буду (Коль достану что-нибудь), Сладкой матери-надежды Пососу покуда грудь.

У меня в желудке пусто, Но зато полны глаза: Каждый миг от этой стужи Застилает их слеза.

И пускай, пускай морозит! Подгоняет холодок! С ним короче до трактира, А трактир еще далек.

Ну-тка, серая, гнедая Ну-тка, ноги, побыстрей! Что за кони, просто прелесть; Не корми да не жалей!

Левый оттого и серый, Правый оттого гнедой, Что вчера, продрав штанину, Я кусок пришил с другой.

У меня костюм был новый, Был он крепок да хорош, Так, чтоб он не истрепался, Я спустил его за грош.

А чтоб вор меня не грабил, — Эх, провел я подлеца! — Отдал в первом же трактире Грош мой за стакан винца.

Пусть теперь наскочит жулик, Пусть хоть грош отыщет он, Я ему в награду тут же Отечитаю сотню крон.

Но не вор в карман мой лезет, Шарит ветер мокрый там. Брось ты, ветер, эти штучки, Право, шлепну по рукам!

Шутка шуткой, а погоду — За разбой бы да под суд! Ливень, холод, снег да ветер — Одного четыре бьют!

И босой по лужам еду, Впрочем, этак лучше мне: В сапогах сегодня плавать Мокро было бы вдвойне.

Так пускай хохочет ветер Оттого, что я промок.

Он когда-нибудь мне тоже Попадется на зубок.

Бог пошлет мне мастерскую С теплой печью, в два окна, Будет в ней светло и чисто, Будут дети да жена.

А тогда уж, если ветер Взвоет у моих окон, Засвищу ему я в рожу, Чтоб со злости лопнул он.

Сатмар, 1847

НЕ ОБИЖАЙСЯ

Мое живое солнце золотое! Не обижайся, если иногда Я хмур и мрачен. Даже пред тобою Я не могу веселым быть всегда.

Утешься тем, что в тяжкие минуты Приносишь огорченья мне не ты. Виновницею этой скорби лютой Ты быть не можешь, ангел доброты!

Меня совсем иное нечто гложет, Глаза подергивая серой мглой. Недобрый некий дух меня тревожит, Ко мне ночами ходит демон злой.

Напрасно умоляю: «Не преследуй!» Он к этим просьбам остается глух.

Я знаю, вечным наважденьем бреда Ко мне являться будет этот дух.

Едва я, как пьянящего напитка, Касаюсь чаши радости, как вдруг Уж тут как тут мой посетитель прыткий — И чаша мигом падает из рук.

Былое — вот тот призрак окаянный, Воспоминанье — вот как звать его. Лишь горький рок мой мог придумать спьяна Такую казнь, такое колдовство.

Теперь ты знаешь, под каким я игом. Хотя в другое время я не трус, Чуть шаг минувшего заслышу, мигом Бесчувственнее камня становлюсь.

Не говори со мной в часы унынья. Тебя я в это время не пойму. Дай без следа исчезнуть чертовщине, Я сам воспряну И рассею тьму.

Вот сон какой мне временами снится. Пока мне снится этот страшный сон, Не верю я, что это небылица, — Так част и так правдоподобен он.

ГОМЕР И ОССИАН

Где греки, где кельты? И те и другие Исчезли, как те города, Которых когда-то пучина морей поглотила. Две башни торчат из воды, две вершины: Гомер, Оссиан.

Был нищим один, Другой королевским был сыном, Различны во всем и в одном только схожи: Слепцы они оба. Им взоры затмило, Должно быть, пыланье их жарких сердец, Сверканье их собственной славы.

Какие умы! Их волшебные руки Касались на лирах натянутых жил. Их вещий Глагол открывал человеку миры Таких небывалых красот, Такого величья!

Внимайте Гомеру!
В небесном его песнопенье
Улыбка сквозит постоянно.
Из этой улыбки так нежно струится
И пурпур зари,
И золото солнечных жарких
Полдневных лучей
На белую пену морскую,
На зелень морских островов,
Где боги в отрадном

Единстве с людьми Творят твои игры, любовь!

И видите ль вы Оссиана? На вечно туманной земле у холодного моря, На дикой скале заодно с ураганом Гремит свою песню он в смутных ночах. Восходит луна, И, как заходящее солнце, Кровава она, И блеском угрюмым леса одевает, в которых Блуждают печальные души Героев, погибших В минувших сраженьях.

И все, что сияет, И все, что цветет, Есть в песнях твоих, вещий предок всех нищих, Гомер!

И все, что убого, И все, что темно, Есть в песнях твоих, вещий сын королей, Оссиан!

Так пойте же, пойте, Бряцайте по струнам божественной лиры, Гомер, Оссиан! Промчатся столетья И тысячелетья промчатся, они сокрушат Все сущее в мире, но вас Они не коснутся. Все смертью пожрется, И только венцы ваших свежих седин будут молоды вечно!

ПЕСТРАЯ ЖИЗНЬ

Бывал на службе я у Марса, И к Талии я нанимался... Меня любили, уважали: То сам сбегал, то в шею гнали.

То босиком блуждал я где-то, То покупал себе карету; То чистил людям сапоги я, То мне их чистили другие,

Страдал от голода и жажды, Глодал я корки не однажды, Зато порой имел я счастье Купаться в молоке и масле!

Порой постелью средь Дубравы Служили мне сухие травы. Но снова над моей постелью Шелка алькова шелестели.

Перед слугой аристократа Я шляпу поднимал когда-то, Но и надменные вельможи Передо мной склонялись тоже.

Служанка под руку со мною Пройти стыдилась. Но иное Настало время: стал приятным Я важным дамам, самым знатным.

Ходил я в драгоценном платье, Ходил с заплатой на заплате — С зеленой, с желтой, с синей, с красной... О боже! Жизнь пестра ужасно!

Сатмар, 1847

БАРЫШНЕ Б О

Белокурое созданье, Свежий, чистый Юности моей бутончик Золотистый, Девочка, ты сердце носишь На устах, И души своей не прячешь Ты в глазах.

Тихи и душа и сердце По-девичьи И безмолвны, как зимою Гнезда птичьи. Но весна войти готова В те края, Чтоб наполнилась гостями Грудь твоя.

Ах, поры весенней этой Нету краше! В первый раз тогда приходит В сердце наше Окруженный шумной свитой Властелин —

Называемый Любовью Исполин!

В свите — радость, горе, слезы, И улыбки, И сомненья, и надежды, И ошибки. И толпятся в тесном сердце Все они. Как оно не разорвется В эти дни?

Тот народец скачет, пляшет И порхает, И покоя днем и ночью Он не знает. И никак не прекратится Этот гам. Хоть прискорбен он, но все же Дорог нам!

Э! Ты, девочка, смеешься Почему-то, Обо всем прекрасно знаешь Ты как будто! Ты давно уже все это Поняла? Да? Ну, что же! Мне тем больше Ты мила!

ПРЕКРАСНОЕ ПИСЬМО

Милая, ты написала Мне прекрасное письмо. Это след ума немалый, Прямодушие само.

Пишешь, — я тебе дороже С каждым часом, но, дружок, Веришь ли, мороз по коже Пробежал от этих строк.

Пролегла на лбу морщина — И она, как след ножа. В этом ты, мой друг, повинна, — Я читал письмо, дрожа.

То письмо — как куст на грядке, Под которым спит змея. Не найду ее, но в пятки Был тайком ужален я.

Объясни мне: неужели, Друга за любовь казня, С умыслом или без цели Оскорбила ты меня?

И рукою той же самой В сердце всажен мне кинжал, От которой я бальзама Исцеляющего ждал.

Звал тебя я, утопая, Руку помощи подать.

Подошла ты, но не знаю, — Чтоб спасти иль вглубь загнать?

Приходи, рассей сомненья, Иль безумья не сдержу, И себе о скал каменья Голову я размозжу.

Сатмар, 1847

НА РОЗУ РАССЕРДИЛСЯ Я...

На розу рассердился я — Она обидела меня. Как водится, я горевал, Сердился я и тосковал:

Мол, лишь могильщику подстать Такую рану врачевать — Тогда лишь выздоровлю я, Когда возьмет меня земля.

И до тех пор я горевал, Покуда не поцеловал Меня мой ангел, и тогда Забылась вся моя беда.

Как нож слова ее разят, Но губы рану исцелят. Ведь девушки все таковы! Что тут поделаете вы!

ВСЕ ГОВОРЯТ, ЧТО Я ПОЭТ...

Все говорят, что я поэт; И я того же мненья. Но ты, о дорогая, нет, Не славь мои творенья.

Не мучь меня своей хвалой, Мне совестно до боли. Я по сравнению с тобой — Ничтожество, не боле.

Ведь в каждой мысли у тебя, Мелькнувшей без названья, И в каждом вздохе, что едва Теснит твое дыханье,

И в каждом взгляде милых глаз С их сокровенной речью, И в голосе, что столько раз Летел душе навстречу,

В улыбке на твоих устах — Пожалуй, больше вдвое Поэзии, чем в пятистах Стихах, рожденных мною.

Сатмар, 1847

звездное небо

Я на спине лежу и из густой травы На звезды ясные гляжу во власти грез. Их серебристый свет, касаясь головы, Свивается венком вокруг моих волос.

Я душу выкупал свою в дожде лучей, Их светлый ливень смыл с нее земную муть. Она рванулась ввысь, чтобы себе скорей Путь на небо вернуть.

Земля объята сном, он сладок и глубок, И что-то лишь в тиши гудит невдалеке: Букашка ль близ меня уселась на цветок, Или вдали шумит плотина на реке, Иль это более еще далекий гром И эха замирающий ответ, Иль то душа моя свой праздничный псалом Поет с других планет?

Лети, душа моя, сквозь дали без числа И загляни за край таинственных завес, Которые рука господня соткала В премудрости иль прихоти небес. И взорами пытливыми окинь Всю бездну звезд, весь купол голубой И прилети сквозь горнюю их синь — Поговорить со мной.

Что видела? — спрошу. — Там есть ли жизнь, как тут? Похожа ли она на наш тоскливый ад? И существует ли взаправду страшный суд, Где жалуют святых, а грешных не щадят? Но мне-то в этом что? Одно мне объяви, Одно я знать хочу, одно поведай мне: Там бьются ли сердца и в них огонь любви Горит ли в глубине?

И если любят там, то я готов года Молиться, чтоб господь меня там поселил. А если нет, и вход любви закрыт туда,

То бог с ней, со страной мерцающих светил! Я землю предпочту тогда любой звезде, Пусть в ней я превращусь по смерти в прах и тлен — Все может заменить любовь, любви ж взамен Нет ничего нигле.

Сатмар, 1847

АХ, ОДНО ДРУГОГО ЛУЧШЕ...

Ах, одно другого лучше Получаю письма я: В грудь вонзила мне посланье Нынче милая моя; А другой доброжелатель Так и пишет мне: «Поверьте, Вам бежать отсюда надо, Чтоб спастись от близкой смерти!»

Значит, скрыться? Покушенье Замышляет тайный враг! Шутка это или правда? Может быть и так, и так. Дорогой мой! Если шутишь, Так иди, шути с другими, А меня не запугаешь Шуточками ты такими!

Ну, а если в самом деле Кто-то нож вонзить готов, Я хотел бы убедиться — Что за птица, кто таков? Уж не виршеплет ли это, Чью мозоль копытом тронул Мой Пегас, бредя однажды По дороге к Геликону?

Или мне судья вельможный Угрожает кулаком, Тот, чью голову однажды Сшиб я вместе с париком? Или мстит какой соперник? И такие тоже были — Из седла я многих выбил И в глаза набил им пыли!

Ха! А может быть, все трое Сразу станут предо мной? Если так оно и выйдет, Что мне делать! Боже мой! Знаю! Челюсть виршеплета Я возьму орудьем мести, — Как Самсон ослиной костью, Всех врагов побью я вместе!

Сатмар, 1847

мое сердце

Создал ли, о боже, Ты такое сердце Хоть одно еще, Чтоб оно такими Чувствами кипело Так же горячо? Это сердце — пристань, Верный кров, защита Для моих друзей; Для отца, для мамы — Мягкая подушка До конца их дней.

Это — сад прекрасный, Где цветы и птицы, Где любовь, печаль; И рудник, в котором Для мечей свободы Добывают сталь.

Все, что в мире чудно, Честно и правдиво, — Все оно нашло, И всего с любовью, С нежностью коснулось Свято и светло.

Но, как все другие, И вот это сердце Тоже в свой черед Перестанет биться, И похолодеет, И навек замрет.

И уйдет под землю, С чуждыми сердцами Прах соединив, — С теми, для которых Ни один высокий Не знаком порыв. Сердцу будет трудно С чуждыми сердцами. Чуть скончаюсь я, Выньте это сердце, Выньте и сожгите На костре, друзья.

Сатмар, 1847

ГЕРОЯМ БОЛТОВНИ

Долго ль нам бредни о родине слушать, Долго ль шумиху терпеть, венгерцы? Кто о любви к отчизне трезвонит, Тот не носит отчизну в сердце. Эй, герои! Вы словно торговки — Нынче шумите, вчера вы шумели! Ну, а родина разве не там же? Беды — не те же? Достигли мы цели?

Время действовать! Слов довольно! Вам говорю я: время приспело! Смотрит весь мир на вас в ожиданье: Скоро ль за словом последует дело? Действуйте! Кошелек раскрывайте! Жертвуйте всем для священного долга! Родину, наконец, накормите! Родина вас кормила так долго!

Пробный камень патриотизма — Жертва и благородное дело. Где вам на жертвы идти, себялюбцы! Где вам, трусы, действовать смело!

34 — I. 529

Старые нации омолодятся, Точно сады и рощи в апреле. Вы не сажаете новых деревьев, Старый сад вы, как черви, объели.

О слепота! Вас на щит поднимают, Вам посвящают похвальное слово! Вас толпа, как спасителей наших, Всех заключить в объятья готова. Где ж тут спаситель? Предатели наши! Лают подстать собаке трусливой. Враг непременно решит, что мы трусим, Если послушает сброд их крикливый.

Я не пойду с толпой им навстречу, Чтоб увидать их триумф величавый. Если ж пойду, то с одною лишь целью: Перевернуть колесницу их славы. И всенародно бичом позора Их отхлещет гнев мой великий, Виселицы напечатлев на мордах Этой хвастливой и подлой клики.

Сатмар, 1847

КАК-НИБУДЬ

Не могу дождаться свадьбы. Изнемог! Ну, не нынче, значит — завтра. Близок срок! Бесконечная неделя... Потерплю уж в самом деле Как-нибудь!

Ни гроша, мне не осталось От отца, Не оставил он в наследство Мне дворца. Вот беда! А впрочем, все же Без наследства жить мы сможем Как-нибудь!

Преупрямую девчонку Я люблю. Впрочем, что она ни скажет — Все терплю. Кровь, что пламень, у обоих! Уживемся, значит, двое Как-нибудь!

Знай: сегодня ты уступишь, Завтра — я. Вот и будет ни к чему нам Руготня. Ну, а если днем сразимся, То уж к ночи примиримся Как-нибудь!

Сатмар, 1847

ВИДАЛ ЛИ КТО?..

Видал ли кто на свете Такого великана? Я на коленях небо Держу, и не устану. Обвей рукой мне шею, Мой светлый свод небесный,

34* 531

И кругозор закрой мне Своей красой прелестной!

Зачем грудная клетка Заключена в границы? В таком пространстве счастье Не может уместиться. Чтоб радость не давила, Я часть ее истрачу: От полноты восторга Я, кажется, заплачу.

Я знал, что буду счастлив, Что горе — гость минутный, С которым я столкнулся На станции попутной. И вот печаль, прощаясь, Снимается с привала, А я не обращаю Внимания нимало.

Еще не село солнце, А соловей безумный Уже защелкал где-то Раскатисто и шумно. Но соловей ли это? Нет, это, без сомненья, Звук наших поцелуев Похож на птичье пенье.

Как тихий дождь весною Живит земные соки, Они покрыли градом Мне губы, лоб и щеки.

Как тихий дождь весною, Рождающий без счету Моря цветов и всходов В дни полевой работы.

Сатмар, 1847

В НАЧАЛЕ ОСЕНИ

Домик ласточки пустует Под карнизом у меня. С крыши аисты слетают И на горизонте тают, Суетливо гомоня.

А в густом тумане дали; Там, в небесной глубине, Птицы, словно тучек тени... Или это сновиденье? Иль причудилося мне?

Улетают, улетели Гости лета и весны. Облетят за ними долы, Сад и поле будут голы, И леса обнажены...

Все чудит сегодня небо, То затмится, то блеснет. Рассмеется, но нежданно Набежит слеза и — странно! — Вновь улыбка промелькнет. Грустный смех и слезы счастья — О, негаданный союз! В мир иной влечешь поэта, И поэт с мечтою этой Связан тысячами уз.

Так бы мне мечтать часами, И не знал бы, верно, я, Пробужден церковным звоном Или шумом отдаленным, Где блуждала мысль моя.

Сатмар, 1847

ПРОЩАНЬЕ С ХОЛОСТОЙ ЖИЗНЬЮ

Ты прощай-прости, моя подруга, Холостая жизнь, прощай-прости! Четверть века вместе протрубили, — Не простясь, могу ль теперь уйти!

Не сердись, что верный твой поклонник От тебя уходит навсегда. Мы с тобою разделили юность, Так оставь мне зрелые года!

Как никто другой, тебя любил я, Был послушен прихоти твоей, Смело шел туда, где флаг твой реял, — В дебри романтических страстей.

Как хотела, мною ты играла, Я устал, пора мне отдохнуть!

Пусть мне ложем будут руки милой, И подушкой будет милой грудь.

Юные друзья, со мною встретясь, На меня насмешливо глядят И проходят, выразив участье... Что же, видно, зелен виноград!

Но и в самом деле, я достоин Шалости — я это вижу сам. В ту корчму, что грязного грязнее, Мне уж не ходить по вечерам.

И любить я лишь одну обязан, Ту, которой дорог я один В целом мире, — а для их любовниц Существуют тысячи мужчин.

Бог с тобою, жизнь ты холостая, Не сердись, не вспоминай обид. Завтра повернусь к тебе спиною, Я тобой уже по горло сыт.

Уноси свой флаг в места другие, Новые бойцы ему нужны. Я сменил твой пестрый флаг на белый, Этот флаг — платок моей жены.

МОЛОДОЙ БАТРАК

Гусару на коня не сесть красиво так, Как на телегу сел тот молодой батрак. Он сено свез, свалил, сложил на чердаке, На хутор едет он в телеге налегке.

Везут его волы, он смотрит молодцом. Передний самый вол шагает с бубенцом. Редчайший бубенец! Так звонок он в пути, Что мог бы где-нибудь за колокол сойти.

Кричит батрак волам: «Вперед, волы, вперед!» И правою рукой с телеги кнут берет, Берет с телеги кнут — сажени три в длину — И хлещет им волов: «А ну, волы! А ну!..»

А девушка в саду полола в этот час, И парень подкатил к забору в самый раз. Она, и не взглянув, по звуку поняла — Чей это кнут и чья упряжка подошла.

И девушка в саду обрадовалась так, Что вырвала цветок, а вовсе не сорняк. А если вырван он, назад не посадить. И парню тот цветок пришлося подарить.

А парень — что ж сказать? Не мог он, молодой, Подарка не принять от девушки такой, — От девушки такой, что, как цветок, сама И что совсем, совсем его свела с ума.

И гордо свой цветок он к шляпе прикрепил, В телегу снова сел и дальше покатил.

На хутор держит путь, и, торопя волов, Как жаворонок он заводит песнь без слов.

Поет батрак о том, что в сердце он берег, Что чувствовал давно, а высказать не мог. И песня так звучит, что — видно по всему — Все жаворонки здесь завидуют ему.

Сатмар, 1847

ЗА ГОРАМИ СИНИМИ...

За горами синими, в долине, Шить ты будешь, милая, отныне, Будешь жить под кровлею одною С мужем, осчастливленным тобою. Уведу тебя, мой друг, далеко, Все к востоку поведу, к востоку, Уведу в Эрдей тебя, в селенье, В романтичное уединенье. Дни счастливые пойдут за днями, Ибо лишь природа будет с нами, Славная, сверкающая вечно И тобой любимая сердечно, Потому что лгать она не станет, Не предаст она и не обманет, Не поранит и не покалечит, А добру научит и излечит. Будем жить от света в отдаленье, И не шум его, а отраженье, — Только эхо шума мирового, — Вроде гула дальнего морского, Будем слышать. Снов он не развеет, А напротив, новые взлелеет.

О цветок единственный! С тобою Мы помчимся над большой землею. В той пустыне мира, дорогая, Выучу заветные слова я. Их сказать стремлюсь уже давно я — Милой назову тебя женою.

Сатмар, 1847

жители пустыни

Вот в горах пасется серна, Щиплет мох она у скал; Вот орел несется к солнцу И в лазури с глаз пропал; Вот в листве зеленой рощи Птичья армия поет, И змея среди деревьев Извивается, ползет; Страус глупой головою Зарывается в песок; С сатанинскими слезами Крокодил в тростник залег; Тут копается гиена, Будто труп в земле зарыт; Там — кровавыми глазами Разъяренный тигр глядит... Где же лев? Куда девался? Он охотником сражен? Иль, быть может, в дальних странах Заблудился где-то он? Этот лев не заблудился, Хоть и любит он бродить! Не убит он! Не убили!

Он не даст себя убить! Но сражался он жестоко, Победил он в той войне И, чтоб новых сил набраться, Отдыхает в тишине. Отдыхает лев усталый Там, где пальмы зелены... Отдыхаю, лев усталый, На груди своей жены!

Колто, 1847

НАПРАСНАЯ ТРЕВОГА

Я разразился б хохотом, Раскрыв до боли рот, Я хохотал бы бешено, Да стыд меня берет. Я думал, что я умница. Какой нелепый бред! Такого простофили На свете больше нет.

Туда, сюда, как щепку, Бросала жизнь меня, Как жаждал я покоя, Безветреного дня! И что же я придумал? Женился, господа... Женитьба и спокойствие — Какая ерунда!

Друзья мои тревожно Шептались меж собой: «Вдруг вместе с ним отправится И лира на покой! Чтоб листья шелестели, Ведь должен ветер дуть, И в штиль, как листья чуткие, Молчит поэта грудь».

Друзья, вы зря тревожились, Что я не буду петь: Как раньше не молчал я, Молчать не буду впредь. Я так спою, что в реках Запенится вода... Женитьба и спокойствие — Какая ерунда!

Колто, 1847

ОСЕННИЙ ВЕТЕР ШЕЛЕСТИТ...

Осенний ветер шелестит в деревьях, Так тихо-тихо шепчется с листвой. Не слышно слов, но грустные деревья В ответ ему качают головой. Я на диване растянусь удобно. День гаснет. Скоро вечер. Тишина. Склонив на грудь усталую головку, Спокойно, тихо спит моя жена.

Рукой счастливой слышу колыханье Ее груди. В моей руке другой История сращений за свободу — Молитвенник и катехизис мой. В душе моей гигантскою кометой Горят его живые письмена. Склонив на грудь усталую головку, Спокойно, тихо спит моя жена.

Народ, покорный бешенству тирана, В сраженье гонят золото и кнут. А вольность? За одну ее улыбку Герои в бой бестрепетно идут И принимают, как цветы от милой, И смерть, и раны, что дарит она. Склонив на грудь усталую головку, Спокойно, тихо спит моя жена.

Так много славных, о святая вольность, Пошли на смерть для дела твоего! И пусть победы нет, — победа будет! Последний бой сулит нам торжество. Ты отомстишь за раненых и мертвых, И будет месть прекрасна и страшна! Склонив на грудь усталую головку, Спокойно, тихо спит моя жена.

Передо мной кровавой панорамой Встают виденья будущих времен: В своей крови враги свободы тонут, От тирании мир освобожден. Стук сердца моего подобен грому, И молниями грудь рассечена. Склонив на грудь усталую головку, Спокойно, тихо спит моя жена.

С ТОЙ ПОРЫ...

С той поры, как счастливо женился, Властелином дома я сижу: Трон мой — кресло; длинный стебель трубки, Словно скипетр, я в руке держу.

И с достоинством невероятным Благосклонно принимаю я Верноподданных моей державы, И полна приемная моя.

Девочка, ты в розовом наряде И к тому ж красавица собой! Подойди, сестренка, потолкуем! Первенство, конечно, за тобой!

Девочка лукавая! Ведь прежде Ты меня старалась избегать. За тобой, за Радостью, я гнался, Но никак не мог тебя поймать!

Все ж попалась, фея! И за крылья Ухватил тебя я наконец. Стала ты садовницей моею — Что ни день сплетаешь мне венец.

Фея, ты даришь меня цветами, Ароматнейшими на земле. А шипы — они щекочут только! Видишь — нет царапин на челе.

Эй, холоп сухой и долговязый, Ты, Забота, ну-ка, скройся с глаз! Надоело! Не хочу сегодня Слышать я твой будничный рассказ.

В дни такие славные толкуешь — Как одеться да чего поесть. Прочь! Хоть жизнь и коротка, но все же Этот вздор успеет надоесть!

Боль, с лицом расстроенным и темным, Ты какого чёрта приплелась? Старый враг, неужто не боишься, Что тебя повешу я сейчас?

Ты нередко мне терзала сердце — Кровь идет еще по временам! Как мне быть с тобой? Ну, не печалься: Так и быть — тебе пощаду дам!

Очень долго мы с тобой боролись, И Победа присягнула мне. Добр я буду, ибо победитель Добротой лишь победит вполне!

Что за шум? Беснуется Пегас мой! Пнул его осел какой-нибудь? Иль тоскует конь мой, что давно уж Никуда я не пускаюсь в путь?

Погоди же, добрая лошадка, Мы с тобой потопчем облака! Видишь: я покоем властелина Не пресытился еще пока!

Колто, 1847

В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ

Цветы по садам доцветают в долине, И в зелени тополь еще под окном, Но вот и предвестье зимы и унынья — Гора в покрывале своем снеговом. И в сердце моем еще полдень весенний И лета горячего жар и краса, Но иней безвременного поседенья Закрался уже и в мои волоса.

Увяли цветы, умирает живое, Ко мне на колени, жена моя, сядь. Ты, льнущая ныне ко мне головою, Не бросишься ль завтра на гроб мой рыдать? И, если я раньше умру, ты расправишь На мне похоронных покровов шитье? И, сдавшись любви молодой, не оставишь Для нового имени имя мое?

Ах, если ты бросишь ходить в покрывале, Повесь мне, как флаг, на могилу свой креп. Я встану из гроба за вдовьей вуалью И ночью тайком унесу ее в склеп. Я слезы свои утирать буду ею, Я рану сердечную ею стяну, Короткую память твою пожалею, Но лихом и тут тебя не помяну.

Колто, 1847

ДОСТИГ ВСЕГО Я...

Достиг всего я . . . Счастьем грудь полна... Вот на коленях у меня — жена. Так молода она и хороша... О ней, о ней и грезила душа, Мечась, как захмелевший мотылек В садах мечты... Он здесь — живой цветок! Вот эта женщина, сестра прекрасных фей, Теперь женою сделалась моей. Сегодня на коленях у меня Сокровище бесценное. И я Так счастлив с этой юною женой, Что даже нет надежды ни одной В моей груди... Зачем они? Достиг Я высшей радости! И в этот миг Без колебания бы я отречься мог От всех патриотических тревог. И от тебя, любовь к родной стране! Так яростно ты гложешь сердце мне, Что вот возьму и от тебя уйду — Пусть бог чужую ведает беду! Нет! Не могу отчизне изменить! Былое, будущее может смыть Потоп великий счастья моего, Но, родина, святого твоего Он никогда не смоет алтаря! С тобой, как прежде, родина моя, Вздыхаю я о лучших днях, когда Венец терновый сбросишь навсегда, Когда победы лавровый венец Твое чело украсит, наконец. С отчизной вместе плачу я навзрыд, Коль рана незажившая болит. Злодеи эту рану нанесли!

545

Нет друга ни вблизи и ни вдали! С тобой я плачу, нищая страна, Что ты и голодна и холодна, Грущу с тобой, что, кровь твоя и плоть, Твой сын — подлец, казни его, господь! С тобой печалюсь я, отчизна-мать, Что мир тебя не хочет замечать, Что ты, в былом над всеми госпожа, Перед которой мир стоял дрожа, — Теперь — ничто! Ах, родина моя, Вот за тебя и ринусь в битву я!

Колто, 1847

ГАБОРУ КАЗИНЦИ

От имени народа говорю, От имени мильонов говорю, От их лица тебя благодарю, Душа родная, мой отважный друг, От имени народа, чьи права С такой отвагой защищаешь ты! Крестовые походы не сравнить С геройскою священною борьбой, Которую проводит этот век. И мы с тобой — солдаты в той борьбе! Уже тысячелетия в цепях Лежит народ, как новый Прометей. Страдальцу печень коршун расклевал, И в тело въелась тягостная цепь. Отгоним коршуна и цепь сорвем! Мы победим, мы все же победим! Ведь мы за правду начали борьбу — Она и победит в конце концов!

Власть все еще принадлежит врагу, А наша армия еще мала, Но в армии — отважные бойцы! Там — большинство, но сила все же здесь! Да и острей оружие у нас — Мы чистой правдой вооружены! Была победа бы не за горами, Когда бы все бойны такими стали. Как ты, мой друг! Пусть речь твоя звучит, Пусть из груди извергнется огонь — Воспламенит родные он сердца, А неприятеля — испепелит! Встань! Тупости и чванству прогреми Последний и жестокий приговор. Неколебимо будем мы стоять. Награда, что должны мы получить, Достойна будет наших смелых дел. Но что я говорю? К чему о ней Упоминать? Вель мы не для того Работаем, чтоб требовать наград, Как эти подлые наймиты лжи! Нет! Вдохновенье божеское нам, Как некогда апостолам, дано!

Колто, 1847

последние цветы

Во вражде со всем красивым, Осень яростным порывом Рвет венок с чела земли. Не найти цветов по нивам, И у нас в саду тоскливом Те, что были, отцвели.

35* 547

Юля — умница, на грядке Собрала цветов остатки И связала их в букет, Чтобы их на стол поставить, Этим радость мне доставить И спасти цветы от бед.

Если умереть им надо За окном на клумбах сада, Пусть умрут они у нас. Может быть, в воде кувшина Легче будет им кончина Здесь, под лаской наших глаз.

Колто, 1847

ВСТАРЬ И НЫНЧЕ...

Встарь и нынче, встарь и нынче, — Так же дождь шумел с утра, Был такой же резкий холод, Та же хмурая пора.

Хорошо я день тот помню... Длинным, грязным большаком Некий юноша печальный Одиноко брел пешком.

В старой выцветшей одежде, С бледным пасмурным лицом, Шел блуждающим осенним Облетевшим деревцом. Шел он, шел, и на развилье, Где раздваивался путь, Он не спрашивал прохожих, На какой ему свернуть.

И не все равно ли было: Ни на этом, ни на том Не ждала его подруга И не ждал радушный дом.

Хочешь знать, жена, что сталось С этим юношей? Так знай: Горевать о нем не стоит, Он попал недавно в рай.

Но не думай, что из этой Грустной жизни он ушел. Нет, земли он не покинул, Но блаженство здесь нашел:

В этой комнате уютной, Возле сердца твоего, — Ты, жена моя, малютка, Ты, живое божество.

Колто, 1847

СТРАНА ЛЮБВИ

На-днях я видел сон. Спал я иль грезил наяву, не знаю, Но сон мне памятен во всех чертах. Красивый, дивный сон! За описаньем Его подробностей дрожит рука. Куда-то я тащился. Виноват, Наоборот: шел быстрыми шагами, Стараясь не смотреть по сторонам. Вид этих мест был страшно зауряден, И заурядней были, может быть, Лишь люди края: Холодные, бесстрастные глаза, Обыденные, будничные лица. Так вот, я, значит, мчался, торопясь Оставить по возможности скорее Людей ужасных и ужасный край, И подошел К высокому забору, На воротах которого, вверху,

Алмазной радугой сияла надпись: «Страна любви».

Я в нетерпенье распахнул калитку И внутрь вошел.

И что ж я увидал? Единственно поэт Или художник

В горячечном восторге созиданья Могли б представить что-нибудь Подобное.

Передо мной лежал цветущий край, По-видимому, местонахожденье Действительного рая. Далёко вширь раскинулись равнина С сортами древовидных роз Размеров дуба.

Посередине тысячью извивов Текла река, все возвращаясь вспять, Как бы не в состоянье оторваться От только что мелькнувших берегов. На горизонте громоздились скалы,

На головах которых, Как кудри, запивались облака.

Как вкопанный смотрел я вдаль, забыв Закрыть калитку; как завороженный Пошел вперед,

Доверившись какому-то влеченью. Я шел лугами.

По ним бродили молодые люди С опущенною головой,

Как будто бы ища в траве иголку.

Я их спросил, что ищут

Они с таким стараньем.

«Рвем ядовитые растенья», — был ответ. «Зачем?» — переспросил я. «Для отравы.

Чтоб выжать сок и, выпив, умереть.»

Я удивился и пустился дальше.

Я подошел к стволу

Огромной розы,

Чтоб отдохнуть под ней,

Но обомлел и отскочил обратно.

На ней, над головой моей, висел Повесившийся юноша. В испуге

Я побежал от этой розы прочь Аллеей целою таких деревьев

К другой, и третьей, и четвертой. Всюду Одно и то же зрелище. На всех

Висело

По человеку.

«Скорее за реку! — подумал я. — Наверно, там

Откроется страна любви счастливой,

Как обещала надпись.»

Я на берег сбежал и прыгнул в лодку. Я быстро греб, но греб, закрыв глаза:

Со дна реки всплывали кверху трупы.

И юноши, и девушки, топясь, Ныряли стаей вспугнутых лягушек. Я переправился. Все тот же ужас: Останки отравившихся, тела Повесившихся, и прыжки с утесов, А на местах паденья — мозг и кровь Самоубийц. Я проблеска искал. Ни одного. Все то же. Беспросветность Самоубийства и улыбка синевы Над чудной, улыбающейся далью.

Колто. 1847

небо и земля

Прощай, чертог несбыточных мечтаний, Спускаюсь вниз по твоему двору. Вот ключ от всех сокровищниц. Мгновенье, Я за собой входную дверь запру.

Сюда мне белой радугою ночи Указывал дорогу Млечный путь. Здесь прожил я в воздушном замке детства, И ухожу, и дверь хочу замкнуть.

Здесь, в неземном и тридесятом царстве, В заоблачном и сказочном краю, В мечтах и сумасбродных размышленьях Провел я юность шалую свою.

Надежды и мечты недолговечны, Иссякли легковерья родники, Пора уже и мне остепениться, Настало время мыслить по-мужски. Скорей оставлю высший мир стремлений, Пока под кучей рухнувших стропил Меня и сам он при своем крушенье, Разваливаясь, не похоронил.

Поосторожнее, воображенье! Неси меня полегче под уклон, Чтоб я, спускаясь, не разбился насмерть, Как некогда безумец Фаэтон.

Но что ж я плачу, расставаясь с небом? Прощай, мечта, рассейся в синей мгле! На родину! Я радуюсь уходу. Я человек, мне место на земле.

Земля не то, что полагает юность: Не так низка и буднична она. Нет ангелов на ней, но нет и чёрта, А если есть зима, — есть и весна.

Колто, 1847

тихая жизнь

Конец комедии! Не свищет, Не рукоплещет больше зал. Я, отыграв, покинул сцену, И тяжкий занавес упал.

И вот я здесь. И так далеко Тот мир, который весь кругом Когда-то я, студент веселый, Объехал, обошел пешком.

С моей возлюбленной женою Сижу в деревне, в тишине. И хоть считал я землю тесной, Теперь в дому просторно мне.

Я вижу здесь жены улыбку, Рассвет, и полдень, и закат. Клянусь на все, что здесь я вижу, Я без конца глядеть бы рад.

Такие странности предвидеть Кто мог в былые времена? Но вот! Такой уж странный, странный Товар — любимая жена!

Колто, 1847

ВОТ БЫЛ ОГРОМНЫЙ ТРУД

Моя жена-малютка, Вот был огромный труд Тебя добыть и вырвать Из всех домашних пут!

Когда бы всем давалась Так дорого жена, Не пухла бы от свадеб Поповская мошна.

Но не растут такие Девицы под кустом, А зять-голяк — не радость, Еще поэт притом! Отец уж так старался Спасти семью и дочь, Но не могли в той битве Шесть выпадов помочь.

Потел старик напрасно, Не вышло ничего. На зло земле и небу Увез я дочь его.

Хоть колесо телеги В дороге сорвалось, Не груз благословенный Переломил нам ось.

Не груз благословений, Которыми меня Снабдили тесть и теща, А с ними — вся родня.

И, говоря по правде, Мне странно лишь одно: Что через дверь я вышел, Не вылетел в окно.

И что тому причиной? Катиться кувырком Я, по сравненью с прочим, Считал бы пустяком.

Колто, 1847

В КОЛЯСКЕ И ПЕШКОМ

Похоронила осень лето, И ждет сама уже конца. Вдруг в чаще птичий свист разнесся, И лес заслушался певца.

Лес озадачен этим свистом, Вся чаща им пробуждена. Деревья, разминая ветки, Потягиваются со сна

И солнце сверху удивленно Встречает это баловство: Оно до будущего лета Не ожидало ничего.

Оно глаза вперило в сумрак: Что там за птица на суку Всю рощу свистом всполошила И прогнала ее тоску?

Оно обшарило вершины И оглядело каждый ствол: Птиц и следа нет на деревьях. Откуда ж этот свист пришел?

Брось, солнце, розыски. Над лесом В недоумении не стой. Вон в стороне свистун искусный Идет по просеке лесной.

Бывалый молодой бродяга Свища, шагает в стороне.

За пазухой — краюха хлеба, Дом с обстановкой — на спине.

Он свищет тан, что радость слушать. Весь лес от зависти дрожит. Меж тем навстречу пешеходу Коляска барская летит.

Задумчивый богатый барин Сидит в коляске развалясь, И сумрачней затменья солнца Взгляд хмурых, недовольных глаз.

Бродяге жалко несчастливца. О бедные вы, богачи, К которым чувства оборванца Так жалостливо горячи!

Колто, 1847

ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?

Попробуй их останови, Чирикающих о любви Молокососов желторотых! Я говорю о виршеплетах. Молю их: дайте нам покой, Казнить не надо род людской. Любовь! А что она за птица? Скажите — где она гнездится? Похлебка, что сварили вы В кастрюльке глупой головы — Все эти клецки восклицаний В шафранной жижице мечтаний,

Где, в мути хныканий упрев, Как перец желт петуший гнев, — Подумайте: любовь ли это! О желторотые поэты, Вам надо ждать немало дней, Чтоб знать любовь и петь о ней. Носи в душе сомнений стрелы И так мечтай, чтоб кровь кипела, И чтоб она надежду жгла, И чтоб надежда умерла, Воскресла и погибла снова, И не было бы дня такого, Чтоб дорогого мертвеца Не хоронил ты без конца; Борись с ужасным исполином, Который бьет хвостом змеиным, — Я говорю о клевете! — Испытывай обиды те, Мстить за которые нет силы, Поскольку дорог он для милой, Тот, кто удар нанес тебе; И все же победи в борьбе, Взаимности сумей добиться, Женись, чтоб с волей распроститься, Ее навек похоронить, Навек себя обременить Постылой будничной заботой, Дневною и ночной работой, Чтоб житница была полна И чтоб капризная жена Не стала бы еще капризней, — Ну, словом, все печали в жизни Принять на плечи будь готов... ...Вот это все и есть любовь!

Колто, 1847

МУДРСТВОВАНИЕ И МУДРОСТЬ

«Что есть сей мир? Он создан кем-то, Или извечно он стоит? Стоять он будет бесконечно, Или в ничто он улетит?

Даны судьбы предначертанья На миллионы лет вперед, Или истории галера В волнах случайности плывет?

Одно ль и то ж душа и тело? Откуда смертные взялись? Куда идем? В гробах истлеем, Иль с новой силой вспыхнет жизнь?»

Вот так мыслитель одинокий Сидит, в раздумья погружен, И, будто сонмом тайных духов, Вопросами он окружен.

Продумывает неустанно Он это все за годом год. Чему же может научиться, Какую пользу извлечет?

Он ни одной черты не может На ликах духов разглядеть, Но с каждою минутой — ближе Конечный дух, чье имя смерть.

О глупый мир! Ты объявляешь Премудрейшим того глупца,

Который в поисках сокровищ Всю жизнь растратил до конца!

Живи и всё! Какое дело — Что было, что еще придет, Мудр тот, кто мудрствовать не хочет! Он всех умней, философ тот!

Колто, 1847

РОДИНА, ПОРА ВСТАВАТЬ!

Родина, пора вставать! Встань, страна родная! Уж давно пропел петух, Утро возвещая.

Родина, пора вставать! Ведь с небесной тверди Солнце бьет тебе в лицо... Свет тебя не сердит?

Родина, пора вставать! Воробей порхает, На гумне свой жадный зоб Туго набивает.

Родина, пора вставать! Вот и кот проснулся, Выпил в крынке молоко, Сладко облизнулся!

Родина, пора вставать! Ты не видишь, что ли: Без призора бродит скот, Топчет всходы в поле!

Родина, пора вставать! Шарят по подвалам Виноградари твои, А лоза увяла!

Родина, пора вставать! Глянь, соседи пашут, И к своей они земле Прирезают нашу!

Родина, пора вставать! Что-то жарковато, Пахнет гарью... Не проснись Ты под гул набата!

Родина, пора вставать! Венгрия родная, Не проспишь ли смерть свою? Может быть... Не знаю!

Колто, 1847

ПОЦЕЛУЕВ ДВА ДЕСЯТКА...

Поцелуев два десятка Самых жарких, самых сладких! И прибавка Мне нужна. Поцелуй еще, жена!

36—I. 561

Коль цветы — Так уж цветы Самой яркой пестроты. Если женщина — Пусть будет Черной, маленькой, как ты.

Поцелуй же, дорогая, Точно углем обжигая Поцелуем огневым, — Чтобы мне От поцелуя Показалось, Что лечу я Прямо на небо живым!

Поцелуев не жалей, А свечу туши скорей. Темнота Дешевле света И приятней, И милей.

Славной парочкой мы будем. Чёрт не брат женатым людям. Темной ночью, Ясным днем — Будем мы всегда вдвоем!

Колто, 1847

УЗНИК

«За тебя боролся я, свобода, — И закован в цепи, в кандалы; Света ослепительного жаждал — А живу среди подземной мглы.

О когда же, наконец, спасенья, Избавленья чудный час пробьет, Час, в который я вздохну свободно, Час, в который солнца луч блеснет?»

В подземелье мрачном, как могила, Узника раздался тяжкий вздох. Узник стар. В который раз вздохнул он? Но об этом знает только бог.

Или, может быть, совсем недавно Он в темницу эту заключен? Мрак тюрьмы — искусник небывалый: Час в столетье превращает он.

Нет, с тех пор не час прошел, а годы, Как он тут сидит, в подземной мгле, — Проходя, они чертили знаки На его измученном челе.

Пробовал тяжелыми цепями Голову себе он размозжить, Но всегда в последний миг надежда Успевала за руку схватить.

Он надеялся освободиться! Пусть полжизни здесь он проведет, Все-таки другую половину Он на вольной воле проживет.

Потому-то ждал он, потому-то Не покончил до сих пор с собой... Вел он счет годам, что так лениво Над его тянулись головой.

Наконец не вороны слетелись, Прилетел прекрасный голубок, Весть ему принес он дорогую, Что уж миг свободы недалек.

Отворились, распахнулись двери... Вот оковы сняли... Торжество! Узник вскрикнул падая... От счастья Сердце лопнуло его.

Колто, 1847

ЛУННАЯ ЭЛЕГИЯ

Зачем же я — луна? О, чем я согрешил, Что превратить в луну господь меня решил? О, быть бы на земле последним батраком, Чем в небесах мерцать полночным королем! Носить бы там, внизу, опорки на ногах, Чем в среброшпорных здесь томиться сапогах! И лучше б на земле вдыхать трактирный смрад, Чем звездноцветный тут вдыхать мне аромат! Страшней моей судьбы не выдумать. О нет! Ведь лают на меня все псы, любой поэт: Мол, с нами на одной ты дудочке игрец! Ушами хлопая, поймут ли, наконец,

Что вовсе не у них сочувствия и щу... Я бледен не от мук, я в гневе трепещу! Сержусь я! Душит гнев! Он душит оттого, Что каждый ферт со мной заводит кумовство, Как будто бы свиней пасли мы заодно... Порадоваться все ж бывает мне дано. Сорвется искорка с господнего чела. Доподлинный поэт! Мне песнь его мила! Такая песнь дойдет до глубины сердец! Но ведь покуда он придет, такой певец, Мяуканье котов звучит и там, и тут... Одни репейники цветут там и цветут — Уж только не на них бывает недород! — ...Поездка начата. Со страхом мчу вперед. Чей скрип пронзит мне слух? А! Вот знакомец мой! Меня приветствуя, он выгнулся дугой, И выпрямился вдруг, и размахнулся так, Как будто целый мир зажат в пустой кулак. А шея вся в поту, и сколько жил на ней! Обманутый цыган не жилится сильней! Выспрашивает, врет и плачет заодно... Канючит: «О, взгляни к возлюбленной в окно!» Ну, ладно! Загляну! Так вот что! Знай, дружок: Юдифька-то как раз полезла на шесток, Картошку из печи в горшке она берет, Да так поспешно жрет, что обожгла весь рот! О, как он мил, сей лик, страданьем искажен! Как раз он по тебе! Тебя достоин он! Все понял ли теперь, что делается там? Так сгинь скорее в ад, иди ко всем чертям!

Колто. 1847

МОГИЛА НИЩЕГО

Словно зверь в предчувствии кончины В гущу леса тащится несмело, В пустошь удалился старый нищий, Только близость смерти подоспела.

Труп нашли разбойники проездом, Вырыли могилу, схоронили, На могильный холм суму и посох, Завязав крест-накрест, водрузили.

На равнине голой и песчаной Виден холм и этот знак могильный. Но природа, покровитель бедных, Затянула холм травой обильной.

Удивительно! На нищем в жизни Лишь пестрели рваные отрепья, Но в цветы запряталась могила, Утопая в их великолепье.

Наконец-то он достиг покоя. Жизнь прошла, и кончились тревоги. Кто поверит, сколько треволнении Испытал он на своей дороге?

Кто поверит, что рука, которой Стал опорой посох суковатый, В буйной юности своей махала Боевою саблею солдата?

Кровью жертвуя своей в сраженье, Для господ он жил страдой походной,

Ради преимуществ тех, кто дали Смертью умереть ему голодной.

Так и умер он, и позабыта Нищета и шум боев бывалый. Безмятежен сон его подземный, Вкруг него безмолвие настало.

Иногда на посох птичка сядет И поет задумчиво и жалко. Да и что навеять может птичке Странническая сума и палка?

Колто, 1847

У ЯНОША АРАНЯ

Снова еду в город, проведя в деревне Тихо, одиноко месяц свой медовый. Там средь тесноты и давки бестолковой Я души одежды слякотью покрою. Но пред тем как люди каменной столицы, Встретив, ледяной водой меня окатят, Дай мне у огня с тобой наговориться. Жизни, кажется, на это мне не хватит.

Здравствуй снова, друг! Кругом все зеленело В дни, когда к тебе приехал я впервые. А теперь печально в роще опустелой, Осень на дворе, дожди, поля пустые. У меня с природой общность ощущений, — Если грустно ей, и мне должно быть туго; Но теперь со мною часть поры весенней, Лучшая притом, — со мной моя супруга!

Я привез жену. Чего желать другого? Мир женатого пленителен и сладок. Пусть ругают брак отшельники и совы, Слышать не хочу их холостых нападок. Скажут — я в плену, заботы одолели. Но куда мне рваться из такого плена, Если в малой точке этой параллели Совместились все сокровища вселенной?

Ну, да это в дверь открытую ломиться, Воду лить в Дунай — тебе хвалить женитьбу. Счастие семьи с заглавною страницей Жизни всей твоей легко я мог сравнить бы. Здесь твоя жена и двое ребятишек. Сядем в круг, забудем перья и чернила, Проведем в беседах времени излишек, Чтобы наша речь часы остановила.

Так мы и обманем гайдука в ливрее, Чтоб не гнал меня к трудам без перерыва. Жажду славы я пустил себе на шею И с седла не сброшу, как ни тряс бы гривой. Но не жажда славы новый мой погонщик. День и ночь не ей я отдаю усилья. Я теперь тружусь, как рядовой поденщик, Словно запродав себя нечистой силе.

Знаю, что забвенье, как добычу кречет, Имя унесет мое в места глухие. Пусть меня отчизна не увековечит, Я пою затем, что петь — моя стихия! Поскорей молва ко мне бы охладела, Жизнь освободить бы от ее отравы! Снова бы себе принадлежать всецело. Розы лучше лавров ненадежной славы!

Как бы я хотел с женой и вами всеми Погостить, пожить в глуши среди природы, И не вспоминать на будущее время Дней, когда и я входил сначала в моду. Навестив тебя, здесь встретится со мною Слава, и кивнет приятелю былому. Но ответом я ее не удостою. «Виноват, — скажу, — мы с вами незнакомы.»

Чепуха! Зачем наплел я столько вздора! Не судьба мне жить в тиши уединенья, Суждены не мне цветущие просторы. Поле боя — вот мое предназначенье! Имя пусть мое в могилу с телом бросят, Бывшее при жизни неприкосновенным. Я не отступлю, покамест смерть не скосит, Весь в крови паду я, но в бою священном.

Салонта, 1847

ТЫ, МИЛАЯ, ТВЕРДИШЬ...

Ты, милая, твердишь, что я хорош! И ты права отчасти, это верно. Но я причем? Источник ты сама Того, что, может быть, во мне не скверно.

Заслуга ли земли в том, что она Дарит цветами нас, дарит плодами? Да родила б она хоть стебелек, Когда б не солнце с яркими лучами?

Надьварад, 1847

ТОЛЬКО Я В СВОЕ ОКОШКО ПОГЛЯЖУ...

Только я в свое окошко Погляжу — Взглядом будку караула Нахожу. Часовой шагает мерно Взад-вперед; Королевски важен каждый Поворот.

Так и я шагал у будки Часовым: Ведь и я служил когда-то Рядовым. Черно-желтый профиль будки Мне знаком: Там размахивал огромным Я штыком.

И потел в телячьей шкуре На часах, И блистал в своих чудесных Сапогах. И выкрикивал я грозно: «Халтберда», Подметая двор казармы Хоть куда.

О профессия героев! Жизнь — алмаз! Как жалел об этой жизни Я подчас! Стыдно мне, что лавровый я Снял венок И швырнул метлу с винтовкой, Отбыв срок.

Эх, как я наказан богом, Что тогда Я покинул жизнь героя Навсегда. Ведь поэт я нынче только, Да, поэт... А в полку бы стал капралом, Спору нет.

Надьварад, 1847

В ДУШЕ ГЛУБОКОЙ...

В душе глубокой Цветник востока Всегда облитый солнцем вешних дней: Всех стран растенья Без исключенья Собрал я полностью, казалось, в ней.

Недоставало Лишь веры малой В загробный мир, в иное бытие. Теперь средь сада Есть та рассада: Ты посадила, ангел мой, ее.

Что о вселенной Мне ум надменный Не мог сказать в былые времена. Мне объяснила Легко и мило Сама своей любовию жена.

Темны не склепы, Мы сами слепы При встрече с вечностью лицом к лицу. Ее свеченье Лишает зренья — И мы уподобляемся слепцу.

Гроб не темница. Нет, нет, — гробница Речного перевозчика паром, Когда с обрыва Земли счастливой Еще на лучший берег мы плывем.

Лишь неизвестно, Но интересно Расположенье этих дальних мест И, в лодке сидя, В каком мы виде Свершим туда по смерти переезд?

Как соловьи ли, Раскинув крылья, Мы на звезду с звезды перепорхнем, Иль лебедями, Скользя кругами, Вдвоем на море вечности замрем?

Пешт, 1847

ОСЕННЯЯ НОЧЬ

Видишь... видишь... Что ты можешь видеть? Ночь глубокая вокруг, жена. Над землей — полночный мрак и тучи, Точно в трауре двойном страна.

Ветер... он — без родины бродяга, Он, чужой И небу и земле, Мечется меж небом и землею. Слышишь, как он стонет в этой мгле?

Хорошо с тобой жена, легко нам. На диване ты, а в кресле — я; Хорошо с тобой нам возле печки В тишине уютного жилья.

Но... есть люди... бродят по дорогам; Вьюга рвет лохмотья с их груди, Треплет волосы, с пути сбивая, С визгом пробегая впереди.

Улицей идут они... заманчив В окнах тихий свет: свечей покой. Но проходят мимо, — кто откроет Дверь бродяге позднею порой?

Кто же, кто же может знать, чем был он? Станет чем? Судьбу не знаем мы... Так и я когда-то был бродягой Без пристанища, под кровом тьмы.

Шел усталый, слабыми ногами Я месил по всем дорогам грязь.

Но душа моя на крепких крыльях В это время к небесам неслась.

Улыбаясь шел, мечтал: какое Дам сокровище отчизне в дар? И сказали вслед мне, все кто видел: Это, мол, наверное — бетяр!

Пешт, 1847

СУДЬИ, СУДЬИ...

Судьи, судьи, будьте чутки — Приговоры ведь не шутки! Приговаривая к смерти, Все учтите, все проверьте!

Тише! Прозвучало слово: «Смерть!» — сказал судья сурово. К плахе юношу подводят, С топором палач подходит.

Над землею солнце встало, Наземь голова упала, Хлещет кровь струею красной... Ах, фонтан какой прекрасный!

Полночь, лунный свет зеленый... Юноша встает казненный Из-под эшафота прямо, Из сырой могильной ямы.

Голову рукою правой Он берет за чуб кровавый, И по городу проходит, И к дверям судьи подходит.

«Я невинный лег на плаху!»
Задрожал судья от страху...
Он проснулся... Дверь раскрылась,
Голова в нее вкатилась!

И с тех пор стоит ночами Юноша перед дверями, За неправду укоряет, Голову в судью швыряет.

Пешт. 1847

РОЗЫ РАСЦВЕТАЮТ НАД ХОЛМОМ...

Розы расцветают над холмом... Милая, прильни к плечу плечом. Я услышу нежные слова, Сладко закружится голова!

Там, в Дунае, солнышко лежит, И Дунай от радости дрожит. И его баюкают, любя, — Милая, совсем как я тебя...

Что ж враги клевещут на меня И клянут, в безбожии виня? Вот я к сердцу твоему приник, — Разве не молюсь я в этот миг?...

Пешт, 1847

ПАВЕЛ ПАТО

Словно принц за океаном, Скованный волшебным сном, Павел Пато жил в деревне Одиноко день за днем. По-другому жизнь пошла бы, Будь у малого жена... Но зевает Павел Пато: «Эх, успеем — жизнь длинна!»

Отвалилась штукатурка, Дом развалиною стал, Продырявленную крышу Ветер к чёрту растаскал. Починить бы — ведь сквозь дыры Даль небесная видна... Но зевает Павел Пато: «Эх, успеем — жизнь длинна!»

Сад пустой зарос бурьяном. Но зато цветут поля: Мака алые головки Каждый год родит земля. Что ж не боронят, не пашут И не сеют? Чья вина? Но зевает Павел Пато: «Эх, успеем — жизнь длинна!»

Брюки, старая венгерка — Все одна сплошная рвань; От москитов не спасла бы Прохудившаяся ткань. Заказать костюм бы новый — Есть еще кусок сукна...

Но зевает Павел Пато: «Эх, успеем — жизнь длинна!»

Так проходят дни за днями, И хотя отцы его Для него скопили много, Он не нажил ничего. Впрочем, дело тут простое: Он — мадьяр, его ль вина? У мадьяров поговорка: «Эх, успеем — жизнь длинна!»

Пешт. 1847

ЖЕНУШКА, ПОСЛУШАЙ...

Женушка, послушай, Что хочу сказать: Надо нам с тобою В прошлое сыграть. Слышишь ты? За дело Взяться не пора ль? Время драгоценно, Им бросаться жаль.

Нежились мы долго... Этому — конец! Леность изгоняет Чувства из сердец. В жизни надо что-то Строить, создавать. Вот мне и охота В прошлое сыграть.

37—I. 577

Так вообрази же: Девушка ты вновь. Вспомни сад, в котором Началась любовь. Эта печка будет Деревом большим... Помнишь? Объяснялся Я в любви под ним.

Прислонись же к печке, Руку протяни. И начну я снова, Как в былые дни: «Я вас лю... лю... лю... лю... госпожа моя! Руку вам и сердце Предлагаю я!

Вы, моя услада, Любите меня?» «Да, мой милый Шандор, Я люблю тебя!» Нет! Анахронизмы Допускаю я — Ты не то сказала, Милая моя!

Ты мне отвечала: «Я вас не люблю!» Так, моя голубка? Что ж! Благодарю! Ловко! Вышла замуж И уже тотчас Говорит открыто: «Не люблю я вас!»

Ха!.. Но что со мною? Вспомнить бы пора, Что ведь это — только В прошлое игра. Значит, нет причины Затевать скандал. Но, однако, бросим, Я играть устал.

Я устал! Мне нужен Отдых и покой. Сядь сюда. Я лягу Здесь перед тобой. Ангел, подари мне Сладкий, сладкий сон. Как приятен отдых Тем, кто утомлен!

Пешт, 1847

НОЧЬ

Спать ложитесь, Люди! Даль во мгле. Иль ступайте Тихо По земле.

Двигайтесь Тенями. Легче шаг! Крадучись, Безмолвно, На носках.

37* 579

Чтите траур, Чтите Знак судеб. Ночь надела Нынче Черный креп.

У нее был Милый. Умер он. Ночь горюет С самых Похорон.

Бродит, Ляжет наземь, Зелень нив Слез своих Росою Окропив.

Вдруг блеснет Улыбки Благодать. Что это? Откуда? Как понять?

Встал из гроба Месяц И притих. Это вот и есть Ее Жених.

Радость встречи, Нега Без конца. Мука Разрывает Их сердца.

Шепчутся. О чем же? Кто поймет? Никому Не слышен Шепот тот.

Да и так-то Лучше: Велика Тайна Их беседы На века.

Лишь в бреду Безумный Ловит слух, Что в пространствах Духу Шепчет дух.

Слышит их Пред смертью Вдалеке Тот, чья жизнь Висит на Волоске. Слышит также Речь их И поэт В час, как сам Впадает В вещий бред.

И не в силах Мыслей Прочь отвлечь, Понимает Мигом Эту речь.

Но, очнувшись, Он, Теряя нить, Слов ночных Не может Повторить.

Пешт, 1847

ОКАТООТАЙЯ

Где-то рядышком с Австралией, Позади Китая, Есть страна, она зовется Окатоотайя.

Далеко? Вот и прекрасно! Значит — не удастся Никакой цивилизации В ту страну прокрасться!

Мы с Австралиею вместе Горды и упрямы, И злодеям не позволим Обмануть себя мы.

Назревает и в Китае Некое движенье, Мы ж стоим неколебимо В прежнем положенье.

Так, в своем величье строгом, Позади Китая, Борется с судьбой и богом Окатоотайя.

Вот счастливцы! Их достатков Я не перечислю... Кстати — нет нужды здесь в чувствах, Равно как и в мыслях.

Здесь душа, как ослик: главной Пищею духовной Служат ей осот, репейник, Календарь церковный.

И по этой вот причине Любят здесь не очень И артистов, и поэтов, И всяких таких прочих...

Если же кто, обезумев, И пойдет на это, Пусть он лучше спрячет зубы В ящике буфета.

Что тут грызть? Зачем поэтам Острые клычища? В лучшем случае дается Жеваная пища!

Умилительно и то, что Здесь навек разъяты Хром и лайка — люд незнатный И аристократы.

Лайка! Да! Собачья шкура Здесь в почете! Носят Господа ее охотно И другой не просят!

Уважаем благородство, Только им и дышим, Но заботимся при этом О сословье низшем!

«Эй, мужик, раскрой ладони! — Так помещик шепчет, — Вот ничто тебе в подарок. Держи его крепче!»

Кто-то, где-то, для чего-то Говорит ехидно, Что публичных, мол, построек Здесь у вас не видно.

Что? Построек нет публичных? Лжете вы лукаво! Виселицу можно видеть У любой заставы! Можешь, нация гордиться, Ведь строенья эти, Воздвигая, превзошла ты Страны все на свете.

Рождена для дел великих, Процветай, о нация! Пусть и впредь не потревожит Нас цивилизация!

Пешт, 1847

К ВЕНГЕРСКИМ ПОЛИТИКАМ

Поэтов бедных презирает Самоуверенная знать, Что на собраньях комитатов И в сейме любит роль играть. С дороги прочь, поэт презренный, Месящий сапогами грязь! Тебя задавит важный барин, На рысаках куда-то мчась.

А чем вельможа столь гордится? Что лошадь очень хороша? Что челядь у него жиреет, А у поэта — ни гроша? А может быть, он полагает, Дороден, пышно разодет, Что обладает большим весом Он в этом мире, чем поэт?

Надутые аристократы, Вы, как на вас я поглядел, — Костры, в которых жалко тлеет Сор мелких повседневных дел. Тот пламень видит ночью странник Над свалкой где-то городской, Но к утру станет это пламя Холодной, мертвою золой.

Костры вы, а поэты — звезды! Костер на поле заблестел, И мутный пламень застилает Сиянье звезд, небесных тел. Но видите — давно уж ветер Развеял пепел от костра, А в небе крохотные звезды Сиять остались до утра!

Поймите существо поэта, Цените это существо! Поэт — усвойте это, люди! — Письмо от бога самого! Письмо, что в милости высокой Он вам, ничтожным, ниспослал, Письмо, куда своей рукою Он правду вечную вписал!

Быть может, нация иная Не так поэта ценит дар, Но ты-то уж своих поэтов Обязан почитать, мадьяр. Поэта пламенное слово Отчизне много помогло. И так недавно это было — Ведь и полвека не прошло...

Ведь то последнее богатство, Какое мы могли сберечь Из прадедовского наследства — Великая родная речь, — Ведь и она едва дышала, Так тяжело была больна. Валялась посреди дороги Бездомной странницей она.

Вы, чванные аристократы, Чем помогли вы ей, больной? Затем лишь к ней и приближались, Чтоб злобно пнуть ее ногой? Поэты — бедные поэты — Спасли ее в конце концов И возлелеяли... Зачем же Вы презираете певцов?!

Пешт. 1847

на именины моей жены

Милой Юлишки сегодня Именины! Где же он, Старый ментик с позументом, Лисьим мехом опушен?

Брюк немецких мне не надо! Где мадьярские штаны? Ну, теперь лечу в аптеку — Для усов щипцы нужны!

И таким лихим я франтом Подступлюсь к тебе, жена, Будто мода самых славных Дней былых воскрешена.

Люди в годы этой моды Одевались кое-как, Но зато уж не скупились На раздачу всяких благ.

Вот и я тебе желаю Благ! Но в жизни много благ, Так они разнообразны, Что не выберешь никак!

Я хочу в едином слове Пожеланья уместить... Чтоб тебе до самой смерти Не вздыхать и не грустить?!

Нет! Не этого желаю! Надобно порой вздыхать; Там, где тени не бывает, Там и света не видать.

Юность! Только в ней и прелесть! Да ведь вот какая грусть: Юность очень быстротечна! Унесется... Ну и пусть!

Пусть! Дожить (конечно, вместе!) Надо до седых волос, Чтобы молодостью в маске Старость сделать удалось!

Пешт, 1847

ПО СПОКОЙНОЙ ГЛАДИ МОРЯ...

По спокойной глади моря Мой челнок плывет спокойно, Чуть качается, как роза На груди прохладной ветра. Впрочем, должен я признаться, — Мой покой вполне заслужен. Та река, которой прибыл Я сюда, была шумлива, И бурлива, и опасна. Молнии грозили сверху, А с боков грозили скалы, Подо мною открывались Злые рты водоворотов... Каждый взмах весла широкий, Каждый стук тревожный сердца Мог, я знаю, быть последним. Но я греб, я греб упорно, И когда мой путеводный Огонек — моя надежда — Вдруг погас, весла не бросил. Вознаграждено упорство, И награда так прекрасна: Безмятежное качанье На бескрайной глади моря Радостной семейной жизни. Я весло свое откинул, Мне оно совсем не нужно. Ведь куда б меня ни вынес Ветер, паруса товарищ, Слабо веющий, по-детски, — Безразлично, потому что Окружен челнок мой всюду Чистым, ясным, светлым небом... Небо на поверхность моря Опирается краями И висит над головою. Как большой венок, сплетенный Из цветов голубоватых. Я плыву, плыву, качаюсь, Я раскачиваюсь тихо, Беззаботный, безмятежный, И склоняюсь головою К милой в мягкие колени. И в глаза ее гляжу я; Те глаза черны, но блеска, Но сиянья в них не меньше, Чем в глазах у духов рая. Я бренчу на лире песню, Я пою ее мечтая. Не по правилам я песню Сочинил... Нет, положился Я на пальцы, — пусть играют, Что хотят. Они по струнам Мчатся вверх и вниз, как будто Волосы перебирают У моей любимой. Видно, Песня хороша. Слетают Звезды вниз, чтобы послушать, И, внимая песне, месяц Из морских пучин выходит. Так, играя, распевая, Я в челне плыву, подобный Ариону на дельфине. Да порою прилетает Мне на мачту буревестник И рыдает над грядущим

Дорогой моей отчизны. Но чем дальше заплываю Я в простор морской, тем реже Прилетает эта птица, Предвещающая беды.

Пешт. 1847

на железной дороге

Волны радости! Хочу Быстротою насладиться. Здесь летала только птица, А теперь вот — я лечу!

Мчалась ты быстрей меня, Мысль моя. И вот — погоня. Мы догоним, перегоним! Так пришпоривай коня!

Лес, ручей, овраг, утес, Домик, путник — что еще там? Все подхвачено полетом, Как в тумане унеслось!

Как безумец, сзади нас Мчится солнце. Солнцу мнится — Сонм чертей по следу мчится, Разорвет его сейчас.

Утомилось! Вот беда! В огорчении великом Припадает к горным пикам, Пламенея от стыла. Но вперед на всех парах Так машина наша мчится, Что не диво очутиться Где-нибудь в иных мирах.

О строитель, строй пути! Сотню, тысячу — строй смело! Как артериями тело, Ими землю оплети.

Вот артерии земли! Высоко их назначенье: Соки жизни, просвещенье Через них и потекли.

Но давно ль ты строить стал? Все металла не хватало? Рушьте цепи! Их — немало! Вот и будет вам металл!

Пешт, 1847

К ГНЕВУ

Иссякнешь ли ты, Мой безудержный гнев, Стремясь с высоты Диким горным потоком, Вскипая и пенясь В ущелье глубоком? Иссякнешь ли ты, Мой безудержный гнев? Ужель превратится

В домашнюю птицу Орел, озаренный небесным огнем, Дерзавший когтями В загривок вцепиться Свирепому вихрю, Чтоб мчаться на нем? Иль страсти потухли И в сердце орлином, И буря рассеялась Там, вдалеке, — И стал мешанином В ночном колпаке, Тот юноша смелый, И нетерпеливый, Не знавший предела В делах и мечтах, Чье сердце пылало, Чье имя звучало У всех на устах — Петёфи гневливый? Но полно! Не надо Напрасных тревог, Меня не оставит Мой пыл благородный. Не может исчезнуть Мой гнев справедливый, В душе не иссякнет Бурливый поток! Он только притих... Подожди, подожди — Течет он сегодня По темным низинам, Но вижу грядущее Там, впереди, С горами, со скалами,

38 — I. 593

С криком орлиным!
Скорее бы этих
Достичь берегов!
О родина!
Хватит нам сил для удара!
И яростно ринемся
Мы на врагов,
Как рушится в бездну,
Кипя,
Ниагара!

Пешт, 1847

ВОН ТАБУН, ОН В ПУШТЕ ХОДИТ...

Вон табун, он в пуште ходит, Где бетярский путь проходит. А табунщик? Он в деревне — Пьет, как бог, засев в харчевне.

Что ж! Пусть пьет он сколько хочет, Глотку пыль ему щекочет, Горло высохло от зноя — Солнце жжется, как шальное.

Но уж если вы, папаша, Забрели в харчевню нашу На бетярском перепутье, Про табун вы не забудьте!

Как же! Стражи там, снаружи, Все один другого хуже: Спать решили завалиться, Шляпами укрыли лица.

Любо на земле валяться Да под шляпой укрываться. Хоть на солнце испекутся, А пожалуй, не проснутся!

Едет кто-то... Кто же это? Паренек из Кечкемета. Едет тихо он, с оглядкой, Конь под ним атласно-гладкий!

Конь хорош, а всадник лучше! Взор его, как пламень жгучий, И рука сжимает кнут. Вот разбойник! Тут как тут!

Посмотрел, полюбовался, А потом в табун ворвался И погнал коней гурьбою. Киш-Куншаг, господь с тобою!

Солнцу время закатиться, А бетяр несется, мчится; Перед ним несутся кони. Все прекрасно! Нет погони!

Из корчмы табунщик вылез, Тут и страши пробудились. Зашумели, заметались — Лошадей не досчитались.

И по пуште скачут, рыщут, Лошадей повсюду ищут... Не доищетесь, ребятки. Даже в Кикинде, в Сабадке!

Пешт, 1847

ЛИШЬ УТРО МИНУЛО...

Лишь утро минуло — уж вечер над землею, Лишь минула весна — зима стучит в окно. Недавно, Юлия, знакомы мы с тобою — Но ты жена моя, жена уже давно.

Вчера лишь мы отцам садились на колени, А завтра будем тлеть мы с дедами в земле. Дни человека — зыбь, бегущих тучек тени, Жизнь — мимолетный след дыханья на стекле.

Пешт, 1847

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 1847 ГОДА

1

Год прошел... Итог подводят И хозяин, и хозяйка: Вот доходы, вот расходы — Сделай милость, подсчитай-ка!

Сколько было! Что осталось? Кошелек тощает что-то! Пот со лба они стирают: Тяжела была работа!

Хорошо, что денег нету, Женушка, у нас с тобою — Рук не пачкаем, считая, Пот не льется с нас рекою. Их кубышки тяжелее, Но сердца богаче — наши. Наша бедность их богатства И счастливее и краше.

2

Странно! Ровно год назад Был еще я холост, А теперь... Теперь всегда Слышу женский голос.

И уж так заведено В этом добром мире: Нынче двое нас, а глядь — Будет три... четыре!

3

Но шутки прочь... Ведь друг наш старый, Наш добрый друг — на смертном ложе! Он болен, безнадежно болен, И выздороветь он не может. Сплетем ему венок из лилий, Пусть благостно он спит в могиле.

Он наши руки нераздельно Соединил своею властью, Высоко поднял наши души Для неизведанного счастья. Сплетем ему венок из лилий, Пусть благостно он спит в могиле.

Те небольшие огорченья, Что на сердца он капал наши, Не омрачали нашу радость, Она от них была лишь краше... Сплетем ему венок из лилий, Пусть благостно он спит в могиле.

Конец... Все глуше бъется сердце, Тъма вечной ночи кроет эти Святые очи, что смотрели На наше счастье на рассвете... Сплетем ему венок из лилий, Пусть благостно он спит в могиле.

4

Смерть года! В этом есть величье! Он умирает не скорбя. Мудрейший в этот час стремится Замкнуться и уйти в себя.

В сей час торжественно прощают Не только другу, но — врагу, Прекрасно это... Только все же Я поступить так не могу.

Ведь кто мои враги? Тираны И души рабские! А их Прощать никак я не способен! Нет! Это выше сил моих!

Представ перед судом господним, Я это повторю и там. Прощать не стану! Пусть уж лучше Я не прощен останусь сам!

Пешт, 1847

КОММЕНТАРИИ

Стр. 99. «На родине». — Написано осенью 1842 года, по возвращении в родные места Киш-Куншага, где Петёфи не был с 1838 года. Первое произведение, опубликованное под фамилией «Петёфи», а не Петрович. Стихотворение это привлекло внимание крупнейшего в ту пору венгерского поэта Михай Вёрёшмарти, который решил, что «под именем Петёфи скрывается какой-то более маститый поэт».

Стр. 100. «Хортобадьская шинкарка». — Написано осенью 1842 года, когда Петёфи совершил путешествие пешком через хортобадьскую степь. Первое стихотворение Петёфи, ставшее народной песней. Собиратель фольклора Янош Эрдеи включил «Хортобадьскую шинкарку» в сборник «Подлинных народных песен», не зная, что автор ее — Петёфи.

Стр. 102. «Зоравица». — Написано 1 ноября 1842 года в городе Папе, куда Петёфи приехал, надеясь продолжать прерванное учение. Но в Папе ему не на что было существовать, поэтому уже 2 ноября он вынужден был уехать в Фехервар и вступить там в странствующую актерскую труппу. О тяжелых условиях своей жизни он сообщает одному из своих друзей и прилагает к письму ото стихотворение. Первоначально оно называлось «Последняя ночь в Папе».

Стр. 104. «Первая роль». — В начале 1843 года Петёфи послал редактору журнала «Атэнэум» поэту Йожефу Байзе несколько стихотворений. В письме к Байзе от 14 марта 1843 года поэт писал: «Из трех стихотворений, еще не напечатанных, стихи под названием «Мои слезь» и «Весть» прошу навсегда изъять из «Атэнэума»: великая неприязнь появилась у меня против них. Не знаю, насколько хороша «Первая роль», но я был бы рад, если 6 она оказалась достойной печати: она напоминает мне о моем первом выступлении. А впрочем, во всем отдаюсь на ваш суд.» «Первая роль» была напечатана в «Атэнэуме» 15 июня 1843 года.

Стр. 104. «На пиршестве по случаю убоя свиньи». — Написано в бытность Петёфи актером Секешфехерварской труппы. В Секешфехерваре Петёфи снимал угол у мясника. Стихотворение это написано в честь пиршества по случаю убоя свиньи, на которое мясник пригласил Петёфи. Петёфи намеревался напечатать это стихотворение и продавать его театральной публике, чтобы таким образом пополнить свой кошелек. Но цензор запретил печатание стихотворения, считая его последнюю строфу совершенно

недопустимой. Петёфи пришлось переписать стихотворение от руки и таким образом распространить его.

1843

Стр. 114. «Издалёка». — В конце марта 1843 года Петёфи покинул труппу Сабо и отправился в Пешт, где повидался с поэтами Байзой и Вёрёшмарти. Из Пешта он поехал к друзьям в город Папу и в мае направился в Пожонь, надеясь поступить там в театральную труппу. Но директор труппы не принял Петёфи, и поэт вынужден был заняться перепиской «Ведомостей сейма». В это время он написал горестное письмо Байзе и послал ему несколько стихотворений для журнала «Атэнэум», в том числе и «Издалёка». Об этом стихотворении Петёфи написал следующее: «Достопочтенный господин редактор, в стихотворении «Издалёка» я последовал вашему совету написать народную песню метрическим стихом — и вряд ли достиг успеха.»

Стр. 116. «Адский пламень, чёрт рогатый...», «Хлеб созрел на ниве...», «Раз на кухню залетел я...», «Эх, ничто мне утешенья не дает...» — напечатаны 30 августа 1843 года в журнале «Атэнэум» под общим заглавием «Народные песни» и подписаны псевдонимом Пал Пёнёнгеи Киш. «Сам я Балатон как будто» — Балатон — озеро в Венгрии.

1844

Стр. 127. «Размышлении человека, страдающего от жажды». — Литературное общество «Национальный круг», решившее издать стихи Пётефи, поручило отбор произведений писателям Михаю Вёрёшмарти, Шандору Вахоту и Эде Сиглигети. В связи с этим Петёфи писал своему другу Беле Таркани «...и они, друг мой, изъяли около пятнадцати штук. Большей частью вакхические песни. Подумай, они хотели выбросить и «Размышление человека, страдающего от жажды», но этого уж я не допустил.»

Стр. 133. «Голоса Эгера». — Эгер — город в Венгрии, славящийся виноделием. В феврале 1844 года Петёфи на несколько дней заехал в Эгер к своему другу поэту Беле Таркани. Добо Иштван (1500—1572) — венгерский национальный герой. В 1552 году был капитаном Эгерской крепости и с отрядом в 2000 солдат, при поддержке населения Эгера, успешно выдержал осаду 150-тысячной турецкой армии.

Стр. 136. «Бродяжья жизнь». — Стихотворение было написано в качестве объяснении к гравюре, изготовленной по картине известного венгерского художника Миклоша Барабаша (1810—1898) «Цыганская семья». К лео фан — иначе Алфей; согласно евангельской легенле. отец юного апостола Иакова.

Стр. 138. «Неудавшийся замысел», «Побывка у своих». — Покинув сцену, Петёфи помирился с родителями и после полуторагодичной разлуки навестил их в Дунавече, где отец его был арендатором сельской корчмы. Он провел у родителей около двух месяцев, затем уехал в Пешт, где занял должность помощника редактора журнала. «Он в жизни лишь учился скотину свежевать» — намек на то, что отец Петёфи был мясником.

Стр. 145. «То правда?» — Во время пребывания в Дунавече Петёфи не мог остановиться у родителей ввиду их стесненных жилищных условий и снял комнату у одного зажиточного соседа Пала Нади. Дочь его звали Жужикой. Петёфи посвятил ей ряд стихотворений, в том числе и «То правда?», «Ночью», «Что там течет по лугу», «Жужике», «Травинкой-сиротинкой — зовут ковыль».

Стр. 150. «Жужике» — «В честь вот этой стихи сработал он» — «сработал», «сделал», «вырубил» стихи — любимые выражения Петёфи.

Стр. 155. «Моему брату Иштвану». Петёфи, Иштван (1825—1886) — младший брат поэта; в юности, как и отец, был мясником. В 1848 году стал гонведом, получил чин капитана. После поражения революции был на три года заключен в тюрьму. Писал посредственные стихи. Пиштика — ласкательная форма имени Иштван.

Стр. 161. «Алфельд». — венгерская низменность — В «Путевых письмах» Петёфи пишет: «Я хочу умереть там, где родился, в степях Алфельда, между Тисой и Дунаем. Пусть унесут мои останки далеко, далеко от шума мирского и похоронят меня в степи, где холм могильный, как бы мал он ни был, будет самой большой возвышенностью на всем этом бескрайном просторе. Я хочу успокоиться здесь, где нет ничего, кроме скромных репейников, летних миражей да перелетных птиц.»

Стр. 163. «В моей комнате». — Незадолго до создания этого стихотворения Петёфи писал Байзе: «23 числа будет мой бенефис; после величайшей борьбы удалось мне добиться, чтобы это был «Король Лир». Я играю в нем шута; получить эту роль также стоило немалых трудов, ибо слишком много козней среди актеров. Частенько говорю я со стоном: «Божественное искусство, отчего жрецами у тебя черти!»

Стр. 167. «Доброму старому Гвадани». — Гвадани, Йожеф (1725—1801) — венгерский поэт, автор известной поэмы «Поездка деревенского нотариуса в Буду». Гвадани выступил в этой поэме против онемечивания Венгрии, которое так энергично проводил император Иосиф II. Поэма Гвадани до сих пор читается с интересом: написанная сочным народным языком, она дает яркие реалистические зарисовки из народной жизни.

Петёфи, еще будучи учеником шельмецской школы, с наслаждением читал непосредственные, не подверженные никаким чужеземным влияниям стихи Гвадани. Позднее в «Путевых письмах» он писал: «Ей-богу, я дорого бы дал, чтоб быть автором «Пелешского нотариуса». Я буду премного доволен, если мои произведения доставят людям столько же славных часов, сколько мне доставил Гвадани.»

Стихотворение Петёфи написано в манере Гвадани.

Стр. 169. «Зима в Дебрецене». — В этом стихотворении Петёфи юмористически вспоминает о тяжелой зиме 1843/1844 года, которую он, больной и голодный, провел в богатом городе Дебрецене, приютившись в доме бедной вдовы Фогаш.

Стр. 173. «Михаю Томпе». — Томпа, Михай (1817—1868) — венгерский поэт. Во время национально-освободительной войны 1848—1849 годов служил священником в армии, написал ряд революционных стихотворений. Наиболее значительны его стихи, написанные им после поражения революции («К аисту», «Птица говорит птенцам»), в которых он выразил скорбь и отчаяние народа, его ненависть к чужеземным угнетателям. За стихотворение «К аисту» был заключен в тюрьму.

Стихотворение «Михаю Томпе», написанное до личного знакомства двух поэтов, явилось ответом па шутливое послание Томпы к Петёфи, помещенное в одном из журналов того времени. Чоконаи Витез, Михай (1773—1805) — выдающийся венгерский поэт-просветитель. Автор стихов, поэм, драм, трудов по эстетике. Прожил очень трудную жизнь и рано умер от чахотки, непонятый и непризнанный феодальным обществом своего времени. В этом стихотворении Петёфи намекает на любовь Чоконаи к вину и на его анакреонтические стихи.

Стр. 187. *«Флакон с чернилами».* — Медери, Карой (1798—1842) — известный венгерский комический актер. Кари — сокращенное имя Карой. Сентпетери, Жигмонд (1798—1858) — известный венгерский актер.

Стр. 188. «*К солнцу».* — Поступив помощником редактора в журнал «Пешти диватлап» («Пештский журнал мод»), Петёфи получил от владельца и редактора журнала комнатку, в кото-

рую никогда не заглядывало солнце, так как единственное окошко ее было наполовину загорожено лестницей.

Стр. 192. «Легенда». — Это стихотворение Петёфи послал в письме своему другу Элеку Дэмэку. При жизни поэта оно не могло быть напечатано по цензурным условиям, но довольно широко было распространено в списках под заглавием «Поп».

Стр. 198. «Дикий цветок». — Написано в ответ на первые нападки реакционной критики, обвинившей Петёфи в грубости и вульгарности. Здесь Петёфи впервые сформулировал свое эстетическое кредо. Стихотворение свидетельствует о том, как сознательно относился Петёфи к своему призванию «народного поэта» и с какой решительностью отмежевывался он от «тепличных цветочков» — поэтов дворянства, от правил и канонов дворянской поэзии.

Стр. 207. «Против королей». — Напечатано впервые 26 октября 1848 года. Под заглавием в скобках Петёфи приписал: «Это стихотворение было написано мной еще в 1844 году; нет нужды объяснять, почему оно до сих пор валялось в ящике моего письменного стола, и к тому же на самом его дне.» Л у и Капет — французский король Людовик XVI, был казнен в 1792 году во время французской буржуазной революции. Принадлежал к династии Капетингов.

Стр. 208. «Этельке». — Чапо, Этелька — свояченица поэта Шандора Вахота, друга Петёфи. Петёфи часто видел эту девушку в доме Вахота. После ее внезапной смерти, Петёфи посвятил ей цикл стихов «Кипарисовые ветви с могилы Этельки».

Стр. 208. «В альбом Э. Ч». — Э. Ч. — инициалы Этельки Чапо. Поэт Шандор Вахот дал следующее объяснение к этому стихотворению. Сочельник 1844 года Петёфи провел в кругу их семьи. Так как в доме у них была девушка на выданье — Этелька то Вахот, следуя народному поверью, вырезал двадцатичетырехугольную звезду, которая должна, де, напророчить, кто будет супругом девицы. На каждом уголке звезды написали фамилию кого-нибудь из знакомых холостяков. Когда уже все уголки, кроме одного, были заполнены, Петёфи выразил желание вписать и свою фамилию. Тогда-то и записал он туда эти четыре строчки. Этелька засунула звезду под подушку и когда утром захотела взглянуть на нее, звезды нигде не оказалось. Этелька и вся семья были горестно поражены этим, восприняв пропажу звезды, как дурную примету. Тогда Петёфи в утешенье записал те же строки стихов в альбом Этельки.

Стр. 213. «Расскажу я тайну». — Этим стихотворением открывается цикл стихов «Кипарисовые ветви с могилы Этельки». Кончается цикл стихотворением «Нетронутая приумолкла лира». В данном издании помещена большая часть стихов этого цикла.

Стр. 229. «Мир и я». — Написано в ответ на грубые нападки реакционных критиков, возмущенных выходом в свет ироико-комической поэмы Петёфи «Сельский молот», в которой Петёфи пародирует ложно-классический дворянский эпос.

Стр. 233. «Зимнее время». — Дрожит тарелка над цырюльней» — тарелка — цеховой знак цырюльников. Стр. 243. «Лесное жилье». — Керени, Фридеш (1822—

Стр. 243. «Лесное жилье». — Керени, Фридеш (1822—1852) — поэт, друг Петёфи, в качестве добровольца принимал участие в национально-освободительной войне 1849 года, после поражения революции эмигрировал за границу, где и умер.

Стихи были напечатаны со следующим примечанием: «В лесу Эперьеша стоит домик. Гуляя в этих краях, мы все трос условились не описывать его точно, а только нарисовать приблизительно сходный пейзаж, К. П. Т.» (Керени, Петёфи, Томпа.) Сохранились следующие любопытные строки, принадлежащие перу Томпы: «В 1845 году я служил воспитателем в Эперьеше, где проживал и Керени. Весной нас навестил Петёфи, которого до тех пор мы ни разу не видели. Можно себе представить, как мы веселились! Однажды Шандор сказал: «Ребята, напишем в память нашей встречи какое-нибудь стихотворение на одну и ту же тему.» Мы согласились, что предметом стихотворения будет «лесное жилье». Весь этот разговор произошел в комнате. При этом было твердо решено, что стихотворение будет пейзажным, описательным. Никаких рефлексий! И только я один остался верен задуманному плану.

В ту пору газеты много писали об этом. Позднее же я сам слышал от юных жителей Эперьеша и даже читал в путевых записках кое-каких проезжих, что они видели наше «лесное жилье», веселились в нем и вспоминали трех соревновавшихся поэтов! Больше того! Года три назад один мой друг по Эперьешу написал, чтобы я готовился приехать к ним, так как лачугу украшают и в ней будут устроены празднества. Вот как воображение превратило в существующее то, чего не существовало никогда. Ведь мы же никогда никакой хижины не видели — все это была фантазия. И тем не менее в горах Эперьеша до сих пор показывают воспетую нами лачугу. Я улыбался, но не возражал. Было бы подлинным варварством разрушить иллюзию, поэзию общественного мнения»

Стр. 245. «В альбом Б. А.». — Болдижар, Адорян (1820—1867), к которому обращены эти строки, был помещиком Гёмёрского комитата. Писал стихи и рассказы. В мае 1845 года Петёфи провел у него в Кишфалуде несколько дней.

Стр. 246. «Пети Лильом». — Андял, Банди — венгерский бетяр (разбойник).

Стр. 249. «Мое воображенье». — Реакционные критики постоянно упрекали Петёфи за «низменность его фантазии», то есть за его народность, за новизну и демократичность тем, за новаторство в стихосложении и прямоту в высказывании своих социальных взглядов. Например, «Хондерю», журнал реакционного дворянства, писал о Петёфи: «Муза поэта летает большей частью очень низко.» Это стихотворение является ответом Петёфи на подобные выпады критиков-современников.

Стр. 250. «Постыдный мир». — Настроение, выразившееся в этом стихотворении, объясняется все усиливавшейся травлей Петёфи реакционерами.

Стр. 252. «Девушка из местности чудесной» — первое стихотворение цикла «Жемчужины любви». Весь цикл посвящен Берте Меднянски, дочери знатного дворянина, с которой Петёфи познакомился после возвращения из путешествия по Верхней Венгрии. Петёфи бывал в гостях в Геделевском замке, где она проживала. Первые стихи «Жемчужины любви» написаны в Пеште и Геделе. Затем поэт уехал к своим родителям в Салксентмартон, дописал там весь цикл и вернулся в Пешт с намерением жениться. Но отец Берты, мечтавший о выгодной партии для своей дочери, заявил, что «ни за актера, ни за поэта» дочь свою не выдаст. Да и сама девушка не соглашалась стать женой бедного поэта. Это был серьезный удар для Петёфи. Он был воспринят им тем острее, что одновременно и реакционная критика начала против него травлю.

Стр. 277. «Старый добрый трактирицик». — После всех разочарований, пережитых в Пеште осенью 1845 года, Петёфи поехал к своему отцу, в Салксентмартон. Отец поэта — прежде мясник, разорившийся в 1838 году (дом его снес разлив Дуная, хлеб побило градом, и люди, которым он верил, обманули его), теперь был арендатором сельской корчмы.

Стр. 280. «Одному критику». — Asinus ad lyram — осел от поэзии (nam).

Стр. 282. «Последний человек». — Это стихотворение порождено тем же тяжелым душевным состоянием, что и следующий дальше цикл «Тучи». Однако «Последний человек» и ряд других произведений подобного мрачно-романтического звучания не вошли

в цикл «Тучи». Петёфи собирался объединить их в другой цикл под названием «Беззвездные ночи». Об этом свидетельствует следующее объяснение в журнале «Пешти диватлап». «Петёфи издает сборник стихов под названием «Беззвездные ночи». Сколько можно судить по отрывкам, что нам удалось прослушать, этот сборник займет достойное место рядом с его книгами «Жемчужины любви» и «Тучи». Однако этот сборник стихов так и не был выпущен.

Стр. 287. «Перед розыгрышем». — Тот, Гашпар — ремесленник. В 1844 году на заседании клуба литературного общества «Национальный круг», где Вёрёшмарти поставил вопрос об издании стихов молодого поэта Шандора Петёфи и об оказании ему денежной помощи, первым из всех присутствующих откликнулся па призыв Вёрёшмарти Гашпар Тот. Петёфи был преисполнен к нему чувством глубокой благодарности.

Стр. 289. «Одному молодому писателю». — Стихотворение обращено к будущему известному романисту Мору Йокаи, с которым у Петёфи завязалась тесная дружба еще в годы их учения в Папе. В сентябре 1845 года в журнале «Элеткепек» («Картины жизни») Йокаи опубликовал свой рассказ «Остров». Стихотворение Петёфи является ответом на опубликование этого рассказа.

Стр. 293. «В *альбом К. Ш.»*. — Написано осенью 845 года. К. Ш. — Карой Шаш, младший брат Иштвана Шаша; с ним Петёфи был тоже дружен.

Стр. 293. «В альбом Ж. Ш.». — Написано осенью 1845 года, когда Петёфи гостил в Борьяде у родных своего друга детства доктора Иштвана Шаша, который оставил впоследствии воспоминания о Петёфи. Стихотворение обращено к Жофи, сестре Иштвана Шаша. Упоминание о пчелах связано с тем, что Петёфи жил в низенькой комнатке возле пчельника.

Стр. 293. *«Мажара с четверкой волов».* — Написано осенью 1845 года во время пребывания в Борьяде. Эржикэ — сестра Иштвана Шаша.

Стр. 299. «Перемена». — С этим стихотворением связано знаменательное событие в жизни Петёфи — его окончательный разрыв с владельцем журнала «Пешти диватлап» («Пештский журнал мод») — Имре Вахотом.

В 1846 году Петёфи основал первую организацию передовых венгерских писателей — «Товарищество десяти». В нее вошли десять молодых писателей. Товарищество это решило учредить свой журнал и обязало своих членов целый год не печататься нигде, кроме как в этом журнале. Так как речь шла о популяр-

ных писателях, и в первую очередь о Петёфи, то подобное решение задело редакторов других журналов. Они увидели в этом угрозу своим доходам. Однако Имре Вахот быстро нашелся и уже после решения товарищества напечатал в своем журнале стихотворение «Перемена», которое давно лежало у него в редакторском портфеле. В связи с этим Петёфи писал Яношу Араню: «Товарищество десяти» возникло первого июля прошлого года, И сразу же — в первом июльском номере «Пешти диватлап» я увидел свое стихотворение (вместе со стихами остальных членов «Товарищества десяти»). Я сказал Вахоту, что выступлю против него публично. Он же ответил, что если я всерьез посмею выступить, то он меня уничтожит («посмею»... «уничтожит»... Слышал ты что-либо подобное?). Я написал статью и в ней просто доказал, что Вахот напечатал украденное у меня стихотворение. Он прочел мою статью и швырнул ее обратно, заявив, что не станет ее печатать. С глазу на глаз он назвал меня подлецом. На это я не мог уже ответить не чем иным, как острием клинка или пулей. Я послал к нему секундантов, но после полутора суток оттяжки Вахот, наконец, заявил решительно, что ни под каким видом драться не станет. Напоследок я ему сказал: «Ну, оказывается, ты такой же трус, как и мерзавец.»

Стр. 302. «Лехел». — Образ Лехела, одного из вождей венгерских племен в X веке, занимал Петёфи с детства. Уже среди отроческих произведений поэта находим мы два стихотворения о Лехеле. В 1848 году Петёфи начал писать поэму о своем любимом историческом герое, но поэма эта так и осталась неоконченной.

В данном стихотворении Петёфи воспользовался исторической легендой и только несколько видоизменил ее. Согласно хроникам Марка Калти и Туроци, Лехел попросил императора Конрада только об одной милости, чтобы тот дал ему еще раз протрубить в свой рог. Лехел поднес к губам свой рог, а затем внезапно убил им императора. «Ступай ты прежде моего на тот свет, — сказал он, — ты там будешь моим слугой.» Толди — легендарный герой Венгрии. Конт — Иштван Конт Хедерварский вождь восстания против короля Жигмонда (1387—1437). Яссы и куны (половцы — тюркоязычные племена, переселившиеся в XIII веке на территорию Венгрии. Ясберень — городок в Венгрии).

Стр. 306. «Мору Йокаи». — Петёфи в эту пору еще горячо любил своего друга писателя Мора Йокаи, с которым впоследствии так резко разошелся из-за его политически беспринципного поведения в годы революции. Многие из друзей Петёфи обиделись

на него за это стихотворение. В ответ на упреки одного из них — Ауреля Кечкемети — Петёфи писал: «Меня несколько раз досадовало твое письмо. Ты несправедлив! Никто из моих друзей не вправе предъявлять ко мне претензии за то, что я написал о Йокаи. То, что я чувствую в отношении Йокаи, это, по правде сказать, даже не дружба и не братская любовь, а может быть смешение того и другого... Это нечто неописуемое! И бесспорно, что такого чувства я не испытывал ни к кому, кроме него. Но из этого не следует, что я не люблю других...»

Стр. 310. «К дюльдейским юношам». — Дюльде — общество молодежи, учрежденное в 1845 году реакционными, преимущественно клерикальными, кругами, в противовес обществам и клубам, объединявшим радикально и революционно настроенную молодежь.

Стр. 315. «Встреча в пуште» — В этом стихотворении Петёфи воспользовался чрезвычайно популярным в то время в венгерской литературе мотивом о благородном разбойнике, бетяре.

1846

Стр. 318. «Сумасшедший». — «Сумасшедший», как и стихи «Я сплю...», «Мои сны», и «Зимние ночи», относится к тому периоду творчества, когда Петёфи написал цикл стихов «Тучи» и поэмы «Проклятие любви», «Волшебный сон», «Пишта Силай», «Шалго» (см. предисловие).

Стр. 322. «На смерть Петера Вайды». — Вайда, Петер (1808—1846) — венгерский писатель. Выходец из семьи крепостного крестьянина, Петер Вайда выступал в своих вольнолюбивых произведениях против тирании в защиту угнетенного крестьянства. Он предвидел наступление революции, которая сокрушит феодальную Венгрию. Для произведений Вайды характерен романтический культ природы. Между Петёфи и Петером Вайдой личной дружбы не было, но их связывала общность взглядов.

Стр. 356. «Анталу Варади». — Варади, Антал (1819—1885) — адвокат, помещик, друг Петёфи. Варади познакомился с Петёфи в 1843 году, в тот период, когда Петёфи занимался переводами иностранных романов. В 1844 году, когда «Национальный круг» принял решение об издании первого сборника стихов Петёфи, Варади, как секретарь «Круга» принял в издании горячее участие. К этому времени и относится его сближение с Петёфи.

Стихотворение это не было напечатано при жизни Петёфи, оно увидело свет только в 1870 году.

Стр. 367. «В Надъкарое». — Кёльчеи, Ференц (1796—1838) — выдающийся венгерский поэт, критик, оратор, прогрессивный политический деятель, автор гимна Венгрии. Начиная с 1829 года, принимал участие в общественной жизни Сатмарского комитата. В своих речах он призывал к уничтожению крепостного права, чем вызвал ненависть к себе реакционных помещиков и общественных леятелей комитата.

До 6 сентября Петёфи гостил в Сатмаре у своего друга поэта Эндре Папа, отсюда поехал вместе с ним навестить общего друга поэта Игнаца Ришко. В Надькарое в это время состоялись выборы комитатского главы, на которых присутствовал и Петёфи. В связи с этим событием и написано стихотворение «В Надькарое». Плоты — одна из бесправных групп земледельческого населения древней Спарты; илоты считались собственностью государства и по своему положению почти не отличались от рабов. В переносном смысле — люди, безропотно переносящие бесправие.

В мае 1847 года в своих «Путевых письмах» Петёфи писал: «На-днях я направляюсь в Сатмар, где меня ожидают распростертые объятия и, быть может, несколько палок со свинцовыми набалдашниками. Я слышал, что господа гневаются из-за моего стихотворения «В Надькарое». Мне очень жаль, и вместе с тем я несказанно рад, ведь я стремился именно к тому, чтобы пнуть их в бок как следует, как они того заслуживают. Признаюсь, еще больше хотелось бы мне дать им по башке, — но пустые бочки гремят, а у меня не было охоты подымать большого трезвона.»

Стр. 379. «В альбом барышне Ю. С.». — Посвящено, как и все последующие любовные стихи, Юлии Сендреи.

Стр. 389. «Графу Шандору Телеки». — Телеки, Шандор граф (1821—1892) — писатель. В 1848—1849 годах был полковником революционной армии, состоял при генерале Беме. После поражения революции Телеки уехал во Францию. В 1860—1861 годах принимал участие в восстании Гарибальди; в 1867 году вернулся на родину и выпустил книгу «Воспоминания». Телеки был близким другом Петёфи; в 1847 году он предоставил ему свой замок Колто, где поэт провел первый месяц после своей женитьбы. Телеки сопровождал Ференца Листа в сороковых годах во время его поездки в Россию.

Стр. 391. *«В альбом супруге Яноша Ковача».* — Посвящено второй дочери профессора Эрдеи, Луизе, которая была женой некоего Яноша Ковача.

Стр. 391. «В альбом барышне Р. Э.». — В начале ноября Петёфи поехал в Дебрецен, где остановился у своего друга Даниэля Эмёди (1819—1891), литератора и впоследствии политического деятеля революции 48-го года, который в эту пору служил воспитателем в доме профессора Йожефа Эрдеи. Поэт провел в гостях полторы недели и перед отъездом в благодарность за гостеприимство вписал это стихотворение в альбом дочери профессора, Розы Эрдеи.

Стр. 398. «Одно меня тревожит...» — Одно из самых известных революционных стихотворений Петёфи. Впервые было напечатано в марте 1847 года в журнале «Хазанк» («Наша родина»), выходившем в г. Дёре под редакцией Пала Ковача. В этом журнале печатались все молодые передовые писатели Венгрии. Опубликованию этого стихотворения предшествовало очень характерное для Петёфи столкновение с редактором журнала. Петёфи прислал в журнал несколько стихотворений, в том числе и «Одно меня тревожит...», и по своему обыкновению указал, в каком порядке их печатать. Но, ввиду того, что цензор запретил печатать это стихотворение, Ковач поместил вместо него стихотворение «Кутякапаро.» Петёфи, ничего не зная о запрещении цензора, послал Ковачу следующее письмо:

«Милый мой Пали! С величайшим удивлением заметил я, что в «Хазанк» помещено сейчас «Кутякапаро», несмотря на то, что я пронумеровал стихи и просил их печатать в обозначенном порядке. Признаюсь, что к этому я не привык. Сейчас я готов простить такой редакторский произвол: но на будущее должен заявить со всей решительностью, что если вы станете таким образом поступать с моими произведениями, я буду вынужден сам исключить себя из числа сотрудников «Хазанк». Вопервых, потому, что я устанавливаю порядок печатания не произвольно, не для собственного удовольствия и из ребячества, а во-вторых, и главным образом, потому что я смертельный, страшный враг всякого произвола, всего того, что носит даже малейший оттенок деспотизма.»

1847

Стр. 401. «Кумякапаро». — В «Путевых письмах» Петёфи пишет о венгерских корчмарях: «Удивительные люди — венгерские корчмари, мой друг. От них только за плату можно добиться слова, а есть даже такие, из которых и платой ничего не выжмешь. Что бы вы у него ни попросили, на все он отвечает: нет.

Или скажет, что, мол, не станет ради этого разводить огонь. Так было со мной в двух деревнях Бихара, в Окане и Кишладане. Я почти не ел: давали мне, что хотели, а не то, что я просил, и притом — словно из милости. Но я не сердился; напротив, мне было приятно, очень приятно, — ведь даже это говорило о том, что венгерец за стыд почитает прислуживать, что он не рожден для рабства, чёрт побери!»

Стр. 411. «Этельке Эгреши». — Эгреши, Этелька — дочь известного венгерского трагического актера Габора Эгреши (1808—1866), который первым поставил антигабсбургскую пьесу Йожефа Катоны «Бан Банк». В 1848—1849 годах Эгреши принимал активное участие в революции, служил в революционной армии и после поражения ее скрывался в Турции. Петёфи восхищался игрой Эгреши и был с ним в дружеских отношениях. Стихотворение не было напечатано при жизни Петёфи. На оборотной стороне рукописи стоят следующие любопытные строки, написанные Габором Эгреши: «В начале 1847 года Шандор Петёфи принес это стихотворение в рукописи и задал вопрос: «Разрешаю ли я его напечатать?» — Я попросил предоставить право печатания стихотворения мне. И он подарил мне это право. В 1850 году по возвращении из Турции я неожиданно обнаружил в своей библиотеке эту достойную рукопись, о которой уже совсем было забыл. В то мгновение мне показалось, будто я встретился с духом Шандора, который перекочевал в лучший мир. 18 декабря 1851 года в день именин моей дочери Этельки я подарил ей это стихотворение.»

Стр. 412. «Святая могила». — Посвящено Ференцу II Ракоци, вождю национально-освободительного восстания 1703—1711 годов. После поражения восстания Ракоци эмигрировал и скончался в Турции. К образу Ракоци Петёфи возвращался в стихах — «В Майтеньской степи», «Ракоци» и в своих дневниках и письмах. Одно письмо Петёфи к Яношу Араню свидетельствует о том, что Петёфи думал написать поэму о Ракоци, но замысел этот остался неосуществленным.

Стр. 415. «Яношу Араню». — Арань, Янош (1817—1882) — выдающийся венгерский поэт, автор замечательных произведений венгерской эпической поэзии. В 1847 году вышла первая часть его трилогии «Толди». Петёфи принял поэму очень горячо и откликнулся на нее стихотворением «Яношу Араню» и письмом (см. III том настоящего издания). С этого началась дружба двух поэтов, и продолжалась она, ничем не омраченная, до самой гибели Петёфи.

Стр. 420. «*Tuca*». — Написано в качестве объяснения к одной гравюре по дереву. В своих произведениях Петёфи не раз обра-

щался к реке Тисе. «Я так люблю эту реку, — писал он в «Путевых письмах», — и, может быть, именно потому, что она венгерская с ног до головы: родится на нашей родине и на нашей родине и умирает; кочует же она по Алфельду, по моему милому Алфельду.»

Стр. 429. «От имени народа». — Прочитано Петёфи на собрании «Оппозиционного круга» 17 марта 1847 года. Но цензура не разрешила печатать это стихотворение, и оно увидело свет только после смерти поэта. Дожа, Дёрдь (1474—1514) — вождь венгерского крестьянского восстания 1514 года. После поражения восстания его сожгли на раскаленном троне, а сподвижников заставили есть куски его тела. «Геройство ваше, дёрские событья забыл.» — Петёфи намекает на позорное бегство венгерского дворянского ополчения от наполеоновских войск в 1809 году возле города Дёра.

Стр. 446. «Суд». — Принадлежит к произведениям Петёфи, которые свидетельствуют о том, как остро предчувствовал поэт наступление революции. В «Страницах дневника» Петёфи писал 17 марта 1848 года: «Я ждал грядущего. Я ждал этого мгновения, я не только надеялся, но твердо верил, что оно придет. Свидетели тому стихи, которые я пишу уже больше года. Не умствования, а то пророческое вдохновение, — или, если хотите, животный инстинкт, которым богат поэт, — дало мне возможность ясно понять, что Европа с каждым днем приближается к прекрасному насильственному потрясению... И я пребывал в том же состоянии, в каком бывают звери перед землетрясением или затмением солнца.»

Стр. 447. «Первая клятва». — С 1835 по 1838 год Петёфи учился в городе Асоде. Здесь и произошло событие, описанное в стихотворении. В «Путевых записках» эту неудавшуюся попытку стать актером Петёфи описывает в более юмористических тонах: «Наш учитель (благослови его господь!) счел нужным написать о моих чрезвычайно серьезных помыслах мужу, обладавшему весьма непохвальным свойством чертовски ненавидеть актерское искусство. Этим мужем, обладавшим столь редкостным свойством, был мой отец. И он, — как и надлежит добропорядочному отцу, — услышав сию грозную весть, не медля ни секунды, кинулся спасать сына, гибнущего в адском водовороте. И меня на самом деле свели с кощунственного пути отцовские советы, которые были заметны еще неделю спустя... на спине и других частях бренной оболочки моей души.»

Стр. 450. «В альбом А. Ф.». — А. Ф. — Адольф Франкенбург, редактор прогрессивного журнала «Элеткенек» («Картины жизни»), в котором в то время Петёфи сотрудничал.

Стр. 452. «Зельд Марци». — 3 ельд Марци — алфельдский бетяр (разбойник).

Стр. 456. «Эрдед 17 мая 1847 года», «Лишь ты одна...» — оба стихотворения относится к середине мая 1847 года, когда Петёфи, после годичного перерыва, вновь приехал к отцу своей любимой, Игнацу Сендреи, просить руки дочери и Сендреи в грубой форме отказал ему.

Стр. 459. «В руднике». — В «Путевых письмах» Петёфи следующим образом описывает свои впечатления от посещения шахты: «...Нет тяжелее жизни шахтеров. Роются, роются эти бледные кроты, не видя солнечного света, не видя природы, — и так до самой смерти. А для чего? Чтобы дети и жены их жили впроголодь, прозябали, чтобы роскошествовали другие, не их жены и лети »

Стр. 461. «Наконец назвать моею...». — Петёфи так описывает в «Путевых письмах» от 26 мая день, когда он получил согласие на брак с Юлией: «Друг мой, вчера, а может быть столетие назад, написал я тебе письмо из Надьбани. За этот день со мной свершилась такая перемена, какой, я полагаю, не может произойти за целое столетие... Я счастлив! Навеки Достойная, достойная девушка! Ей предстояло выбрать между родителями и мной. Она избрала меня.»

Стр. 462. «В Майтеньской степи». — 7 июня 1847 года Петёфи писал в своих «Путевых письмах»: «Между Сатмаром и Кароем лежит маленькая деревушка Майтень. Но окрестности ее знамениты. Здесь произошло последнее сражение Ракоци. На былом поле битвы я написал стихотворение; конец его звучит так: «Слезу я уронил и клятву страшную сурово произнес». Так оно и было. Я проклинал и плакал.» «О вольность-сирота! Из честных рук твоих изменой выбили оружье подлецы.» — На Майтеньском поле сложил оружие предатель Шандор Карои, получивший впоследствии за это от Габсбургов титул графа и часть имений Ракоци. Потомок Шандора Карои, граф Лайош Карои, был самым богатым и влиятельным магнатом Сатмарского комитата, куда приехал в это время Петёфи.

Стр. 463. «Лаци Араню». — В 1847 году летом Петёфи провел десять дней в семье своего лучшего друга, поэта Яноша Араня. «Он написал у меня несколько стихотворений, — рассказывал позднее Арань, — нарисовал меня (плохо) и искалеченную башню, которую он прославил и в стихах. Здесь создал он и «Тетю Шари». Это стихотворение об одной старухе, которая после пожара осталась без крова и ютилась у меня в сарае, покуда не

нашла себе лучшего обиталища. Тогда же и посвятил он стихотворение моему сыну Лаци, которому в ту пору было три года и которого Петёфи очень любил. Дети тоже очень любили Петёфи... он ведь, если хотел, умел быть очень милым.»

В письме от 25 августа 1847 года Янош Арань писал Петёфи: «Лаци знает твое стихотворение, посвященное ему, наизусть и гордится им чрезвычайно. Кто бы ни заходил к нам в дом, знакомые или чужие, — он первым делом разыскивает бумажку и начинает показывать стихотворение, хвалясь, что это прислал дядя Петёфи и что он привезет ему еще и лошадку.» Позднее Ласло Арань стал также поэтом, однако приобрел известность главным образом как собиратель венгерских народных песен и сказок

Стр. 467. «Тетя Шари». — См. примечание к «Лаци Араню». Стр. 469. «Искалеченная башня». — Крепость Салонты, от кото¬рой сохранилась только воспетая Петёфи «искалеченная» башня, выстроенная примерно в 1620 году и разрушенная турками в 1658 году.

Стр. 476. «Путешествие по Алфельду». — Об этом путешествии Петёфи пишет в «Путевых письмах»: «За четыре дня поездки по Алфельду меня так растрясло, будто я совершил кругосветное путешествие... Дело в том, что мою поездку предварил десятидневный дождь, да к тому же он еще два дня хлестал меня по дороге... Телега моя была защищена навесом, но на камни налипло столько грязи, что каждые сто шагов мы были вынуждены останавливаться и сковыривать железными вилами прилипшее к колесам черное масло...»

Стр. 480. «Эй, что за гвалт?» — Написано в связи с очередными выпадами реакционного журнала «Хондерю» против Петёфи.

Стр. 486. «У Михая Томпы». — 1 июля 1847 года Петёфи выехал из Пешта и 3 июля прибыл в Бею к Томпе. «Петёфи, — писал Томпа одному из своих друзей, — прожил у меня пять дней, потом поехал в Сатмар к «своей Юлишке», как он называет ее; и если наш план не рухнет, то 22 августа быть может я буду венчать счастливую чету.» План этот не осуществился.

Стр. 400. «В Мункачской крепости». — Мункачская крепость принадлежала некогда Илоне Зрини (1643—1703), матери Ференца II Ракоци, которая три года героически выдерживала в ней осаду императорских войск. Эта крепость — символ свободы — была превращена императором Иосифом II в государственную тюрьму. Казинци находился в заключении в Мункачской крепости с августа 1800 по июнь 1801 года. В «Путевых письмах» Петёфи так описывает свое посещение Мункачской кре-

пости: «...поздним утром я выехал из Унгвара и пополудни приехал в Мункач. Покуда мой возница приводил в порядок лошадей, я наскоро пообедал и поспешил навестить замок, превращенный в государственную тюрьму. Замок расположен посреди равнины, на высоком холме, в пятнадцати минутах ходьбы от города. На склоне этого холма выращивают виноград... Не хотелось бы мне пить вино из этого винограда... Мне все время казалось бы, что я пью слезы узников... Бог его знает почему, но среди этих стен у меня так сжалось сердце, что я едва дышал. Чувства свои я описал в стихотворении.»

Стр. 502. «Пятое августа». — В этот день состоялось в 1847 году обручение Петёфи с Юлией Сендреи.

Стр. 504. «Письмо Яношу Араню». — Послание это Петёфи отправил Араню на следующий день после обручения. Арань откликнулся на него стихотворением, приложенным к письму. В письме оп писал: «Что же касается кумушки, то она просила ничего тебе не передавать. Она совершенно отчаялась увидеть тебя еще когда-либо. Лаци, правда, все время утешает ее, говорит: «Дядя Петёфи приедет. Он обещал мне лошадку и привезет ее.» Но мать не верит, говорит, что она уже не дитя. Тебе посылает привет искалеченная башня. Она спрашивает, когда ей представится счастье повидать тебя. И если бы ей кто-нибудь сказал, что этого не дождаться, она, верно, тут же рухнула бы от огорчения. Розы в саду завяли сразу же после твоего отъезда, но они к будущей троице вновь расцветут. И аист улетел, но и он попрощался не навеки.» «Достопочтенная кумуш ка.» — Петёфи называл кумушкой жену Яноша Араня. Лаци и Юлиш — дети Араня.

Стр. 508. «Поэзия». — В 1847 году в предисловии к «Полному собранию сочинений» Петёфи писал: «Если я в некоторых случаях и по некоторым поводам выражаюсь свободнее других, то делаю это потому, что считаю поэзию не аристократическим салоном, куда являются только напомаженными и в блестящих сапогах, а считаю, что поэзия — это храм, в который можно войти в лаптях и даже босиком.»

Стр. 520. «Барышне Б. О.» — Стихотворение посвящено Берте Очвари, дочери некоего Михая Очвари, дом которого в Сатмаре посещал Петёфи.

Стр. 546. «Габору Казинци». — Казинци, Габор (1818—1864) — литератор, политический деятель. В 1848 году был депутатом Сословного собрания, одним из руководителей сторонников умеренных реформ.

Стр. 570. «Только я в свое окошко погляжу...». — X а л т б е р - да — искаженное немецкое «Halt, wer da?» («Стой, кто здесь?»).

Стр. 582. «Окатоотайя» — сатирическое стихотворение, в котором под страной Окатоотайя подразумевается Венгрия, а под Австралией — Австрия. При жизни Петёфи не было опубликовано.

Стр. 585. «К венгерским политикам». — В «Страницах из дневника» Петёфи писал о политической жизни Венгрии и о людях, участвовавших в ней перед революцией 1848 года: «Нашу политическую жизнь я либо созерцал издалека, либо вовсе не уделял ей внимания, поэтому одни обвиняли меня в односторонности, другие — в преступном равнодушии.

Близорукие! Я знал то, чего не ведали они, — вот почему я жалел этих голосистых крикунов, героев однодневной политики, и улыбался, видя, какую важность они напускают на себя; я знал, что их блестящие деяния и блестящие речи — не что иное, как письмена на песке, которые будут сметены первыми дуновениями приближающегося вихря.»

Стр. 591. «На железной дороге». — Этим стихотворением Петёфи приветствовал открывшуюся новую Пешт-Солнокскую железную дорогу, по которой он совершил поездку. Незадолго до этого Петёфи писал в «Путевых письмах» о ранее открывшейся Пешт-Вацской железной дороге: «На этом поезде передвигаешься с поразительной скоростью. Мне хотелось бы посадить на поезд всю нашу венгерскую отчизну, тогда, быть может, за несколько лет она наверстала бы то, что упустила за несколько столетий»

СОДЕРЖАНИЕ

Шандор Петёфи. Антал Гидаш	7
СТИХОТВОРЕНИЯ 1842—1847	
1842	
На родине. Перев. Б. Пастернака)0)1)2)2
1843	
В Павлов день. Перев. М. Замаховской 10 Волчье приключение. Перев. Л. Мартынова 10 Крик петуший Перев. В. Левика 10 Украденный конь. Перев. Н. Тихонова 10 Вода и вино. Перев. Л. Мартынова 10 Клин клином Перев. С. Маршака 11 Моя невеста. Перев. Л. Мартынова 11 Издалёка. Перев. Л. Мартынова 11 Адский пламень, чёрт рогатый Перев. Л. Мартынова 11 Хлеб созрел на ниве Перев. М. Замаховской 11)6)7)8)9 1 13 14
40*	9

Раз на кухню залетел я Перев. В. Левина	117 118 119 121 122 122 124
1844	
Голоса Эгера. Перев. Л. Мартынова Слабость и в душе моей Перев. М. Замаховской Бродяжья жизнь. Перев. Л. Мартынова Неудавшийся замысел. Перев. Н. Чуковского Побывка у своих. Перев. Б. Пастернака Страшное разочарование. Перев. Л. Мартынова То не в море — в небе месяц плыл Перев. Н. Чуковского Зарилась шинкарка на бетяра Перев. Л. Мартынова Одиночество. Перев. И. Миримского После обеда. Перев. В. Левика То правда? Перев. В. Левика То правда? Перев. Н. Чуковского Мои экономические взгляды. Перев. Л. Мартынова Нечто вроде лебединой песни. Перев. Л. Мартынова Моя могила. Перев. Л. Мартынова Ночью. Перев. В. Левика Жужике. Перев. В. Левика Жужике. Перев. И. Мартынова На воде. Перев. Н. Чуковского Вдоль по улице хожу я Перев. М. Исаковского	125 126 127 128 131 131 132 133 135 136 138 141 142 142 143 144 145 146 147 149 150 151 152 153 153
Травинкой-сиротинкой зовут ковыль Перев. Л. Мартынова	154

Что катится по лугу? Перев. М. Замаховской	154
Моему брату Иштвану. Перев. В. Левика	155
Прощание с актерской жизнью. Перев. В. Левика	156
Бродяга. Перев. В. Левика	158
В степи родился я Перев. Л. Мартынова	159
На осле сидит пастух Перев. Н. Тихонова	159
Первая любовь. Перев. Л. Мартынова	160
Алфельд. Перев. Б. Пастернака	161
В моей комнате. Перев. Л. Мартынова	163
Вечер. Перев. Б. Пастернака	165
Доброму старому Гвадани. Перев. Л. Мартынова	167
Подражателям. Перев. А. Ромма	168
Жизнь и смерть. Перев. С. Маршака	169
Зима в Дебрецене. Перев. Л. Мартынова	169
Много с веточки мы вишен рвем Перев. Л. Мартынова	170
Моим родителям. Перев. М. Исаковского	171
Михаю Томпе. Перев. Л. Мартынова	173
Мои ночи. Перев. Л. Мартынова	175
	176
Лукавый пьяница. Перев. В. Левика	176
Бережливость. Перев. Л. Мартынова	177
Когда болят мои глаза. Перев. Л. Мартынова	177
Ах, если б не носил я шапку Перев. В. Левика	178
Странники любви. Перев. Л. Мартынова	179
Я не знаю, что со мною Перев. Л. Мартынова	179
Если девушки не любят Перев. В. Левика	180
После попойки. Перев. С. Маршака	181
Мои стихи. Перев. В. Левика	182
Актерская песня. Перев. Л. Мартынова	182
Письмо приятелю актеру. Перев. Л. Мартынова	184
Флакон с чернилами. Перев. Л. Мартынова	187
К солнцу. Перев. Л. Мартынова	188
Семейная жизнь солнца. Перев. Л. Мартынова	189
Девушкам. Перев. В. Левика	190
Легенда. Перев. Л. Мартынова	192
Уж лучше Перев. Л. Мартынова	193
Чоконаи. Перев. Н. Чуковского	194
Моя любовь. Перев. Б. Пастернака	196
Бушующее море Перев. Б. Пастернака	196
Венгерцам за границей. Перев. Л. Мартынова	197
Дикий цветок. Перев. Л. Мартынова	198
Дядюшка Пал. Перев. С. Маршака	199
Лейся, лейся Перев. Л. Мартынова	201

Хозяин Янош. Перев. М. Исаковского Старый господни. Перев. В. Левика Радостная ночь. Перев. Л. Мартынова Что говорит мудрец? Перев. Л. Мартынова Солдат отставной я Перев. Л. Мартынова Пьянство во благо родины. Перев. Л. Мартынова Лира и палаш. Перев. Л. Мартынова Против королей. Перев. Л. Мартынова Этельке. Перев. Н. Чуковского В альбом Э. Ч. Перев. Н. Чуковского Прощанье с 1844 годом. Перев. С. Маршака	201 202 203 204 205 205 206 207 208 208 209
1845	
Два брата. Перев. В. Левика	212
Кипарисовые ветви с могилы Этельки Расскажу я тайну Перев. Н. Чуковского Для тебя Перев. Н. Чуковского Куда исчезла ты? Перев. Н. Чуковского Хватит! Опускайте крышку гроба! Перев. Н. Чуковского Пенье колокола Перев. Н. Чуковского Придти не можешь наяву Перев. Н. Чуковского Цветком моей жизни была ты Перев. В. Звягинцевой Сверкает наверху звезда Перев. Н. Чуковского Да, это я здесь Перев. Н. Чуковского Тоты издеваешься, природа! Перев. Н. Чуковского Луна, зачем Перев. Н. Чуковского Где ты, веселье — мальчик? Перев. Н. Чуковского Падают с небес на землю звезды Перев. М. Замаховской Ну, что в том странного? Перев. Н. Чуковского Жизнь моя и милая моя Перев. Н. Чуковского Я над ее могилой? Перев. Н. Чуковского Как часто лгут Перев. Н. Чуковского Приходи, весна Перев. Н. Чуковского Приходи, весна Перев. Н. Чуковского Приходи, весна Перев. Н. Чуковского Слянь, целует крепко Перев. Н. Чуковского	213 215 215 216 217 219 219 220 221 222 223 224 224 225 225 226 227
ского О, если бы не так в нее, в живую Перев. Н. Чуковского Нетронутая приумолкла лира Перев. Н. Чуковского Мир и я. Перев. Л. Мартынова	227 228 228 229

Быть или не быть поэтом? Перев. Л. Мартынова · · · · · · · · ·	
Сдерживая слезы. Перев. Н. Чуковского	232
Слава. Перев. Л. Мартынова	232
Зимнее время. Перев. В. Левика	
Вот уж полдень быот на колокольне Перев. Н. Чуков-	
ского	234
Вихри, молнии и птицы Перев. Л. Мартынова	235
Виноградника ограда Перев. Л. Мартынова	
Разлилася речка Перев. М. Замаховской	236
Пешт. Перев. В. Левика	237
Орбан. Перев. Л. Мартынова	238
	238
Солнце. Перев. Л. Мартынова	239
Во время пирушки. Перев. В. Левика	239
О моих плохих стихах. Перев. Л. Мартынова	240
Весна. Перев. В. Звягинцевой	241
На волю! Перев. Л. Мартынова	241
Венгрия. Перев. Л. Мартынова	242
Лесное жилье. Перев. Б. Пастернака	243
В Алфельде шинков немало есть Перев. Л. Мартынова	244
	245
Ой ты, конь Перев. Л. Мартынова	245
В альбом Б. А. Перев. Л. Мартынова	246
Тоска любви. Перев. Н. Чуковского	246
Пети Лильом. Перев. Л. Мартынова	247
Лунная ночь. Перев. С. Маршака	249
Черный хлеб. Перев. С. Обрадовича	249
Мое воображенье. Перев. Л. Мартынова	250
Постыдный мир! Перев. Л. Мартынова	250
Жемчужины любви	
Девушка из местности чудесной Перев. Н. Чуковского	252
В душе моей. Перев. Л. Мартынова	253
Ночь сейчас Перев. Л. Мартынова	254
Уходите, все друзья былые Перев. В. Левика	255
Ты, взглянув из своего окошка Перев. Н. Чуковского	255
Воскресенье это не забуду Перев. Н. Чуковского	256
Милый доктор. Перев. Л. Мартынова	257
Грудь моя Перев. Л. Мартынова Нечего судить по первой встрече Перев. Л. Мартынова	258
Нечего судить по первои встрече Перев. Л. Мартынова	258
Даже лучшие, чем я Перев. Н. Чуковского В сто образов я облекаю любовь Перев. Н. Тихонова	259
В сто образов я облекаю любовь Перев. Н. Тихонова	260
Это правда, я ленился в школе Перев. В. Левика	261
Часто ты во сне Перев. Н. Чуковского	261
Флаг любви. Перев. Л. Мартынова Домик мой Перев. Н. Чуковского	262
Домик мой Перев. Н. Чуковского	263

Девочка, не с одного ли взгляда? Перев. Л. Мартынова •	264
От мира вдалеке Перев. Н. Чуковского	265
С той поры, как в милую влюбился Перев. В. Левика	265
Если ты цветок Перев. Б. Пастернака	266
Осенним утром. Перев. В. Левика	267
Война приснилась как-то ночью мне Перев. Н. Тихонова	267
Вся жизнь моя сейчас Перев. Н. Чуковского	268
Над осенним опустевшим полем Перев. В. Левика	269
Если бы Перев. Л. Мартынова	270
Смолкла грозовая арфа бури Перев. Б. Пастернака	271
Мой портрет. Перев. Л. Мартынова	272
Ты ответь Перев. Л. Мартынова	273
Думал я Перев. Л. Мартынова	274
Странный сон. Перев. М. Замаховской	275
В деревне. Перев. Б. Пастернака	275
Старый добрый трактирщик. Перев. Б. Пастернака	277
Моя молитва. Перев. В. Левика	278
Уж краснотой подернут лист Перев. Н. Тихонова	279
Тучи и звезды. Перев. Н. Чуковского	280
Одному критику. Перев. Л. Мартынову	281
Последний человек. Перев. Л. Мартынова	282
Неверным друзьям. Перев. Л. Мартынова	284
Поэта сердце — сад цветущий Перев. Н. Чуковского	284
Юность. Перев. Л. Мартынова	285
Скорбь и ликованье. Перев. Л. Мартынова	286
Перед розыгрышем. Перев. Л. Мартынова	287
Я и солнце. Перев. Л. Мартынова	288
Конец разбоя. Перев. Л. Мартынова	289
Одному молодому писателю. Перев. Л. Мартынова	289 291
Торг. Перев. М. Исаковского	291
Ах, что за милый у меня! Перев. Л. Мартынова	291
В альбом К. Ш. Перев. Л. Мартынова	293
В альбом Ж. Ш. Перев. Н. Чуковского	293
Мажара с четверкой волов. Перев. Н. Тихонова	295
Венгерский дворянин. Перев. Л. Мартынова	296
Поэт и виноградная лоза. Перев. Л. Мартынова	297
Развалины корчмы. Перев. Б. Пастернака	299
Перемена. Перев. Н. Чуковского	301
На горе сижу я Перев. Б. Пастернака	302
Лехел. Перев. Л. Мартынова	304
Источник и река. Перев. Б. Пастернака	305
Обручальное кольцо. Перев. И. Миримского	306
Мору Йокаи. Перев. Н. Чуковского	308
Корона пустыни. Перев. Л. Мартынова	500

К дюльдейским юношам. Перев. Л. Мартынова	310 310 312 313 315 317
1846	
Сумасшедший. Перев. Л. Мартынова	321
Птицы. Перев. Л. Мартынова	324 325 325 325 326 326 327 327 328 329 329 330 330 331 331 332 332 332 333 333 333 333 334 334
Мне кажется, не только человек Перев. Л. Мартынова . Не погрязнет в скверне род людской! Перев. Л. Мартынова	335 335

O вы, кто к солнцу поднялись Перев. Л. Мартынова • • • 5:	36
Cincipilite: Itepes: vi. inapismosa	36
	37
Чем кончит шар земной? Перев. Л. Мартынова 33	37
Смоют когда-нибудь? Перев. Л. Мартынова 33	38
Олух! Ты возлюбленный плоти Перев Л Мартынова 3.	38
Бренность, Перев. Л. Мартынова	38
Что ждет меня? Перев. Л. Мартынова 33	39
Сны. Перев. Л. Мартынова	39
Когда они вдвоем Перев. Л. Мартынова 34	40
Сердце. Перев. Л. Мартынова	40
О ночь ночей Перев. Л. Мартынова	40
Зачем еще мне жить Перев. Л. Мартынова 34	41
Цветку любому и травинке каждой Перев. Н. Чуков-	
	42
	43
	47
Как на летнем небе Перев. Б. Пастернака 3-	48
Белая акация Перев. М. Замаховской 34	49
Звон вечерний с колокольни Перев. М. Замаховской 3	50
Мироненавистничество. Перев. Л. Мартынова 3.	51
Судьба, простор мне дай! Перев. Л. Мартынова 33	53
Мои песни. Перев. Л. Мартынова	54
Я сам себя в безлюдие сослад Перев. Н. Чуковского 3	55
Анталу Варади Перев Л Мартынова	56
черноглазои молодице. перев. л. мартынова	59
Я пишь теперь узнал Перев В Левика	60
Сгорает сердце от любви Перев. Л. Мартынова	61
Рабство. Перев. Л. Мартынова	61
Люблю я Перев. Б. Пастернака	61
Народ. Перев. Л. Мартынова	62
На Хевешской равнине. Перев. Б. Пастернака	864
Соловьи и жаворонки. Перев. Л. Мартынова	867
В Надыкарое, Перев. Л. Мартынова	368
Кандалы. Перев. В. Левика	,00
Нет, было лишь мечтой, а не любовью Перев. Л. Марты-	
	69
7	372
1 osumn moen moobh Hepeb. B. Haerephaka	373
TIME B ROCTOP THAN M Hepeb. B. MeBhka	373
	374
Дней осенних прозябанье. Перев. Б. Пастернака 3	375
Нависают облака Перев. Л. Мартынова 3	376

Снова думаю и снова Перев. Л. Мартынова	378 379
Да, грудь мол похожа на жилье Перев. В. Левика Во сне я видел мир чудес Перев. Б. Пастернака Когда сорвет судьба Перев. Н. Чуковского Цветы больны Перев. Н. Чуковского Жеребца лихого Перев. Л. Мартынова Неприятно это утро Перев. Л. Мартынова Мечтаю о кровавых днях Перев. Н. Тихонова Графу Шандору Телеки. Перев. Л. Мартынова Ночь звездная, ночь светлоголубая. Перев. Б. Пастернака В альбом супруге Яноша Ковача. Перев. Л. Мартынова В альбом барышне Р. Э. Перев. Б. Пастернака	381 382 384 385 386 386 388 390 391 391 392 393 394 395
1847	
Любовь и свобода. Перев. Л. Мартынова Мужчина, будь мужчиной Перев. Л. Мартынова Кутякапаро. Перев. Б. Пастернака Грустная ночь. Перев. Л. Мартынова Дворец и хижина. Перев. Л. Мартынова Песня собак. Перев. Н. Тихонова Песня волков. Перев. Н. Тихонова Поэтам XIX века. Перев. В. Левика Этельке Эгреши. Перев. В. Левика Обатая могила. Перев. Л. Мартынова Иди сюда Перев. Л. Мартынова Яношу Араню. Перев. Н. Чуковского Три сына. Перев. В. Левика Венгерец я! Перев. В. Левика Жизнь горька, сладка любовь. Перев. Н. Чуковского Тиса. Перев. В. Левика Тучи. Перев. В. Левика	399 399 401 404 405 407 408 409 411 412 414 415 416 418 419 420 423

Венгерским юношам. Перев. Л. Мартынова	425
Ветер. Перев. М. Замаховской	427
Ко мне стучится старая беда. Перев. В. Левика	428
От имени народа. Перев. Л. Мартынова	429
Лишь война Перев. Н. Тихонова	431
Два вздоха. Перев. В. Левика	432
Чем любовь была мне? Перев. Б. Пастернака	434
Скинь, пастух, овчину Перев. Б. Пастернака	435
Света! Перев. Л. Мартынова	436
Солдатская жизнь. Перев. Л. Мартынова	439
Любовь. Перев. Л. Мартынова	440
Цветы. Перев. Б. Пастернака	442
Я тебя старался навсегда забыть Перев. Н. Чуковского	443
Суд. Перев. Н. Мартынова	446 447
Первая клятва. Перев. Л. Мартынова	447
О терпении. Перев. Л. Мартынова	449
В альбом А. Ф. Перев. И. Миримского	451
Герои в дерюге. Перев. Л. Мартынова	452
Зельд Марци. Перев. Н. Тихонова	453
Стоит мне Перев. Б. Пастернака	454
Огонь. Перев. Л. Мартынова	456
Мое лучшее стихотворение. Перев. Л. Мартынова	456
Эрдед, 17 мая 1847 года. Перев. Н. Чуковского	457
Лишь ты одна Перев. Н. Чуковского	458
Пыль столбом Перев. Б. Пастернака	459
В руднике. Перев. Л. Мартынова	461
Наконец назвать моею Перев. Н. Чуковского	462
В Майтеньской степи. Перев. Н. Чуковского	463
Лаци Араню. Перев. С. Маршака	466
Как жизнь хороша! Перев. В. Левика	467
Тетя Шари. Перев. Б. Пастернака	469
Искалеченная башня. Перев. В. Левика	470
Стал бы я теченьем Перев. М. Замаховской	471
Дорогою Перев. Б. Пастернака	475
Путешествие по Алфельду. Перев. Б. Пастернака	476
Люблю ли я тебя? Перев. Б. Пастернака	477
Прощальная чаша. Перев. Н. Чуковского	478
Знаменитая красавица. Перев. В. Левика	479
Эй, что за гвалт? Перев. Л. Мартынова	480
Придешь ли? Перев. Л. Мартынова	481
Я собрал пожитки Перев. Л. Мартынова	482
Муза и невеста. Перев. Л. Мартынова	483

У леса птичья трель своя Перев. Б. Пастернака	485
У Михая Томпы. Перев. Л. Мартынова	486
Закат. Перев. М. Замаховской	488
Панни Паньо. Перев. Л. Мартынова	488
В Мункачской крепости. Перев. Н. Чуковского	490
Жаркий полдень. Перев. М. Замаховской	491
Я вижу дивные цветы востока Перев. Б. Пастернака	492
Меч и цепь. Перев. Л. Мартынова	493
Ответ на письмо моей милой. Перев. Б. Пастернака	496
Солнца луч давно погас Перев. М. Замаховской	499
Покинутый флаг. Перев. Л Мартынова	500
Не сердись, моя голубка Перев. В. Левика	501
Пятое августа. Перев. Л. Мартынова	502
Письмо Яношу Араню. Перев. В. Левика	504
Поэзия. Перев. Л. Мартынова	508
Мой Пегас. Перев. Л. Мартынова	509
Снова слеза! Перев. М. Замаховской	510 511
В кабаке. Перев. М. Михайлова	513
Бродяга. Перев. В. Левика	515
Не обижайся. Перев. Б. Пастернака	517
Гомер и Оссиан. Перев. Н. Чуковского	519
Пестрая жизнь. Перев. Л. Мартынова	520
Барышне Б. О. Перев. Л. Мартынова	522
Прекрасное письмо. Перев. Б. Пастернака	523
На розу рассердился я Перев. Л. Мартынова	524
Все говорят, что я поэт Перев. В. Инбер	524
Звездное небо. Перев. Б. Пастернака	526
Ах, одно другого лучше Перев. Л. Мартынова	527
Мое сердце. Перев. Н. Чуковского	529
Героям болтовни Перев. В Левика	530
Как-нибудь. Перев. Л. Мартынова	531
Видал ли кто? Перев. Б. Пастернака	533
В начале осени. Перев. М. Замаховской	534
Прощанье с холостой жизнью. Перев. В. Левика	536
Молодой батрак. Перев. М. Исаковского	537
За горами синими Перев. Н. Чуковского	538
Жители пустыни. Перев. Л. Мартынова	539
Напрасная тревога. Перев. И. Миримского	540
Осенний ветер шелестит Перев. В. Левика	542
В конце сентября. Перев. Б. Пастернака	544
Достиг всего я Перев. Л. Мартынова	545
Габору Казинци. Перев. Л. Мартынова	546
1 doops reasonant riepes. 11. Maprimosa	

Последние цветы. Перев. В. Пастернака	547
Встарь и нынче Перев. В. Левика	548
Страна любви. Перев. Б. Пастернака	549
Небо и земля. Перев. Б. Пастернака	552
Тихая жизнь. Перев. В. Левика	553
Вот был огромный труд. Перев. В. Левика	554
В коляске и пешком. Перев. Б. Пастернака	556
Что такое любовь? Перев. Л. Мартынова	557
Мудрствование и мудрость. Перев. Л. Мартынова	559
Родина, пора вставать! Перев. Л. Мартынова	560
Поцелуев два десятка Перев. С. Маршака	561
Узник. Перев. Н. Чуковского	563
Лунная элегия. Перев. Л. Мартынова	564
Могила нищего. Перев. Б. Пастернака	566
У Яноша Араня. Перев. Б. Пастернака	567
Ты милая твердины Перев Н Чуковского	569
Только я в свое окошко погляжу Перев. М. Замаховской	570
В душе глубокой Перев. Б. Пастернака	3/1
Осенняя ночь. Перев. С. Обрадовича	573
Судьи, судьи Перев. Л. Мартынова	574
Розы расцветают над холмом Перев. М. Замаховской	575
Павел Пато. Перев. М. Замаховской	576
Женушка, послушай Перев. Л. Мартынова	577
Ночь. Перев. Б. Пастернака	579
Окатоотайя. Перев. Л. Мартынова	582
К венгерским политикам. Перев. Л. Мартынова	585
На именины моей жены. Перев. Л. Мартынова	587
По спокойной глади моря Перев. Н. Чуковского	589
На железной дороге. Перев. Л. Мартынова	591
К гневу Перев П Мартынова	592
Вон табун, он в пуште ходит Перев. Л. Мартынова	594
Лишь утро минуло Перев. В. Левика	596
Новогодняя ночь 1847 года. Перев. Л. Мартынова	596
Комментарии — Агнессы Кун	599

На обложке портрет Шандора Петёфи (Литография работы М. Барабаша, 1845)

Художественный редактор Д. Фельдеш Технический редактор Д. Комлошан

Отпечатано в Венгрии, 1963 Типография Атэнэум, Будапешт